

● **ПО СТРАНИЦАМ ИЗРАИЛЬСКОЙ ЖИЗНИ** —  
*очерки, риторажы, статьи о современном Израиле*

● **ЮНОСТЬ АРИЭЛЯ ШАРОНА** —  
*документальная повесть израильского историка*

● **НАЦИЗМ КАК НЕМЕЦКИЙ ВОПРОС** —  
*от переписки Х. Арентс с К. Ясперсом до дискуссии  
Ю. Хабермаса с Э. Нольте*

● **КАТАСТРОЙКА В ПАРТГРАДЕ** —  
*главы из нового романа Александра Зиновьева*

● **СТРАННЫЕ МИРЫ БРУНО ШУЛЬЦА** —  
*впервые на русском языке произведения одного  
из крупнейших прозаиков XX века*

**22**

МИЛЛИАРДЫ  
МОСКВА - ИЕРУСАЛИМ

**№ 66**



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ  
ЖУРНАЛ ЕВРЕЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ИЗ СССР В ИЗРАИЛЕ

# ДВАДЦАТЬ ДВА

*Издание общественно-культурного фонда  
"МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"  
под покровительством комитета ученых  
при общественном совете солидарности с евреями ссср  
Лауреат премии Р. Н. Эттингер за 1984 год*

*Своевременным выпуском этого номера редакция обязана самоотверженной и бескорыстной помощи Н. Рубиной, А. Морозовой, М. Кляйнберг, Л. Потаповской, Ю. Вайсу и А. Фурман. Редакция выражает им искреннюю и глубокую благодарность.*

**66**

*июль-август 1989*

## СОДЕРЖАНИЕ

### ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

- 3 Ури Мильштейн. Подразделение 101

### ЛИТЕРАТУРА

- 23 Михаил Гурвич. Стихи  
26 Генрих Шахнович. Калоши (рассказ)

### ИЗ ПЕРЕВОДОВ

- 37 Чеслав Милош. Сотворение мира (пер. М. Генделева)  
39 Бруно Шульц. Рассказы (пер. Р. Нудельмана)

### ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

- 62 По страницам израильской жизни (очерки и репортажи)  
78 Шуламит Харевен. Первые 40 лет  
88 Гиллель Галкин. Что такое "еврейскость"?  
100 Шломо Пинес. Свобода потеряла свое очарование

### РУССКИЙ ВОПРОС

- 114 Александр Зиновьев. В жопе России  
143 Создание московского "Клуба-22"

### ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

- 145 Михаил Хейфец. Логика сталинского террора  
(продолжение, начало в № 65)

### ПОРТРЕТЫ В ПРОФИЛЬ

- 159 Ханна Арендт и Карл Ясперс. Разговор в письмах  
172 Давид Джоров. Темное и извращенное  
175 Джордж Клер. Берлинские дни  
184 Рафаил Нудельман. Вместо послесловия

### КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

- 201 Умберто Эко. О языке рая (перевод и предисловие И. Гомель)

### МАСТЕРСКАЯ

- 215 Жозефина Ярошевич. Скульптура и эмансипация

### ЛЮДИ И КНИГИ

- 218 Дм. Сегал. Повесть о пяти городах  
222 С. Рузер. Урок реализма

*На последней странице обложки: Мириам Гамбурд. "Падший ангел"  
(воск) 1988 г.*

## ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

Ури Мильштейн

### ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 101

*Недавнее похищение израильскими десантниками одного из руководителей ливанской мусульманской террористической организации Хизбулла, шейха Обейда, показало, как далеко ушла израильская армия от тех далеких 50-х годов, когда никто в ней, от высших командиров до рядовых солдат, глубоко штатских выходцев из галута, и вообразить себе не мог возможность подобных дерзких рейдов за линию фронта, ночных вылазок, опасных операций в тылу противника, засад и похищений. Своеобразную переломную роль в принципах организации и действий нынешних особых подразделений армии обороны Израиля сыграло первое из них — так называемое "Подразделение 101", созданное в августе 1953 года. Не случайно недолгую историю этого подразделения долгие годы окружала почти легендарная слава, а его командир, Ариэль Шарон, стал объектом почти культового мифа, существующего в определенных общественных кругах Израиля по нынешний день. Известный израильский военный историк Ури Мильштейн в публикуемой ниже (в отрывках) книге пытается воссоздать реальную историю знаменитого подразделения.*

**В начале был взрыв.** ...Мустафа Самуэли считался неуловимым. Этот уроженец арабской деревни Неби-Самуэль, что в шести километрах к северо-западу от Иерусалима, получил свое боевое крещение в апреле 1948 года, во время еврейской Войны за Независимость, отражая атаку израильских частей на свою деревню. В том кровавом бою четвертый батальон Пальмаха, пытавшийся захватить Неби-Самуэль, потерпел тяжелое поражение. В том же бою пал и родной брат Мустафы. С тех пор Мустафа поклялся мстить. "Я уложу сто евреев за погибшего

брата”, — сказал он, открывая свой кровавый счет. За несколько лет, прошедших с окончания войны, Мустафа стал одним из самых страшных — и бесстрашных — арабских террористов. Считалось, что многие убийства и грабежи в Иерусалиме и так называемом “Иерусалимском коридоре”, соединявшем в те годы столицу с остальным Израилем, были делом рук Мустафы Самуэли. Ни поймать, ни выследить его не удавалось никак. И тогда, в начале 1953 года, командир Иерусалимского военного округа, полковник Шахам, решил провести операцию возмездия — взорвать дом Мустафы в Неби-Самуэль.

Трудность состояла в том, что никто не знал, который именно из домов деревни принадлежал Мустафе. “Вся она, — вспоминал позднее Шахам, — представляла собой, в сущности, один огромный двор, по периметру которого стояли отдельные постройки, окруженные земляными валами и скрытыми в них огневыми точками. Настоящая маленькая крепость. Впрочем, известно было, что крепость эта не так уж хорошо охраняется: в крайних домах по ночам почти не бывало людей и даже не выставлялись наблюдательные посты. На этом и строились наши планы...”

У Шахама был уже некоторый опыт ночных операций. Вопреки армейскому начальству, опасавшемуся гневной реакции ООН на попытки Израиля провести операции возмездия за линией перемирия, Шахам, порой даже не спрашивая разрешения вышестоящих командиров, уже не раз посылал своих людей в ночные засады. Этими его “людьми” была небольшая группа ветеранов Хаганы да несколько студентов Еврейского университета в Иерусалиме, привлеченных возможностью сочетать армейскую службу с учебой на стипендию от армии: Шломо Лахат по прозвищу “Чич”, будущий мэр Тель-Авива; Аарон Авнун, пришедший из бригады “Кармели”; и самый энергичный и пылкий из всех — Ариэль (Арик) Шарон, еще недавно — начальник разведки северного округа у Моше Даяна, а теперь — студент первого курса исторического факультета.

Именно к Шарону и обратился Шахам, задумав операцию возмездия в деревне Неби-Самуэль.

Как вспоминал позднее Шахам, Шарон несколько не удивился предложению. Он задал только один вопрос:

— А как же с экзаменами?

“На это я ответил, — рассказывает Шахам:

— Выбирай одно из двух. Либо ты будешь всю жизнь изучать то, что сделали другие, либо другие будут изучать то, что сделал ты.

— Я уже выбрал, — мгновенно ответил он”.

Шахам знал, с кем он имеет дело.

Для своей ночной операции Шарон отобрал семерых человек. Первым он пригласил Шломо Баума, в войну служившего в отборном "Патруле Голани". Посыльный Шарона застал Баума на поле — тот пахал свой участок в родном мошаве. Баум не мешкал ни минуты. Он отправился в Иерусалим как был, бросив плуг прямо в борозде, только заскочил в дом за автоматом.

Остальные шестеро были: Иорам Лави, земляк Шарона по деревне Малаль, Иегуда Пьямента и Узи из разведки 16-й бригады, Иегуда Даян, служивший на севере под началом Шарона, Иосеф Саадия, подрывник, и гигант Ицхак бен-Мордехай по кличке "Гулливер", давний друг Шарона еще со времен Войны за Независимость. Студентов в группе, вместе с Шароном, было четверо.

Задача была сформулирована предельно просто: под покровом темноты пробраться в Неби-Самуэль, взорвать один из крайних домов, который, по предположению, принадлежал Мустафе Самуэли, и по возможности благополучно вернуться назад. Сегодня такое задание может показаться рядовым. В те времена, когда никто и представить себе не мог, что еврейские солдаты способны тайком проникнуть в арабскую деревню, провести там ночную операцию и безнаказанно вернуться назад, оно представлялось фантастически дерзким.

Группа вышла из лагеря "Шнеллер", где размещался командный пункт Шахама, с наступлением ночи. Еще через три часа, пройдя пять километров, они вышли к оливковой роще, находившейся в двухстах метрах от окраины Неби-Самуэль. Здесь пришлось сделать короткий привал: все смертельно устали, сказывалась недостаточная физическая подготовка и отсутствие систематических учений. Однако отдых не удавался: каждому не терпелось дорваться до дела. Чувство предстоящей опасности только взвинчивало нервы.

Операция началась почти точно в полночь. Саадия, Баум и "Гулливер", таща взрывчатку и гранаты, стали ползком пробираться к намеченному дому. Шарон с остальными прикрывал их сзади. Кругом царил мертвая тишина. В полном молчании, ста-

раясь не производить лишнего шума, подрывники стали закладывать взрывчатку под дверь дома. Потом, проверив, что все в порядке, зажгли фитиль.

Здесь их постигла первая за эту ночь неудача. Запал не сработал, и заряд вместо того, чтобы взорваться, лишь загорелся. Железная дверь, обливаемая языками пламени, стояла невредимой. О намеченном разрушении дома нечего было и говорить.

С этого момента началась лихорадочная импровизация. Баум и "Гулливер" решили, что попытаются проникнуть в дом через окно, Саадия, на свой страх и риск, стал готовить второй заряд под дверь. Окно оказалось защищенным прочными железными ставнями. Бауму не удалось справиться с ними. Понадобилась гигантская сила "Гулливера", чтобы сломать прочные засовы. Ставни распахнулись с грохотом, который мог бы разбудить мертвеца, — но в доме по-прежнему было тихо. Видимо, он пустовал уже давно — с тех пор, как его покинули обитатели. Тем не менее Баум швырнул в его темное нутро несколько гранат. Под тяжелые удары взрывов оба бросились назад. Тем временем Саадия тщетно пытался подорвать свой второй заряд. Но и на этот раз ему не повезло. Вторая за ночь неудача!

Между тем деревня, разбуженная взрывами гранат, явно проснулась. Плюнули залпами замаскированные в насыпях огневые точки, откуда-то из глубины села потянулись к окраине автоматные очереди. Шарон, наблюдавший издали за действиями своих подрывников, начинал нервничать. "Взорвите соседний дом, если с этим ничего не получается!" — крикнул он Бауму.

На этот раз заложили для верности сразу два заряда. Взрыв был оглушительный, но и этот дом тем не менее устоял. Еще одна неудача...

Огонь из деревни усиливался с каждой минутой. Рисковать новой попыткой было невозможно. Шарон подал условленный знак, приказывая отступить. Волоча за собой неиспользованный запас взрывчатки, "Гулливер", Саадия и Баум бросились догонять группу, которая под покровом ночи уходила в сторону Иерусалима.

Шарона они догнали неподалеку от Неби-Самуэль, в пересохшем "вади". Весной здесь кипел бурный ручей, сейчас о нем напоминала только засохшая илистая глина. Приблизился рас-

свет, и на землю спустился предутренний туман. Возвращаться в тумане было опасно — того и гляди угодишь на минное поле. Группа оставалась в "вади" до утра.

Уже светало, когда они вернулись в Иерусалим. Шахам ждал их всю ночь, с замиранием сердца прислушиваясь к каждому звуку со стороны Неби-Самуэль. Но теперь все было позади — все восемь были снова в "Шнеллере". По сравнению с этим, неудачи, о которых смущенно докладывал Шарон, казались Шахаму пустяками.

Через пару часов Шломо Баум был уже на своем поле, у брошенного плуга. Мать недовольно ворчала: "Нет, чтобы работать — пропадаешь всю ночь с беспутными девками в Хайфе..." Шломо даже не оправдывался.

Шарон и остальные тоже отправились по домам — они ведь формально были все еще "штатскими". По чести сказать, они были изрядно разочарованы: намеченный дом не взорвали, соседний — тоже, только и славы, что сходили ночью в арабскую деревню и благополучно вернулись назад...

Напротив, Шахаму этот наполовину пустой стакан казался наполовину полным. Что с того, что не взорвали дом Мустафы, — в этот раз не взорвали, в другой взорвут. Куда важнее, что сломлена дурная традиция! До тех пор все попытки ночных вылазок кончались неудачами и провалами, а теперь весь "Шнеллер" с рассвета шумел слухами о дерзком успехе Шарона. Рассказы о ночном походе восьмерки уже обрастали самыми фантастическими подробностями, на глазах становясь армейской легендой. Евреи в тылу арабов — это было что-то неслыханное! Евреи в роли "коммандос" — невероятно!

На сухом армейском языке итоги операции выглядели вполне вдохновляюще: группа точно вышла в назначенное место; хоть и частично, но провела боевую операцию; и благополучно вернулась в лагерь, не понеся никаких потерь. Об этом уже можно было докладывать в верха.

Шарон и его люди не знали, что Шахам рассматривал их операцию в более широком контексте. Когда при разборе операции Шарон говорил: "Нам недостает профессионализма, для таких операций нужна специально подготовленная группа", — он не знал, что его слова ложатся Шахаму маслом по сердцу. Бывшим солдатам, сержантам и лейтенантам из наспех сколоченной группы Шарона было неведомо, что в высших армейских кругах,



к которым принадлежал Шахам, вот уже много месяцев шла ожесточенная борьба "за" и "против" создания таких специальных подразделений и что их "операция" возымела для сторонников таких подразделений значение решающего довода "за".

**"Массовая" или элитарная?** Споры о "частях спецназа", как можно было бы на современном языке назвать подразделения, о которых заговорил Шарон и давно уже думали Шахам и его единомышленники, были частью более широких споров в израильской армии тогдашних лет. За годы, прошедшие с Войны за Независимость, стало постепенно ясно, что победа в ней была достигнута ценой огромных жертв и величайшего напряжения сил всего народа, а не благодаря военному искусству и армейской выучке евреев. Да и где их было взять, искусство и выучку, когда многие части создавались буквально на ходу — как в знаменитой кровавой атаке на Латрун, в которую были брошены — и в которой погибли! — сотни новых репатриантов, чуть не только что сошедших с пароходов на израильский берег и не знавших даже, где у винтовки дуло, а где приклад! Всем было ясно, что упрочение победы требовало создания настоящей, регулярной армии. Но какой? Одни стояли за армию широкую, массовую, "всенародную", милицейского типа; другие — за армию малочисленную, маневренную, состоящую из профессиональных, элитарных, специализированных частей.

Споры эти, в действительности, начались даже много раньше. Еще до обретения независимости рабочее движение Палестины создало в еврейских поселениях отряды массовой самообороны — Хагану, из которых со временем выделились элитарные ударные части, получившие название Пальмах. Затем такие же части были сформированы и другими политическими группировками — Эцелем и Лехи. Однако в ходе Войны за Независимость Бен-Гурион расформировал все эти части. Они имели отчетливо политизированный характер этих небольших "партийных" армий, а это, по мнению Бен-Гуриона, было чревато вооруженной межпартийной борьбой. Эпизод с эцелевским кораблем "Альталена", доставившим в Палестину оружие "только для своих", показался Бен-Гуриону зловещим предостережением, а, может быть, — удачным предлогом, чтобы одним ударом избавиться от этой угрозы. Реальна она была или надуманна, но приказом по армии все специальные подразделения были распущены, многие их командиры (включая Ицхака Саде и Игала Алона, создателей и

руководителей Пальмаха) в знак протеста ушли на время в отставку, и в армии воцарилось единоначалие. С этого момента армия обороны Израиля стала, по существу, поворачивать на путь "массовой милиции". Отрицательные результаты этого одностороннего пути не замедлили сказаться, особенно резко — когда возникла необходимость борьбы с зарождающимся арабским терроризмом. В отсутствие специальных еврейских отрядов борьбы с террором, эта роль была поручена наспех сформированным подразделениям нацменьшинств — бедуинов, черкесов и друзов. Они считались более подходящими для такого рода рискованных дел. Но их операции ограничивались, как правило, утрясанием ничтожных и пустяковых пограничных инцидентов. Когда же нужны были настоящие операции возмездия, не говоря уже об активном давлении на террористов и их базы, у армии не оказывалось под рукой никого. Попытки использовать для этих целей непрофессиональные отряды обычных солдат (кое-кто предлагал переодевать их — для маскировки от наблюдателей ООН — в штатское!) кончались, тоже как правило, позорными провалами. Так сорвалась хорошо задуманная операция "Тель-Мутилла", так — поражением — окончилась операция "Фильма". Становилось очевидным, что армия остро нуждается в возрождении "элитарных" частей. Но очевидным это стало не для всех и не сразу. Или, точнее, — не сразу для всех. Тогдашний начальник генштаба Мордехай Маклеф и его начальник оперативного отдела Моше Даян были в то время резкими противниками идеи "особых подразделений". Шахам, который горой стоял за такие подразделения, не мог в одиночку пробить сопротивление высшего армейского руководства. И тогда он пошел в обход. Операция в Неби-Самуэль давала ему в руки, как он считал, беспронятную, козырную карту. С ее помощью он решил переубедить Бен-Гуриона.

Шарон вернулся в университет, не подозревая, какую бурю политических страстей вызвала его скромная ночная вылазка. В тот же день в лагерь Шахама прибыл специальный посланец и помощник Бен-Гуриона Нехемия Аргов. Он потребовал от Шахама подробного рассказа об операции. Шахам, подобно древнему Катону, закончил отчет своей, уже приевшейся многим фразой: нужно создать особые подразделения для операций в тылу противника. На сей раз, в отличие от всех прежних разговоров, Аргов попросил его развернуть эту фразу в подробный план.

На следующий день план Шахама вместе с отчетом об операции Шарона легли на стол "Старика" — всемогущего премьер-министра страны Давида Бен-Гуриона. То ли позорные поражения неподготовленных израильских частей в предыдущих операциях, то ли тайные политические соображения, но что-то явно изменило взгляды "Старика" — на сей раз он принял предложение командующего Иерусалимским округом.

Ни Шахам, ни Аргов, ни сам Бен-Гурион не предвидели той маленькой революции, которую произведет их решение в израильской армии. Для них создание еще одного, пусть и специального, подразделения было всего лишь тактическим шагом, призванным прежде всего решить сиюминутные задачи — обеспечить безопасность Иерусалима и предотвратить террористические вылазки арабов. В действительности, однако, последствия этого шага оказались куда значительнее. Породив цепь последствий, они, в конечном итоге, привели израильские вооруженные силы к их нынешнему принципу организации — специфическому сочетанию массовой резервной армии с высоко профессиональными, регулярными, "элитарными" частями. Именно это сделало впоследствии возможным те операции, которыми прославился ЦАХАЛ в ближайшие годы. И если сегодня давние споры о принципах организации израильской армии возродились опять, и кое-кто, качнувшись в другую крайность, уже ратует за ее сокращение до одних только регулярных элитарных частей, то это уже — споры на следующем витке истории, на основе нового военного опыта, частью которого стали действия "Подразделения 101".

Тогда, в середине 1953 года, все это было еще в далеком будущем. "Революция" свершилась просто и незаметно. На заседании генштаба, созванном по предложению премьер-министра, Маклефу попросту пришлось согласиться с мнением большинства. Вернувшийся из отпуска Даян пробовал было возражать, но было уже поздно: приказ о создании "Подразделения 101" был уже подписан. Прагматичный Даян ограничился тем, что ворчливо спросил Шахама: "Ну, а кандидат в командиры у тебя есть?". Но к этому вопросу Шахам был готов. Еще с той ночи, когда он волнуясь ждал возвращения группы Шарона, на которую поставил все свои расчеты, он твердо знал: если особому подразделению суждено родиться, его командиром будет Ариэль Шарон.

**Первые шаги.** Приказ гласил: "С августа 1953 года создается воинское подразделение под номером 101. Его назначение: ведение боевых операций возмездия вне пределов государства Израиль... Численность подразделения на первой стадии — 50 человек. Вооружение — нестандартное".

Никто не знал тогда, что "подразделению 101" суждено просуществовать всего 4 месяца. И как мы уже сказали, никто не знал, что его короткое существование в значительной мере революционизирует всю израильскую армию.

Начало было скромным и, как всегда, не без своих трудностей и своих курьезов.

В первую четверку призванных в "101" входил Шломо Баум, ставший заместителем его командира, Михаэль Аксио, которому была поручена физическая подготовка бойцов, Шмуэль Нисин и Меир Барбут, назначенные командирами отделений. Все они были ветеранами Войны за Независимость. После войны их пути разошлись. Баум, как мы уже знаем, вернулся в родной мошав. Позже ему суждено было стать одним из самых резких критиков Шарона и героем нашумевшего очерка Амоса Оза "О мягком и нежном" (см. "22", N28 — прим. ред.), но тогда он был ближайшим соратником "Арика" — таким же, как тот, дерзким и авантюристичным в действиях и решительным в убеждениях. Шмуэль Нисин, впоследствии ставший адвокатом в Хайфе, тогда, после войны, учился на юридическом факультете университета, а на резервной службе был командиром роты "патрулей", приданной Иерусалимской бригаде Шахама. Его знакомство с Шароном произошло на свадьбе общего друга Мотке Бен-Пората, и они сразу нашли общий язык: оба были недовольны падением боевого духа ЦАХАЛа, оба жаждали энергичных, решительных действий. Сразу же после назначения командиром "101" Шарон пригласил Нисина присоединиться к подразделению. Шарон видел в своем подразделении не просто еще одну армейскую часть — скорее, ему рисовался в воображении этакий вольный отряд единомышленников робингудовского толка, объединенных готовностью к смелым, рискованным делам, в которых успех оправдывает нетривиальные методы. Такими, по складу характера, были Нисин и Баум, таким был и третий из приглашенных — Меир Барбут. Уроженец Турции, он прибыл в Палестину в 1943 году, войну провел в бригаде "Голани" (ныне — одной из самых элитарных частей израильской армии, во многом

повторяющей традиции "подразделения 101"), а после войны ушел в столяры. Но на резервной службе его специальностью были вовсе не мирные столярные работы — вместе со своим отделением Барбут не раз предпринимал смелые вылазки в арабские тылы и славился дерзостью и отвагой. Некогда Шарон имел стычку с Барбутом: не застав его на позициях, Шарон хотел предать командира отделения военному суду, и только вмешательство общего знакомого Менахема Маргалиота, поведавшего Шарону о смелости Барбута, привело к отмене суда. Более того, — получив назначение в "101", Шарон вспомнил о Барбуте и пригласил его в свое подразделение.

Ури Яффе пришел из кибуцного движения и помог Шарону отобрать молодых ребят-кибуцников среди солдат срочной службы. Из кибуца "Мизра" пришли сразу три добровольца. Один из них, Шмуэль Мерхав, позже вспоминал, что перед офицерскими курсами служил в "Голани", тогда еще не столь прославленной, сколь импотентной. "После курсов, — рассказывает Мерхав, — у меня не было никакого желания возвращаться в бригаду: я был уверен, что не такие части призваны обеспечить безопасность страны, я искал чего-нибудь поинтересней". Прослышав о "101"-м, Мерхав попросился на беседу к Шарону. Человек, ищущий "что-нибудь" поинтересней, явно подходил: Шарон привез Мерхава в заброшенную деревню Стаф, где формировалось подразделение, и тут же включил в состав ночного патруля.

Еще курьезнее произошло вступление в отряд Гая Кохвы, уроженца Рош-Пины и члена кибуца "Маханаим". Гай уже успел показать свои склонности, когда вместе с другими молодыми ребятами создал первое в стране военно-сельскохозяйственное поселение Гиват-Рахель. Его поселенцы участвовали в операции вытеснения в Синай враждебных Израилю бедуинских племен, захвативших земли возле Ницаны. Участвовали в той операции и бойцы "101"-го — это было уже после их "боевого крещения". После операции Гай попросился к Шарону. Шломо Баум сказал ему: "Приезжай в Иерусалим..." Во время очередного отпуска Гай Кохва появился в деревне Стаф, прошелся по лагерю и заглянул к Бауму. Тот сказал ему, как о решенном: "Поздравляю, ты зачислен в 101-е". Гай был поражен: "Но ведь я всего лишь в отпуске!" — "Это не проблема", — решительно ответил Баум, и действительно, к вечеру, когда прибыл Шарон, Гай Кохва был уже назначен в ночной патруль и даже получил со

склада положенное обмундирование. Два следующих месяца, пока Шарон задним числом "утрясал" его перевод, Гай числился в армии "дезертиром" и его несколько раз даже пытались "поймать". Дело, в конце концов, уладилось, но представление о методах Шарона и Баума оно дает весьма примечательное.

Самым ярким из новых членов "101"-го — и в то же время в чем-то типичным для его состава и специфического, полупартизанского, полувоенного духа — был, пожалуй, Меир Хар-Цион, прибывший в подразделение тоже одним из первых. Меир родился в мошаве Ришпон, детство провел в Эйн-Хароде, где укрощал диких животных да глотал книги о Войне за Независимость и мечтал о боях, в которых по молодости не успел принять участия. Вдвоем с сестрой он нередко отправлялся в далекие и опасные походы вдоль Иордана и однажды даже был пойман сирийцами и отправлен в Дамаск, где больше месяца отсидел в тюрьме. В 52-м он был призван в армию, но там его прежние блестящие мечты быстро потускнели: "Атмосфера в армии была невеселой, — вспоминает Меир. — Почти каждая операция возмездия, которую мы пытались провести, кончалась провалом... Ситуация была настолько невыносимой, что все запасы энергии я тратил на рискованные походы по ту сторону границы".

Эти походы принесли Меиру звонкую славу в стране. Один из них он совершил вместе с Рахелью Сабораи в сторону легендарной "Красной скалы" под древним городом Петра, что в Иордании, — место, откуда мало кто возвращался живым; второй, вместе с дружкой Ури Оппенхаймером, — из Иерусалима в оазис Эйн-Геди на Мертвом море, через иорданские тылы. Шломо Баум, прослышавший об этом невероятно смелом походе, пригласил Ури в "подразделение 101", — а Ури привел за собой Меира.

Смелчаки приводили своих друзей, добровольцы — новых добровольцев, к Шарону стягивались все те, кому постыла скучная, однообразная, без риска и опасностей регулярная служба, в ком гуляли молодая удаль и страсть к яркой, пусть и рискованной, жизни. Ишай Циммерман из Эйн-Харода в рекомендациях не нуждался — в 52-м году он уже участвовал в операции "Мстители" в районе поселка Бейт-Джубрин; тогда его танковый батальон не сумел выйти к границе из-за ошибки командира в прокладке маршрута. "Обстановка в армии была гнетущая, — рассказывает Циммерман. — Ходили слухи, что в стычках с врагом наши час-

ти терпят одно поражение за другим... У меня душа просто истосковалась по настоящему делу. А тут стали говорить о новом, особом подразделении, которое создает Шарон. Вот я и решил, что мое место только там..." Шарон прибыл в батальон Циммермана, когда тот и еще несколько его товарищей сидели под арестом — за нарушение воинской дисциплины. Но это обстоятельство Шарона несколько не обескуражило: он и сам — ни тогда, ни в будущем — не отличался особо покорным послушанием. Циммерман тоже стал одним из первых в "подразделении 101". Много позже, уже в Ливанскую войну, Циммерман прославился тем, что "одолжил" у военных летчиков самолет, чтобы вместе с друзьями слетать домой в отпуск...

Таковы были эти люди, и кое-кто мог бы при желании назвать подразделение, которое сколачивал Шарон, этакой "запорожской сечью" на израильский манер. Действительно, к Шарону тянулись в первую очередь люди беспокойного, нетерпеливого, бурного душевного склада, склонные к смелому риску и лихим, граничащим с опасностью поступкам. С другой стороны, именно эти люди составляли самый "цвет" еврейской молодежи нового типа, сложившегося в особых условиях Палестины, — ощущавшей себя "гордыми евреями", ни в чем не уступающими, а то и превосходящими европейцев и арабов, не говоря уже о забитых, робких единоплеменниках из галута. Эти люди выросли в ощущении хозяев необычной, наполненной древней геройской славой страны, где каждый камень напоминал о подвигах Маккавеев, Давида, Самсона и других легендарных еврейских богатырей; они с юности участвовали в далеких походах, учились самостоятельности, предприимчивости и преодолению трудностей; и в их сердцах закипали досада и нетерпение, когда они видели, что "их" армия не дает им развернуться и проявить свои способности. "101"-е объединило всех этих ищущих нового людей. Не случайно Хар-Цион в своем дневнике записал: "Мы не были армией в общепринятом смысле этого слова — мы были, скорее, добровольным братством товарищей по оружию".

**"Прививки против вегетарианства"**. Подготовка подразделения проходила весьма специфично. Деревня, где был оборудован лагерь, использовалась для изучения устройства типичных арабских деревень, где бойцам предстояло проводить операции; дни за днями бойцы проводили в тренировках в ползании по колюч-

кам, подъеме на стены, швырянии гранат и стрельбе "влет" по подброшенным бутылкам. "Не секрет, что во всех армиях мира до 90% солдат вообще не стреляют во время боя или палят куда попало, — говорил Шломо Баум. — Мы же хотим, чтобы вы не боялись стрелять по живым целям..."

Когда таких натренированных набралось "аж" восемь человек, Шарон решил, что для первой "пробы сил" этого достаточно. "Арик проверил нас, — рассказывает Меир Хар-Цион, — и нашел, что нам не хватает всего одной вещи — научиться без страха переходить границу. Слово "граница" у многих еще вызывало трепет, смешанный со страхом. Поэтому он решил, что нужно предпринять учебный разведывательный поход через эту самую "границу"...

В группу были назначены Хар-Цион, Барбут, Нисин и Шломо Баум. "Арик, — вспоминает Баум, — поставил перед нами самую общую задачу: пробраться к арабской деревне и "выяснить обстановку". Детальями он не интересовался — главным для него был сам факт разведки "на той стороне". Но мне он сказал: "Если наткнетесь там на какого-нибудь часового и обстоятельства позволят — прихлопни его. Пусть ребята почувствуют, что война — это не занятие для вегетарианцев"...

В данном случае "прививка против вегетарианства" была, пожалуй, необходимой. Хотя в "101"-м и собрались смельчаки из смельчаков, но в одном отношении большинство из них были, по выражению Баума, "слишком постными": им нужно было моральное оправдание, чтобы выстрелить в противника. ("С какой стати я стану стрелять в араба, если он в меня не стреляет?") Как абстрактный моральный принцип, это звучало очень по-еврейски: справедливо и гуманно, — но для "подразделения спецназа" не особенно подходило.

Наступила ночь похода. "Мы стояли на вершине "Горы ветров", — вспоминает Хар-Цион. — Справа от нас — израильское поселение, слева, на расстоянии каких-нибудь нескольких сот метров, — граница, проходящая по глубокому "вади". Отвесные стены ущелья и несколько белых домов на сером фоне уходящего пета... Наша цепь — разведывательный поход в Абу-Лахия..."

На этот раз шли сравнительно легко — привалов, во всяком случае, уже не требовалось. На подходе к деревне взошла полная луна и высветила фигуры двух арабских часовых, стоящих на околице. Баум едва успел подумать: "Может, мне удаст-



ся "снять" одного...", — как раздался оклик: "Мин гада?!" ("Кто идет?!") Почти не размышляя, он крикнул: "Огонь!" Трое остальных дали короткие автоматные очереди по деревне и по команде Баума тут же бросились назад, в темноту. Вдогонку им засвистели пули, заработали арабские пулеметы. Но группа была уже далеко.

На этом пресловутая "разведка" и завершилась. Впрочем, на обратном пути был еще резкий спор: Нисин и Барбут обвинили Баума в чересчур поспешных действиях. Хар-Цион тоже упрекнул командира, напомнив, что целью похода был сбор разведывательных данных, а не хаотическая стрельба по арабам. Баум призвал на помощь... Клаузевица: "Никакой предварительный план не устоит при первом же столкновении с действительностью боя". Если б арабский часовой открыл огонь первым, вся четверка сейчас продолжала бы свой спор в лучшем из миров. "И вообще, — взорвался Баум, — не дожидаться же нам было заседания Гистадрута, которое разрешило бы нам открыть огонь!"

Всю обратную дорогу шли молча. Но спор не был забыт. Вскоре все подразделение было вовлечено в жаростные дискуссии: следует ли содержать еврейское оружие в "святой чистоте" — или всего лишь в чистоте обычной, технической. Со временем этим спорам суждено было разделить на два лагеря командиров и солдат всех других отборных подразделений израильской армии. А повод к их ожесточению в "101"-м представился сразу же в следующей операции.

**Эль-Брейдж, лагерь палестинских беженцев под Газой.** К концу августа численность "подразделения 101" достигла 23 человек, и перед Шароном была поставлена первая настоящая боевая задача. Следовало проникнуть в большой лагерь палестинских беженцев Эль-Брейдж в секторе Газа, который служил опорным пунктом палестинских террористов. Две группы, под командованием Шарона и Баума, должны были уничтожить звенья террористов, третьей, под началом Мерхава, поручено было взорвать дом Мустафы Хафеза, главы египетской разведки во всем секторе, признанного руководителя террористических операций "фedayинов".

Уже при обсуждении операции Нисин выступил против намеченного плана. "Нападение на лагерь, — вспоминает он, — представлялось мне противоречащим тем ценностям, на которых

я воспитывался в Пальмахе и в который твердо верил. Кроме того, я считал, что в отместку террористы могут попытаться проникнуть в какой-нибудь из наших лагерей для новоприбывших и устроить там кровавую резню. Я заявил, что в операции против лагеря участвовать не хочу. Арик, однако, не дал спору разгореться — он попросту перевел меня в группу Мерхава...”

Субботней ночью 30 августа группы Шарона и Баума (в каждой по пять человек, не считая командира) достигли окраин Эль-Брейджа. Баум со своими людьми пересек шоссе, продвигаясь к восточной части лагеря, ведущее в Газу; Шарон, шедший со своей группой прямо на лагерь, наткнулся на заброшенную надстройку над колодцем и решил проверить, нет ли там часовых. “В надстройке оказались двое арабов, — рассказывает Барбут. — Арик приказал прикончить их ножами. Никто не решался. Тогда Арик набросился на одного из арабов и начал бить его прикладом автомата. Приклад разлетелся на куски, а оба араба, охваченные паническим страхом, бросились наутек, оглашая окрестности дикими воплями. Наше отделение перебежками ворвалось в пределы лагеря...”

В Эль-Брейдже насчитывалось свыше 6 тысяч беженцев; среди них были хорошо вооруженные террористы; кроме того, можно было ожидать прибытия на помощь египетских частей (в задачу группы Баума как раз и входило не допустить такого развития событий). В жаркую августовскую ночь многие жители лагеря спали прямо на улицах, и крики двух арабов, преследуемых группой Шарона, мгновенно их разбудили. В лагере воцарилась паника. Началась шумная, беспорядочная стрельба, никто не знал, откуда грозит опасность. Тем временем Шарон обнаружил место, откуда арабы вели наиболее интенсивный огонь, и бросился туда. Увы, его автомат с разбитым прикладом был уже ни на что не годен, а автомат Хар-Циона, как назло, дал осечку. Тогда, действуя в прежнем, испытанном духе, Шарон сокрушительным ударом по черепу свалил одного из арабов. Остальные в панике бросились врассыпную. В этот момент группа понесла первые потери: шальная пуля ранила одного из бойцов...

Тем временем люди Баума, продвигавшиеся вдоль шоссе, услышали звуки выстрелов из лагеря и поняли, что нужно срочно поворачивать на помощь Шарону. Торопливо связавшись с командиром по рации, Баум узнал, что тот со своими бойцами

**люди 101-ГО**



*Ариэль Шарон и Моше Даян*



*Рахаваам Зееви (Ганди)*



*Шломо Баум*



*Меир Хар-Цион*

захватил укрепленную огневую точку, но окружен десятками арабов и не может прикрыть отступление своих людей. Он по-старается добраться до какого-нибудь дома на окраине и продержаться там до прихода группы Баума. На этом связь оборвалась.

Баум и его отделение в считанные минуты одолели проволочные заграждения, окружавшие лагерь с их стороны, и ворвались на одну из улиц, ведущих к центру. Здесь происходило нечто невообразимое. Сотни мужчин, женщин и детей бежали в разные стороны, все кричали, кто-то стрелял в воздух, отовсюду слышно было: "Яхуд, яхуд! Этбах, эль яхуд!" ("Евреи, евреи! Смерть евреям!"). находчивый Баум тут же завопил по-арабски "Яхуд, яхуд", его люди подхватили этот крик и с разгона втесались в толпу бегущих. Их нехитрый прием позволил им беспрепятственно добраться почти до самого центра лагеря, но тут чудовищная людская "пробка" зажала их в одном из проулков. Еврейские "коммандос" стояли в самой гуще почти неподвижной, испуганной и разъяренной арабской толпы, над которой висел непрерывный вопль: "Смерть евреям!" А издали, словно в ответ на этот призыв, стучали короткие, размеренные автоматные очереди — это отбивались от арабов люди из отделения Шарона.

Расстояние до источника очередей казалось небольшим — рукой подать; но выбраться из "пробки" представлялось совершенно невозможным. И тогда Баум приказал своим людям положить путь силой. Когда прямо из густи толпы раздались выстрелы в воздух, арабы в ужасе шарахнулись в разные стороны и проход сразу открылся. Баум со своими людьми бросился в ту сторону, где отбивался от арабов Шарон. Из какого-то дома по ним открыли ожесточенный огонь. Низкое окно было забрано решеткой и проволочной сеткой — Баум уже на бегу успел сообразить, что граната тут не поможет; но в заплечном мешке у него всегда была припасена — на всякий случай — бутылка с зажигательной смесью (друзья шутили, что когда-нибудь шальная пуля угодит, не дай Бог, в этот мешок, и стать Бауму "светочем для народов", как суждено евреям Библией); теперь эта бутылка пригодилась: он швырнул ее прямо в зарешеченное окно, и стрельба тотчас оборвалась. В отсветах пламени, вставшего над домом, они выбежали на дорогу, пересекавшую лагерь, и услышали невдалеке голос Шарона.

Еще через несколько секунд обе группы соединились. Короткое рукопожатие, приказ Шарона на отход, и группы начинают отступление. Впереди несут раненого; позади — Шарон с Хар-Ционом; прикрывает отход отделение Баума. Замысел отступления был дерзким и опасным; выход из лагеря простреливался египетскими постами, в самом лагере бушевала арабская толпа, — но в то же время и единственно возможным в этих условиях: еще некоторое промедление, и прорываться было бы, пожалуй, поздно.

Дерзость Шарона удалась и на этот раз. Достигнув пролома в юго-западной части стены, опоясывавшей лагерь, оба отделения благополучно выбрались из ловушки, на прощанье дав длинные автоматные очереди по крайним домам Эль-Брейджа.

Возвращение было тяжелым — приходилось нести раненого, а к тому же нужно было еще пересечь так называемую "дорогу патрулей", по которой регулярно курсировали египетские сторожевые машины. К счастью, ближе к границе удалось обнаружить очередное "вади". По его руслу, прикрываемая стенами ущелья, вся десятка достигла границы, где ее уже ждал высланный заблаговременно проводник от армейского командования.

В ту же ночь группа Мерхава (сам Мерхав, Нисин и подрывник Мики) вышла к двухэтажному зданию, где размещался штаб Мустафы Хафеза. Здание окружала высокая стена, ворота были закрыты. Мики успешно взорвал ворота, и группа ворвалась во двор. Со сторожевого поста по ним открыли беспорядочный огонь. Мерхав и Нисин вбежали в дом, но обнаружили здесь только женщин и детей, в страхе искавших спасения от выстрелов. Убедившись, что никакого Хафеза тут нет и в помине, Мерхав и Нисин бросились вон. Поджидавший их снаружи Мики был тем временем ранен. Швырнув бутылки с зажигательной смесью в сторону сторожевой вышки, они подхватили раненого товарища и выбежали за ворота. На рассвете все трое благополучно перешли границу и вернулись к своим.

На этом, однако, "операция Эль-Брейдж" не закончилась. На следующий день Шарон с Баумом решили отправиться в район "дороги патрулей" — оценить результаты вчерашней вылазки. Неподалеку от гробницы шейха Нобана по ним открыли стрельбу из засады в винограднике. Баум, опрометчиво выскочивший из джипа без оружия, лицом к лицу столкнулся с египетским солдатом, неожиданно появившимся из кустов. Остававшийся в ма-

шине Шарон боялся стрелять; Баум оказался между джипом и солдатом. Находчивость снова спасла Баума: он бросился на землю, открывая Шарону возможность выстрела. Солдат выстрелил в катящегося по земле человека, промахнулся, затем раздался выстрел Шарона — и тоже промах. Египтянин бросился назад в кусты, Баум вскочил в джип, Шарон дал газ — и они помчались дальше. Ближе к полосе Газы они увидели арабского крестьянина-феллаха, работавшего в поле вдали от односельчан. "Язык"! Феллаху пообещали сохранить жизнь, если он "даст показания", и тогда он рассказал, что в минувшую ночь в Эль-Брейдже были убиты и ранены десятки беженцев и теперь все в лагере в страхе ждут нового нападения израильтян.

Через несколько дней израильская газета "Гаарец" сообщила "уточненные" данные о результате операции: двадцать пять убитых и двадцать два раненых беженца. Действительные цифры, как удалось установить позднее, были еще выше: 50 убитых и 50 раненых. Еще одним, побочным результатом операции была массовая демонстрация протеста, устроенная жителями Газы, которые потребовали от египтян усилить патрулирование границы, вооружить жителей лагерей и "отомстить евреям".

Так что же: успех — или провал? Споры в подразделении Шарона дошли до взаимных оскорблений и криков. "Тяжелое чувство овладело многими из бойцов, — вспоминает Меир Хар-Цион. — Неужто эти толпы перепуганных, воющих арабов — это и есть наши настоящие враги?" Меиру Барбуту казалось, будто он участвовал в нападении на какой-нибудь лагерь еврейских репатриантов из Марокко: те же черты лица, те же крики на том же арабском... "Наши ребята бросали бутылки с зажигательной смесью просто так, наугад, в толпу, а совсем не в террористов, которых нам поручено было уничтожить. На меня накатила приступ истерики. Я кричал, что это поношение чести ЦАХАЛа..."

Баум был непреклонен: в гибели беженцев виноваты не евреи, а те, кто создает в их лагерях базы террористов. Что же до операции в целом, то она вполне достигла своей цели: вселила страх в палестинцев и на какое-то время предотвратила их террористические действия. "Те, кто так переживает за палестинцев, — сурово возражал "мякотелым" Баум, — должны, наконец, осознать, что их жалость ведет к возможной гибели евреев, и ответственность за это будет на них". (Этот спор

продолжается вот уже тридцать шесть лет, а во время Ливанской войны охватил практически весь Израиль и расколол его на два непримиримо враждебных лагеря. Не приходится спрашивать, в каком из них оказались Баум и Шарон.)

Косвенным результатом операции было покровительство, которое неожиданно простер на Шарона начальник оперативного отдела генштаба Моше Даян. Как истинный прагматик, он умел отодвинуть в сторону свои принципы, когда речь шла о практической выгоде, и теперь тоже сумел разглядеть эту выгоду в новой, восходящей на армейском небосклоне звезде — командире "подразделения 101". Шарон с его жадной боя, неукротимой напористостью, несомненным талантом руководителя и столь же несомненным талантом исполнителя был многообещающей находкой для Даяна. Его подразделение могло заполнить тот вакуум в системе обороны и безопасности страны, который возник из-за отсутствия специально предназначенных для этого армейских частей и роспуска отрядов национальных меньшинств. После операции в Эль-Брейдже ему можно было поручать самые "черные" работы, даже не входившие в рамки первоначально запланированных для его подразделения. И можно было не сомневаться, что кто-кто, а Ариэль Шарон эти поручения выполнит.

А вскоре такая работа как раз и представилась.

*Перевод с иврита Виктора Радуцкого; выбор и литературная  
обработка Виктора Богуславского и Рафаила Нудельмана*

*(Окончание следует)*

---

*Глубокоуважаемый господин редактор!*

*В редакционном примечании к материалам традиционной церемонии вручения "Эттингеровских премий," помещенным в № 64 Вашего журнала, ошибочно указано, что я являюсь основателем Фонда Розы Эттингер.*

*Существование Фонда стало возможным благодаря филантропическому акту человека редкой доброты — Розы Николаевны Эттингер (зихрона — ле — враха), именем которой назван и Фонд, и премии Фонда деятелям культуры.*

*Буду Вам признателен, если Вы найдете возможным поместить это короткое замечание в следующем номере Вашего журнала.*

*С уважением,*

*Э. Любошиц*

## ЛИТЕРАТУРА

Михаил Гурвич

### СТИХИ

Михаила Гурвича я помню молодым инженером, соседом по дому в Ленинграде. Почему-то юный папа запомнился с сеткой белья, полученного из прачечной, в одной руке и коляской с маленькой дочкой, которую он одновременно толкал перед собою другой. И еще запомнился разговор на крыше нашего дома перед его отъездом: "Почему уезжаю? Ну, есть у меня идеи, по-моему, неплохие. Если бы я работал в НИИ, наверно, никуда бы не уехал. А так, на заводе, все же через год забуду".

Современные русские патриоты-экологи справедливо сетуют над продажей отечественной нефти и газа на экспорт, предупреждая, что "мы берем займы у наших потомков". Верно. Но когда от них уезжают такие вот гурвичи, они радуются: для русской, мол, культуры облегчение. А потом удивляются, как это США их обгоняют без всякого напряжения! Между тем величайший экологист России академик Вернадский уже в прошлом веке писал, что необычайный расцвет США связан и с тем тоже, что Россия отдает туда, за океан, многих из тех людей, кто достался ей по наследству от предков и кого она, Россия, оценить не сумела.

В США рядовой советский заводской инженер Гурвич быстро получил собственную лабораторию в знаменитой "Белл корпорейшн", а через 15 лет после прибытия в эту страну сделался "полным" профессором и руководителем научного центра (по-советски – завкафедрой) в Нью-Йоркском университете.

В 1973 году, в ночь перед отъездом, он впервые прочитал мне собственные стихи. Я запомнил. И когда встретился через полтора десятка лет, попросил прислать их в "22". "Неужели это интересно кому-либо, кроме меня?" – удивился он, но уступил... Я рад представить читателю новое в мире поэзии, хотя уже славное в мире науки имя – Михаил Гурвич, США.

Михаил Хейфец.

### Воспоминание о Коктебеле

Там у вершин названья дики,  
У старожилів лица строги,  
И под ногами на дороге  
Лежат куриные ли боги  
иль розовые сердолики?  
Там ночью тамариска запах,  
И море спит у гор на лапах,



И в лягушачьих громких кваках  
Плывет полынь.  
И волны медленно читают  
свою латынь.  
Хожу в мечтах за перевалы,  
В Приморье крымское хожу  
И за Цурюк-Ай гляжу,  
На острые седые скалы —  
И все, как прежде, нахожу.  
Опять забрался на Святую  
И к Карадагу подходил,  
И Янычары посетил,  
О коих до сих пор грущу я...  
Опять полынь дрожит от зноя  
И крымский ветер полнит грудь,  
И волны норовят прильнуть  
К камням за линией прибоя.  
Там лето есть на Сегадаке,  
Где обратился Грек в Варяги.  
Я там бы жертвенник воздвиг  
И к камню бы его приник  
— когда бы выправил бумаги!

\* \* \*

Табачный дым ночами входит в сад  
Через окно, которое открыли,  
Вдохнуть ко сну сирени аромат  
И легкий запах теплой летней пыли.

В неровной раме тополиных крон  
Звезда горит на светлом синем небе.  
Художником, что пишет небосклон,  
Мазок давно так верно найден не был.

Когда ты куришь, тонкий сизый дым  
подобен духу древней буквы дзеты,  
А, затянувшись, видим мы под ним  
Цветущий папоротник сигареты.

### Летний вечер

Лунный орден "Знак почета"  
поднимается меж крыш.  
Вылетает на охоту  
зависевшаяся мышь.  
Начинает сердце биться —  
ах, какой чудесный вечер,  
вот бы в гости закатиться,  
человек-то ведь не вечен.  
Вечерами летом грустно,  
хоть вокруг и благодать.  
Хочется "общаться устно"  
И мечтается поддать.  
Пусть скорее нам позвонят,  
нам приятен всякий люд —  
домового ли хоронят,  
ведьму ль замуж выдают.

### Июль

Тонко птица прокричала  
Из травы у самых ног,  
Лето бьется у причала,  
как привязанный челнок.  
Муха ползает в стакане,  
солнцем залиты дворы,  
и у неба на гортани  
меловой налет жары.  
Лето хор цикад натянет  
зноя тонкой тетивой,  
а не то — бедою грянет,  
легкой птичьей татарвой.  
Триста лет такого ига! —  
И цикады-то скоты;  
на пернатую задрыгу  
впрочем, тоже есть коты.  
Небо — дзот. И в амбразуре  
солнечный Матросов — Ра,  
захлебнувшийся в "ура!" —  
крепко закреплен в лазури.

## КАЛОШИ

Это уже далеко потом хорошим тоном считалось танцевать в ресторане, ковыряя спичкой в зубах. Танцевали двумя стилями: "спортивным шагом" и "линдой" — но обязательно в четыре колена.

Молодые люди учились ходить, не сгибая ног, а девушки — ба-летно разворачивая ступни.

Особо престижным считалось поставить на боковые зубы золотые коронки-фиксы и отпустить длинный ноготь на левом мизинце.

Девки были полуслепыми от белладонны: в тот сезон все носили "очи черные".

У мужиков свой стиль: белые носочки, черный двубортный костюм, крахмальная сорочка, недельная небритость.

Только когда оно все еще будет?

Это уже после победы, когда сохранившиеся пожелали утвердить себя, выплеснуться. А тогда, в военное лихолетье, желания гонились попроще, соразмернее. Тогда пределом считалось: штанины, заправленные в шерстяные носки, а на носках настоящие калоши. Настоящие — это в отличие от клеенных из резины, которые назывались чуни.

А на стене дома Красной армии была вывешена огромной величины карта фронтовых действий. Некоторые флажки находились в наступлении, другие — в обороне. Для среднеазиатского захолустья все эти перестановки флажков носили чисто символический характер. Фронтом был базар. Только здесь можно было выжить или погибнуть. А цена на хлеб в непрерывном наступлении. А кладбищенский сторож разрывал могилы и трупы скармливал свиньям. А электричество, как хлеб, по норме. А...

И мальчик Витя, ребенок из благополучной интеллигентной семьи, в 13 лет решил стать вором. Работа уважаемая, человек ты самостоятельный. Ведь кто у нас достойно живет? Воры, спекулянты и начальство.

Это неправда, что войны выигрывают или проигрывают государ-

ства. Государство может и проиграть войну, но отдельные его граждане — выиграть. К примеру, Витя уже точно знал, что в этой войне он потерпел поражение. Прекрасная квартира, домработница, концертный “Стейнвей”, на котором он разучивал гаммы, — пропало все. Победил в этой войне тот, которому все это досталось. Он и есть победитель. А Витя окончательно побежденный. Легче лишиться хлеба, чем привычной обстановки, устойчивости.

Разве можно перетерпеть, когда сам видишь, как мама отдала наглой спекулянтке за бутылку мутного масла коробку французской пудры, которую папа привез из освобожденной Польши?

— А еще чего есть заграничного? — спросила толстая баба.

Мама безнадежно порылась в сумочке из крокодиловой кожи (тоже Польша!) и смущенно улыбнулась.

— Вот духи, настоящий “Коти”, только там уже на доньшке...

— Ничего, возьму, — сказала спекулянтка, — Впрочем, сумочка ваша мне тоже смотрится. Могу предложить муки. Что у вас еще есть заграничного?

В то время слово “импорт” еще не освоилось.

— Больше ничего, — сказала мама, — Разве что несессер...

— А что это? — спросила спекулянтка, — Покажите.

Вот так ничего и не осталось от прошлого.

Из карт можно выстроить высокую красивую башню. И она может долго простоять. Иногда всю жизнь. Если, если... руками не трогать. Но достаточно легким щелчком вышибить из здания один кирпичик, и все сооружение рухнет.

Кирпичи-карты, из которых заботливые родители воздвигали для своего единственного Вити красивую башню из этюдов Шопена и экзерсисов по немецкой грамматике, из “Жизни животных” Брэма и сказок Андерсена, оказались непрочными, пустяковыми. Если б не война, могло бы и продержаться это здание, возможно, ему хватило бы и на всю витину жизнь...

Но случилось непоправимое.

И рухнула башня.

Все, что создавалось годами, смело одним щелчком. Прошлое оказалось вздорным плюсквамперфектом, а сейчас хотелось: новые калоши под шерстяные носки и курнуть. Еще в прежней жизни Витя начал слегка покуривать, иногда даже взятяжку. В эвакуации Витя впервые попробовал анашу — о ней раньше даже не слышал. Такие непримечательные катышки темнокоричневого цвета, как козий помет. Их нужно ногтем раскрошить на крупинки,

смешать с махоркой и... Только сворачивать надо не газетную самокрутку, а непременно козью ножку. И курить надо не так, как вообще курят. Сначала дым взять в рот, а потом уже в себя. Нет. Сразу в себя. Дым у анаши не горький махорочный, а сладкий-сладкий. И сразу дурь наступает приятная. И совсем не чувствуешь размеров, расстояния. Кирпич на дороге обходишь стороной — большой, а через канаву так прямо и шагаешь, падаешь, конечно. А жрать и вовсе не хочется. Хорошо. Можно и неделю без ничего. Вот только пить, пить и пить. Лучше всего зеленый чай без сахара.

А где деньги взять?

И мальчик Витя из благополучной интеллигентной семьи решил стать вором. А как? Вор — это не токарь по металлу: пошел учеником на завод — и выучился. Это уже впоследствии Витя будет знать, что номерной замок легко открывается на слух голыми руками, что лезвие самобрейку (мойку) следует разломить вдоль, а половинки, зажав между пальцами, жалом во-внутрь. Руки держишь открыто, ничего в них нету, а попробуй подойти...

А начинать приходилось с самодеятельности. По ночам фура развозила еще горячий хлеб. Витя пристроился за ней, открыл заднюю дверцу, взял несколько буханок — и хватит.

И с жильем все устроилось, как нельзя лучше. На базаре сидел артист, из ссыльных монголов. Показывал фокус. Две толстых полусогнутых проволоки засовывал в нос, а вынимал изо рта.

Через несколько дней Витя подошел к артисту, вынул из кармана две проволоки и повторил его фокус.

— Молодец, — похвалил монгол. — Где ты живешь, мальчик?

— Пока нигде.

— Ничего, — сказал монгол. — Есть, где жить. Всем места хватит.

По дороге спросил:

— Хочешь, я тебя другим фокусам научу. Зачем воруеть?

— А ты откуда знаешь?

— На базаре сажу. Все вижу.

Жилье оказалось просторное. Действительно, всем места хватит. Зброшенный кирпичный завод. Какие-то коридоры, тупики, переходы. Иногда в стенках дырки. Есть воздух и свет. Спали на бараньих шкурах. Уютно. Одним словом, жить можно. И люди жили, самые разные. Таких людей Витя раньше не встречал.

В отдалении проживал бывший человек. А, может, он и всегда был бывшим — кому интересно? Лежал на спине, разговаривать не умел, испражнялся под себя. Под ним завелись черви. Когда ему не

бросали еды, как-то переворачивался на бок и ел белых жирных червей вместе с испражнениями. Так и жил.

Тоже в отдельности находился и подросток по имени Гнус. Все знали, что он сифилисный. Никто после него не докуривал, а питался он в одиночку, без компании. В одиночку и промышлял, где придется, в основном по мелочишке.

Люто ненавидела Гнуса безвозрастная попрошайка, что с утра стояла на перекрестке с протянутой рукой. Гнус исхитрялся незамеченным подбираться к ней со спины и плевать в подставленную ладонь. И всегда попадал удачно. Попрошайка нехорошо, по-мужски, ругалась. Впрочем, в дальнейшем они договорились.

А в большом коридоре, где жили Витя, фокусник и другие, примостилась польская семья. Супруга с профессором. Когда витин папа освободил Польшу и привез оттуда много не наших вещей, этих освобожденных переселили на крайний север, добывать лес. На той работе профессор и застудил ноги, отнялись они насовсем. А когда поляков за что-то простили, подалась семья сюда, где тепло. И устроилась на кирпичном заводе. Муж лежал, а жена нищенствовала, с того и кормились. А профессором поляка признали заслуженно.

Был здесь, среди прочих, один беспризорный старик. Большой мастер, редкой специальности – кирпичник. Умел без излишнего шума разобрать любую кирпичную кладку, сделать в стенке лаз. Его на временную работу подражали иногда серьезные воры. Платили щедро, но от случая к случаю. Витя напрашивался к ворами в общество, отмахивались – обуза. А старик проживал на разовые заработки. От заказа к заказу. Зубов у него не было вовсе, пищу заглатывал целиком, не разжевывая. И подавился. Застряла еда в горле. Дыхание прекратилось, глаза вытарачил, думали – конец.

Поляк дополз до него, бритвой-самобрейкой порезал горло, извлек застрявший комок. А рану зашил обыкновенной иглкой с черной ниткой. И выжил старик.

Жена поляка гордо сказала:

– Пан Юзеф в Варшаве был хирургом...

С тех пор обезноженного стали называть профессором. И уважать стали.

Славно зажил здесь Витя, вольготно, не то, что дома. Случалось, вспоминал про папу и маму, скучал, но возвращаться не хотелось, – тут лучше. Тем более. вернуться никогда не поздно. Примут. Но это уже на крайний случай...

Жизнь текла равномерно, без происшествий, хотя и происходили неожиданные.

Как-то подседа к Вите бесприютная побирушка, ну та, которой Гнус в ладонь плевал.

Зашептала:

— Поимей меня, мальчик. А я тебе взамен большой секрет открою.

— Какой?

— А не обманешь?

— Слово.

— У Юзефа под головой, в котомке, новые калоши. Точно знаю. Хватай и беги. Только приласкай меня, мальчик.

Мальчик из хорошей семьи не плюнул ей в руку, как Гнус, плюнул в сморщенное лицо. И пошел на свое место.

— Жид, — сказала вслед попрошайка. — Все вы такие. Бессердечные.

А ночью всех разбудил крик. Кричал Юзеф. Гнус рванул у него из-под головы торбу с калошами и навсегда смылся. Сумел, значит, сговориться с нищенкой. А сифилис в ее преклонном возрасте уже значения не имел, зато успела получить удовлетворение.

Так бы и прокантоваться спокойно до весны, а там и в другие края податься можно. Не вышло. Подвел всех фальшивый инвалид отечественной войны. Шинель с пустым рукавом, боевая медаль, желтая нашивка за тяжелое ранение. Просил на базаре милостыню. Подавали фронтовику охотно, и был он всегда выпивши.

Появился он в общежитии сам по себе, о своем прежнем пребывании не распространялся, да и кто здесь такие собрались, чтоб чужие документы проверять? Живешь, ну и живи, а угостишь — не откажутся. В коллективе — не скроешься, вскоре установили, что инвалид он самозванный. Живую руку заправлял в штанину, чтоб больше подавали, а боевую медаль на бутылку выменял. Кому какое дело? Но дружески посоветовали: чего дома дурака валять? С двумя руками удобнее, а выходишь на работу, хоть обе руки припрятывай.

Как-то спросил у Вити:

— Как думаешь, немцы скоро победят?

— А тебе что?

— Ты малолетка, тебе — что? А меня, если разоблачат, вполне расстрелять могут. За дезертирство.

— Ну, а победят немцы?

— Другая ситуация. Не нужно будет мне скрываться. Я ж против них не воевал. Даже наоборот — вроде помогал им.

Постоянно жил человек в страхе за свою жизнь. И умер от страха, не дождавшись немецкой победы.

В одном из многочисленных тупичков и коридорчиков находилось женское отделение. Там проживали четыре голых натурщицы. Голые — потому что одеть им было нечего, не могли выйти на улицу. А натурщицы — потому что за еду натурой расплачивались. Самые настоящие лахудры — немытые, нечесанные, зато при шпорах: щеки румянили толченым кирпичем. Каждая мечтала прибарахлиться, перейти на уличный промысел. Только как этого практически достигнуть? Приходящий клиент расплачивался лепешкой, кунжутным маслом, серой мукой.

Был, правда, один денежный, неполноценный. Выходец из страшной секты самоувечников. Никто уже не помнит, когда здесь подпольно обосновалась община русских переселенцев. У них была своя вера, особенная. Чтоб не грешить, они добровольно друг друга кастрировали. Которые послабее духом, те частично калечили себя — накладывали “малую печать”. А уж очень религиозные применяли “большую” — полностью ампутировали все хозяйство. Этот, неполноценный, был из них. Отошел от своей веры, оказался вероотступником, захотелось ему женской ласки. Община выгнала его с позором, и остался он неприкаянным. Только поздно прозрел, непоправимо уже. Требовал, чтоб Маруси гладили его и целовали. Они исполняли его желания, а он в ответ плакал и стонал. Вот и все. Больше от него ничего не осталось. Расплачивался наличными. Однако с одной ходки на платье не потянет, а приходил он не часто и расходились деньги на те же продукты...

Мука — это хорошо. Вскипятишь в котелке воду, разболтаешь в ней муку — получается вкусная затируха, особенно, когда сдобришь ее маслом, пусть и кунжутным.

Ложка на четверых была одна, так что хлебали по кругу, зато горячая пища. Как их звали, не настаивал никто, да и зачем, когда все откликались на имя Маруся.

Только позовешь:

— Маруся!

Они сразу:

— Тебе какую?

Однажды зазвали в свое логово Витю.



— Давай оформимся мальчик.

Так и оформились. Только никакого интереса Витя не почувствовал. Оно хоть и в первый раз, однако лишним оказалось, без надобности. Покурить — куда увлекательней. Находишь вкус жизни. Правда, потом Витя несколько раз наведывался к Марусям, но обязательно предварительно накурившись; на свежую голову — никогда, просто не испытывал такой необходимости. А вот курнешь планчика — и сразу перемещаешься в другое состояние. И тогда старшая из Марусь, постарше будет его мамы, укачивала Витю, и он засыпал на ее коленях. Добрая она была, отзывчивая.

Погибла Маруся по собственной дурости и других загубила нечаянно. Только кто мог предполагать, что такое произойдет в будущем? А пока что, когда дело было сделано, мальчик Витя сидел на кошме и беседовал с Марусями.

Странно вообще... Допустим, человек собирает марки или служит в конторе, никто не спрашивает — почему? А если собирает милостыню и нигде не служит, непременно вымогают: как дошел до жизни такой? И преследуют.

Мальчик Витя никого ни о чем не выпрашивал. Его, впрочем, тоже, из тактичности.

Каждый жил по своим способностям.

Сейчас девушки искренне жаловались:

— Прояви к нам сочувствие, мальчик. Третий год здесь сидим раздетые, человеческой жизни не видим. Страдаем через свое легкомыслие. С голодухи распродались, думали — наверстаем, а не получилось. Может, война постепенно кончится, все разойдутся, а мы здесь одни останемся. Пожалей нас, мальчик.

— А как?

— Укради для нас платье. Одно на всех. Мы по очереди в свет выходить будем. Заработаем на гардероб. Мы ведь не чужим, а своим торгуем. Товар всегда в наличии, при себе.

— Ладно, — пообещал Витя. — Постараюсь.

Знал, что говорил. К тому периоду он уже стал удачливым торбохватом. Рванул чего-нибудь с прилавка — и деру. Ноги молодые, резвые. Его еще ни разу не настигали, не били. Главное — твердо запомнить правило. Если погоня попалась настырная, не отстает, никогда не жмотничай: кидай добычу в сторону, а сам — в противоположную. Хозяин всегда сперва к своему добру дернется, а ты выиграл время — и спасен.

— Постарайся, мальчик. Пожалей нас.

Это правильно. Ты не пожалеешь, тебя не пожалеют. Случилось как-то Вите завернуть в чайхану, хоть чаю пригубить. Все внутри пересохло, потрескалось, дышалка кончалась, больно было. Тут самый раз курнуть, сразу пошел бы на поправку. Но день выдался не фартовый, никаких заработков, а в долг — кто же одолжит? Рантик никому в кредит не уступает. И его пожалели. Старый узбек пожалел. Вынул полированную тыквочку, заткнутую пучком конского волоса. В таких тыквочках узбеки держат нас — порошок табак зеленого цвета; его под язык закладывают, а пососав — жижу выплевывают. Только в тот раз высыпал на ладонь не зеленый порошок, а белый. Опиум! Витя посмотрел собачьими глазами — и узбек пожалел его: отсыпал щепотку. Слизнул ее Витя, запил чайком — и пришло в тело облегчение. Выздоровел! Вот и сейчас девчата смотрели собачьими глазами, как он в чайхане...

Однако, с ходу приобрести платье не удавалось, не было подходящей вакансии. Чуть позже получилось: узбекский халат, мужской, но богатый, шелковой выделки.

Сгодилось.

Девушки керосином травили вшей, готовились. Потом поочередно сходили в баню — это за последние годы впервые.

А вечером, по одиночке, выходили на смену, возле гостиницы с рестораном. Каждая по одному разу управилась. Нанесли много вкуснятины, даже банку американской тушенки. Пригласили профессора с супругой и Витю. От водки Витя отказался — не переносил ее запаха, а вот планчика после ужина накурился и уснул, блаженствуя.

Жизнь вообще идет полосами — то тучи, то солнышко. Почему-то никогда не выходило посерединке. Наступила полоса везения. Дежуря на базаре, Витя засек арбу с кишмишем. Ишака выпрягли, ишаку всегда работа найдется, чего ему весь день бездельничать? Прямо с арбы безбородый кореец (тоже, наверно, из ссыльных, но прижившихся) наравес прибыльно торговал прозрачным кишмишем без косточек, а деньги запихивал в холщевую сумку, которую придерживал коленями. Брала по малу, граммов по сто-двести, чтоб для видимости компот заправить, чтоб не плавали одни сушеные яблоки только.

Пришлось маленько подождать, — пусть выторг будет существенным. Витя удобно притулился в тенечке, с нетерпением поглядывая на арбу. Стояла она на бугорке, под колеса был заложен ка-

мушек — вроде тормоза. Когда кишмиш стал заканчиваться, Витя не торопясь подошел к арбе, вышиб ногой из-под колеса камушек. Арба стронулась с места, покатила вниз. Хозяин соскочил с имущества, побежал за арбой — останавливать. А торбу с выручкой по дурацки оставил. А дураков надо учить.

Чтоб деньги не разошлись по мелочам, Витя прямо направился к Рантику — тот торговал анашей и опиумом-сырцом.

— Легко взял? — из вежливости спросил Рантик.

Витя растопырил на правой руке пальцы:

— Я легко полторы октавы брал...

— Американское что-то? Возьмешь еще — приноси мне.

Потом Витя завернул на крик:

— Апи-папи-папи-папи-па-апирось!

Папиросами торговали поштучно. Брели одну-две — побаловаться, отвлечься от махорки. Витя купил оптом несколько пачек американских сигарет "Кемел", прихватил заодно пирожков с вареной трехухой. Основа есть. Можно возвращаться домой.

А дома ожидало разочарование.

Спокойная жизнь кончилась. Скончался инвалид. Кинулись на него всем скопом, повалили, набросали поверх бараньих шкур и придушили. Труп отволокли на задний двор, переходящий в пустырь, сбросили в пересохший арык и ушли. Не догадались закидать чем-нибудь тело. Просто так — сбросили и ушли. Не предвидели будущих последствий. Из любопытства Витя пошел посмотреть на мертвого, который больше всего боялся смерти. На лице покойного написан был страх. Значит, и после смерти не сумел от него избавиться.

Вернувшись в помещение, Витя узнал несущественные подробности. Как известно, все дороги ведут на базар. А кто на базаре не знал обреченного, который кормился от сострадания? На груди у него висела плетеная корзина, куда бросали, кто деньги, кто съестное. Ему подавали безотказно, больше, чем другим нищим, но и он был другим. От него веяло ужасом — и он загодя предупреждал о своем появлении. Колокольчиком. Из всех отверстий у него тек гной: из бывших глаз, ноздрей, ушей, только рот был покрыт запекшимися корками. Говорили, будто он проказный, — кто его знает? Докторам-то его не показывали, а милиция боялась прикасаться. Хотя кинуть копейку ему никогда не сподобилась. А почему? Раз существует такой человек, значит, и кушать ему следует...

Вот нашего инвалида липового и засекли на нехорошем поведении. Он пальцем набирал гной из ушей обреченного и смазывал этим гноем свои уши. Глаза, выходит, щадил, а ушей не жалко — к чему слух, не на рояле ж играть ему предстояло. Вот на этом поступке его и накрыли, когда он хотел заразиться, чтоб ни о чем не беспокоиться. О себе не беспокоиться, а как же о других? Ты же, паскудник, живешь в общежитии. Им, другим, фронт не угрожал, чего же им загнивать пожизненно. Только о своем благополучии заботился, паразит. Но ведь ты живешь в коллективе, остальным фронт не угрожает, а зараза получится общая. Короче, ликвидировали его — и правильно сделали. Только в одном ошиблись, тело мертвое не замаскировали, беду на себя вызвали. Недели две падаль спокойно пролежала, а потом исчезла. Кто о ней позаботится, кроме милиции? Кому она нужна?

Ночью была облава.

В ту пору в милиции служил легендарный Ильяс, из перековавшихся уголовников. Он один шел на задержание. Он один входил в помещение, сжимая в кулаках две лимонки. Зубами вырывал кольца и протягивал вперед руки. Он никогда не кричал, терпеливо выжидал, чтоб все успокоились, затем звал своих:

— Можно брать.

В ту ночь случилась непоправимая осечка.

Старшая Маруся с перепугу завизжала, покатила ему под ноги. Увидев голую ведьму, легендарный Ильяс растерялся, разжал кулаки...

Его хоронили с почестями, остальные обошлись без похорон, закидали где-то землей — и хватит с них.

Ну, а всех уцелевших, в том числе и Витю, замели в милицию. Оставили одного червивого. Побрезговали. В милиции Витя задержался недолго. По опыту других знал: нет расчета с ним возиться. Тут и бумаги сопроводительные на него изготавливать требуется, и сопровождающего впоследствии выделять, а детдома и без него переполнены. А колонию несовершеннолетних клеить ему — не получится: нету у них на него никаких данных. А пока что его содержать придется, как-никак, а кормить задержанного положено. Скорей всего — выгонят до завтрака, а пайку себе присвоят.

Так оно и получилось, как старшие товарищи предсказывали.

— Родители есть?

— Нет, — соврал Витя.

— Где постоянно проживаешь?

Витя знал, как следует отвечать:

— От каждого фонаря девятый номер.

Никаких бумаг, понятное дело, составлять не стали. Себе дорожке. Бумаги кормить надо. А человека — необязательно.

— Чтоб я тебя больше здесь не видел. Ясно?

— Вполне.

— Ступай.

— Я есть хочу.

— Вон!

Всегда пожалуйста. Пусть поперхнутся его пайкой. Сам добудет.

На кирпичный завод Витя решил уже не возвращаться. Пора сменить домашний адрес.

И вечером под вагоном товарняка он уже катил в Алма-Ату.

Там, говорят, большие углы отворачивают...

## КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА — ИЕРУСАЛИМ"

новая книга

### МАРК ТВЕРСКОЙ. ТРЕП ОТ ЗАБОТ ИУДЕЙСКИХ

(эпиграммы, иронические стихи, пародии) Художник Г. Веницкий

120 стр.

Цена 10 долл.

В небольшой по объему книге М. Тверской сумел заключить целую серию искрящихся юмором иронических примечаний на полях нашей общей жизни и создать обширную галерею точных пародийных портретов израильских, эмигрантских и советских поэтов. Творчество М. Тверского — пародиста и сатирика — не случайно отмечено похвальными отзывами взыскательных читателей и символической наградой — "Премией Гарика" в Соединенных Штатах.

*Заказы и чеки принимаются по адресу: "Москва-Иерусалим", п/я 44050, Тель-Авив 61440.*

## ИЗ ПЕРЕВОДОВ

*Чеслав Милош*

### СОТВОРЕНИЕ МИРА

Эти, из КБПроектов, киснут от смеха:  
У одного получился ежик,  
А у второго оперная примадонна:  
бюст, кружева, кринолин, кудряшки,

Кайф кувыркаться в приборе протоэнергий  
под аплодисменты-хлопки в ладоши разрядов  
доэлектричества! Шлепают протокисты...  
бурлит протокраска... и смерчи недогалактик  
там, где (как бы) за окнами — неподнебесная ясность.

В раковины трубят, резвятся в псевдопространстве,  
в своем краю архетипов, на седьмом небе!  
Земля почти совершенна, ее реки блещут,  
рощи возносятся; каждая тварь персонально  
названа быть ожидает; походя громы рокочут  
над тупым поголовьем пастбищ.

Становятся города: трещины улиц,  
ночной горшок из окна-бойницы, бельишко...  
И — сразу же — автобаны к аэродромам,  
памятник в сквере и стадионы,  
где трибуны в порыве рычат: "Шайбу!!!!"

Выдумать высоту, ширину и длину, и квадратуру  
круга, Закон Всемирного Тяготенья —  
и так по горло, а тут еще: вздорный лифчик  
в рюшах, гиппопотам, клюв тукана,  
целомудрия пояс с его оскалом  
зубьев, и рыба-молот, и шлем с забралом,  
и, само собой, время — грань меж "было" и тем, что "будет".

"Глория, gloria!" — славят себя творения,  
тут, подслушав, Моцарт сядет за пьяно-форте  
и сочинит музыку, какая была готова  
в Зальцбурге много прежде его рожденья.

Если бы все это хоть сохранялось! куда там!  
пенной по ветру... мыльными пузырями...  
вкуже с мненьем бессмертных о небесмертных:

"Легкомысленный, легкий народец, мимолетное племя...  
Плакать хочется от этих тряпок, танцев  
эк! разгульных, а на поверку — жалких,  
от — к зеркалам припечатанных — лиц с серьгами:  
потная шея, пудра, потеки грима...  
Что за душою — кроме любовных игрищ?!  
Ничего себе — оборона от бездны!"

А солнце всходит и солнце заходит.  
А солнце всходит и солнце заходит.  
Пока резвятся они, резвятся.

*Перевод с польского  
Михаила Генделева*

Требуются инженеры с широким конструкторско-техническим опытом в области советских транспортных систем связи (в том числе железнодорожных, автострадных, речных), для подготовки научных обзоров развития данных систем в СССР. Гонорары. Квалифицированным лицам направлять резюме по адресу:

Delphic Associates, Inc.  
7700 Leesburg Pike, 250  
Falls Church, VA 22043

## РАССКАЗЫ

*От редакции: Бруно Шульц (1892 – 1942) – польский еврейский писатель; родился в Дрогобыче; перед первой мировой войной изучал графику в Вене; преподавал рисунок в дрогобычской гимназии; погиб в сентябре 1942 года в дрогобычском гетто во время массовых еврейских расстрелов. Творческое наследие Шульца включает две книги рисунков и два сборника рассказов – “Коричные лавки” (1934) и “Санаторий под клещидрой” (1938), представляющих своеобразную “мифологизированную” историю дрогобычской еврейской семьи на фоне ее распада и гибели. Необычный художественный мир Шульца, экспрессивно приподнятый и одновременно буднично-ироничный, насыщенный библейскими ассоциациями и мифологической символикой, нередко ставят вровень с художественными мирами Джойса, Кафки и других крупнейших мастеров европейской литературы XX века. Произведения Шульца переведены на все важнейшие языки мира, кроме русского, поэтому предлагаемые ниже переводы – первая для русскоязычного читателя возможность познакомиться с доселе неизвестным ему творчеством одного из крупнейших представителей мировой литературы XX века.*

*Из цикла “Коричные лавки”*

**Август**

1

В июле отец уезжал на воды и оставлял меня с матерью и старшим братом на произвол белых от зноя и ошеломительных летних дней. Ошалев от яркого света, мы листали эту огромную книгу каникул, каждая страница которой пылала от блеска и кончалась одуряюще приторной мякотью золотых груш.

Аделя возвращалась на сверкающем рассвете, словно Помона из пламени вспыхнувшего дня, высыпая из корзины многоцветную красоту солнца – сияющие черешни, налитые влагой по самую прозрачную кожуру, загадочные черные вишни, запах которых превосходил то, что становилось их вкусом, абрикосы, чья золотистая мякоть таила сердцевину долгих вечеров; а вслед за этой чистой поэзией фруктов появлялись набрякшие силой и съедобностью пласты мяса на клавиатуре телячьих ребер и водоросли овощей, похожие на мертвых осьминогов и медуз – весь сырой материал будущего обеда, с его еще не сложившимся и бесплотным вкусом, все его растительные и теллурические элементы с их дикими и полевыми запахами.

Каждый день через сумрачную квартиру на первом этаже ка-



менного дома по соседству с рынком проходило насквозь огромное лето: тишина трепещущих воздушных столбов, квадраты света, грезящие в жарком сне на квадратах пола, мелодия шарманки, извлеченная из глубочайшей золотой струны полудня, два-три такта фортепианного рефрена, снова и снова повторяемые вдалеке, тающие на залитых солнцем тротуарах, тонушие в пламени бездонного дня. Убрыв в квартире, Аделя задергивала полотняные шторы и впускала в комнаты тень. Тогда все краски сходили на октаву ниже, комната наполнялась полумраком, словно погруженная в светящуюся толщу моря, и еще призрачнее отражалась в зеленых зеркалах, а весь дневной зной дышал в шторах, слегка вздымая их жаркими грезами полуденного часа.

По субботам после полудня мы с матерью выходили на прогулку. Из сумрака прихожей мы вступали сразу в солнечную купель дня. Глаза прохожих, бредущих сквозь его золото, были прищурены от жары, словно залиты медом, а подтянутая верхняя губа обнажала зубы и десны. Все, кто брел сквозь этот залитый золотом день, несли на лице такую гримасу, как будто солнце наложило на лица всех своих поклонников одну и ту же маску — золотую маску солнечного братства; и все, проходившие в этот день по улицам, старые и молодые, женщины и дети, встречали, миновали и приветствовали друг друга этой маской, нарисованной на лицах грубой золотой краской, и улыбались друг другу этой вакхической гримасой — варварской маской языческого культа.

Рынок был пуст и желтел от жары, начисто выметенный от пыли горячими ветрами, словно библейская пустыня. Колючие акации, вставшие в пустоте желтеющей площади, кипели над ней светлой листвой, букетами изящно расчлененной зеленой филигранны, точно деревья на старинных гобеленах. Казалось, что эти деревья подчеркивают ветер, театрально вздувая свои кроны, чтобы в скорбных изгибах продемонстрировать изысканность своих листовенных вееров с их серебряным, как у благородных лисиц, подбрюшьем. Старинные дома, отполированные многодневными ветрами, были окрашены отблесками громадного неба, угасшего эха, воспоминаниями о красках, рассеянных в пестрой глубине воздуха. Казалось, будто целые поколения летних дней (как терпеливые штукатурки, очищающие старые фасады от заплесневшей штукатурки) по кусочкам отбивали с них лживую глазурь, со дня на день все явственней выявляя подлинные их лица, физиономию судьбы и той жизни, что формировала их изнутри. Но теперь окна, ослепленные блеском пустынной площади, спали; балконы от-

крывали небу свою пустоту; из распахнутых прихожих пахло прохладой и вином.

Кучка оборванцев, укрывшаяся в углу площади от огненной метлы зноя, прижалась к краюшку стены, снова и снова испытывая ее щелчками пуговиц и монет, словно в гороскопе этих металлических кружочков можно было прочесть подлинную тайну камней, подернутых иероглифами линий и трещин. В остальном рынок был пуст, словно ждал, что через каменную арку со стоящими там винными бочками, в тени качающихся акаций, вот-вот подойдет ведомый под узду осел самаритянина, и двое служек заботливо совлекут с раскаленного седла расслабленного старца, чтобы бережно понести его по холодным ступеням в комнату, пахнущую субботой.

Так шли мы с матерью по двум солнечным сторонам рынка, ведя наши изломанные тени по всем домам, точно по клавишам. Квадраты асфальта медленно сменялись под нашими мягкими, уплощенными шагами — одни бледнорозовые, как человеческая кожа, другие золотые и синие, и все плоские, теплые, бархатные на солнышке, словно какие-то солнечные лики, затоптанные подошвами до неузнаваемости, до блаженного небытия.

И вот наконец, на углу улицы Стрыйской, мы входили в тень аптеки. Огромная банка с малиновым соком в широком аптечном окне символизировала стылость настоек, которыми можно было исцелить любое страдание. А еще через несколько домов улица уже оказывалась не в силах сохранять видимость городской, словно мужик, что, возвращаясь в родную деревню, сбрасывает с себя по частям свою городскую элегантность, с приближением к дому постепенно превращаясь в деревенского оборванца.

Пригородные домики, утопая в буйно переплетенной зелени крохотных садов, погружались в нее по окна. Забытые огромным днем, тихо и бурно разрастались травы, цветы и хвощи, радуясь той паузе, которую могли отоспать на обочине времени, на рубежах нескончаемого дня. Громадный подсолнух, вознесенный на мощной ноге и страдающий слоновьей болезнью, сгибаясь под тяжестью чудовищно разросшегося тела, ждал, закутанный в желтый цвет скорби, последних, печальных дней своей жизни. Но наивные пригородные колокольчики и неприятельные ситцевые цветки растерянно тарачились из своих накрахмаленных розовых и белых рубашонок, не в силах понять огромность подсолнушьей трагедии.

Переплетенная чаща трав, лодыг, сорняков и чертополоха бужет в пополуденном пламени. Роем мух гудит послеполуденная дрема сада. Золотая стерня кричит на солнце, словно рыжая саранча; в ливневом огнепаде верещат сверчки; с тихим треском, словно полевые кузнечики, лопаются стручки, набитые семенами.

А ближе к изгороди травяной кожух пучится выпуклым горбом-пригорком, словно бы сад перевернулся во сне на другой бок, и заглубившие его, могучие мужицкие плечища дышат тишиной земли. Неопрятная, бабья буйность августа, разросшаяся глухими завалами огромных лопухов, бесстыдно разметалась на этой мужичьей спине лоскутами волохатых лиственных блях, вываленными языками мясистой зелени. Там лупоглазые лица лопухов вылупились, точно широко рассевишиеся бабы, полупроглоченные собственным ошалевшим исподним. Там сад надармака продавал дешевейшую россыпь дикой сирени, пованивающую мылом крутую крупу подорожника, забродившую дичью бормотуху мяты и всяческую прочную худшую августовскую дешевку. Но по ту сторону, за этим бабьим лоном лета, где разрасталась бездарь придурковатых лодыг, тянулась дико заросшая чертополохом свалка. Никто не знал, что там-то и справлял в то лето август свою великую языческую оргию. На той свалке, прислоненная к изгороди и полускрытая дикой сиренью, стояла кровать местной идиотки Тлюи. Так мы ее все называли. На куче мусора и отходов, среди старых горшков, покореженных тувель, обломков и щебня стояла крашенная в зеленый цвет кровать, подпертая двумя старыми кирпичами взамен отломанной ножки.

Воздух над этой свалкой, одичавший от зноя, рассекаемый синими молниями сверкающих конских мух, взбесившихся от солнца, звенел, словно от невидимых трещоток, загоняя в безумие.

Тлюя сидит, свернувшись среди пожелтевших простыней и тряпок. На огромной голове всклоченная пакля черных волос. Лицо ее подвижно как меха гармошки. То и дело плаксивая гримаса складывает эту гармошку в тысячи поперечных морщин, а идиотское удивление снова разглаживает их, открывая щелки крохотных глазок и мокрые десны с желтыми клыками под вытянутой мясистой губой. Проходят долгие часы, наполненные жарой и скукой, а Тлюя то бормочет вполголоса, то спит, то скулит или хрюкает. Потом вдруг вся эта куча грязной ветоши, тряпья и лоскутьев начинает шевелиться, словно в ней ожили и заскреблись дремавшие там крысы. Мухи испуганно просыпаются и возносятся

вверх огромным гудящим роем, сердито жужжа, в поблескивающем мельканье. И пока эти серые тряпки сыплются на землю и разбегаются по ней как всполошенные крысы, из них постепенно выгребается наружу, мало-помалу разворачивается кочерыжка, вылушивается корень свалки: полуголая и грязная идиотка, подобная языческому божку, медленно поднимается и встает на коротких детских ножках, а из ее набухшего приливом злости гневом горла, с побагровевшего, потемневшего от гнева лица, на котором, как на варварских фресках, расцветает узор набрякших жил, вырывается звериный вой, хриплый вой, исторгнутый из всех бронхов и связок этой полуживотной, полубожественной груди. Лопухи, сожженные солнцем, кричат, лопухи набухают и кичатся своей бесстыдной плотью, лодыги истекают сверкающим ядом, а идиотка, охрипшая от крика, в судороге ярости бьется мясистым лоном о корни дикой сирени, которые тихо скрипят под напором ее распутной похоти, закливаемые всем этим нищенским хором на пиршество извращенного, варварского плодородия.

Мать Тлуи нанималась к хозяйкам на мытье полов. То была маленькая, желтая, как шафран, женщина, которая этим своим шафраном приправляла полы и пихтовые столы, скамейки и заслоны, что мыла в домах бедняков. Однажды Аделя привела меня в дом этой старой Марыси. Был ранний утренний час, мы вошли в маленькую, отливающую голубизной побеленную комнатку, с забитым глиняным полом, на котором лежало раннее солнце, золотисто-желтое в этой утренней тишине, отмеряемой жутким тиканьем деревенских настенных часов. В сундуке, на соломе, лежала придурковатая Марыся, бледная как полотно и тихая, как перчатка, из которой выскользнула рука. И словно пользуясь ее сном, болтала тишина, желтая, резкая, злая тишина, вела свой сварливый монолог, громко и вульгарно молола свой маниакальный монологический вздор. Время Марыськи — время, заточенное в ее душе, — проступило из нее с жуткой очевидностью и неприкаянно брело по комнате, шумное, яростное, гудящее, сыплющееся в ярком утреннем молчании из-под жерновов грохочущих настенных часов, точно злая мука, сыпучая мука, нелепая мука безумцев.

### 3

В одном из этих домов, окруженном оранжевым палисадником, тонущим в буйной зелени небольшого сада, жила тетка Агата. Направляясь к дому, мы проходили мимо расставленных по саду,

вздымавшихся на низеньких столбиках разноцветных стеклянных шаров, розовых, зеленых и фиолетовых, внутри которых зачарованы были целые миры, светящиеся и чистые, как те недосыгаемые и счастливые образы, что замкнуты в недостижимом совершенстве мыльных пузырей.

В полутемной прихожей со старыми, съеденными плесенью и подслеповатыми от старости олеографиями, нас встречал знакомый запах. Этот надежный ветхий аромат с поразительной простотой вмещал в себя всю жизнь обитателей дома, алхимию их расы, свойства крови и секрет судьбы, неприметно растворенный в минувшем что ни день их собственном, обособленном времени. Старинные, мудрые двери, темные вздохи которых впускали и выпускали этих людей, молчаливые свидетели появлений и уходов матерей, сынов и дочек, отворялись бесшумно, как дверцы шкафа, и мы с матерью входили в их жизнь. Они сидели словно в тени собственной судьбы, не защищаясь от нас, — первые же неловкие жесты выдали нам всю их тайну. Разве мы не были их кровными по крови и судьбе?

Комната была темной и бархатной от темносиних обоев с золотым рисунком, но эхо пламенного дня и тут трепетало медным отблеском в рамах картин, на рукоятках дверей и в позолоте листвы, хоть и процеженной уже сквозь густую зелень сада. Тетка Агата, огромная и пышная, с округлыми и белыми телесами, помеченными рыжей ржавчиной веснушек, поднялась нам навстречу от стены. Мы присели рядом, словно бы на краешек их судьбы, слегка пристыженные той беззащитностью, с которой они безоговорочно предались нам в руки, и стали пить воду с розовым соком, удивительный напиток, в котором мне словно бы открылся глубочайший смысл этой палящей субботы.

Тетка жаловалась. То был постоянный рефрен ее речей, голос самой этой мучнистой и плодовой плоти, уже как бы выпирающей за границы личности, лишь непрочно удерживаемой воедино, в узах индивидуальной формы, но даже в этом единстве уже сто-крат разросшейся и готовой распасться, рассыпаться, размножиться в потомстве. То была плодовитость на грани самозарождения, чистое женское начало, лишённое всяких препон и чрезмерное до болезненности.

Казалось, достаточно одного запаха мужчины, аромата его табачного дыма, его холостяцкой шутки, чтобы дать этой воспаленной женской плоти импульс к похотливому непорочному зачатию. И в сущности все ее жалобы на мужа, на его службу, ее тревога за

детей были всего лишь капризами и претензиями этой ненасытной плодовитости, продолжением ее сварливого, желчного и плаксивого кокетства, которым она напрасно окружала супруга. Дядя Марек, маленький, сгорбленный, с бесполом лицом, утонул в своем сером жизненном банкротстве, смирившись с судьбой, в тени безграничного презрения, в котором, казалось, находил свое отдохновение. В его сероватых глазах догорал далекий жар сада, распятого в проеме окна. Время от времени он слабым жестом пытался что-то возразить, чему-то воспротивиться, но вал самодовлеющей женской плоти тут же отметал этот лишенный значения жест и триумфально прокатывался мимо него, заливая своим широким потоком слабые содрогания мужчины.

В этой неопрятной и неумеренной плодовитости было что-то трагичное, была тщета твари, сопротивляющейся на границе небытия и смерти, был какой-то героизм женского начала, торжествующего над увечьем природы, над неспособностью мужчины. Но потомство подтверждало правоту этого панического материнского страха, этой мании плодоношения, которая иссякала в неудачных плодах, в эфемерной череде безликих и бескровных призраков.

Вошла Люция, средняя из сестер, с чрезмерно расцветшим и перезрелым лицом на детском и пухлом тельце, скроенном из белой и нежной плоти. Подала свою кукольную ручку, на которой словно только что проросли пальцы, и сразу зацвела всем лицом, как пион, наливающийся глубокой розовизной. Стыдясь своих рдеющих щек, которые бесстыдно свидетельствовали о тайнах менструации, она прикрывала глаза и еще больше багровела от прикосновения самого пустякового вопроса, потому что каждый из них скрывал тайный намек на ее сверхчувствительное девичество.

Эмиль, самый старший из братьев, со светлыми усами, с лицом, с которого жизнь словно бы стерла всякое выражение, мерял шагами комнату, сунув руки в карманы плиссированных брюк. Его элегантный и дорогой наряд нес поблекший отпечаток экзотических краев, из которых он некогда вернулся. Его мутное и увядшее лицо, казалось, со дня на день забывало о самом себе, становясь чистым белым листом с бледной сетью прожилок, в которых, как линии на полустертой карте, переплетались воспоминания бурной и напрасной жизни. Он был мастером карточных фокусов, курил длинные, благородные трубки и пахнул диковинным запахом дальних стран. Вперив взгляд в воспоминания прошлого, он рассказывал чудные истории, которые в какой-то момент вдруг обрывались, размазывались и таяли в пустоте. Я водил за ним тоскливым взглядом

дом, страстно желая, чтобы он обратил на меня внимание и избавил от мучительной скуки. Мне показалось, что он и в самом деле подмигнул мне, когда выходил из комнаты. Я поспешил за ним. Он сидел на низкой, маленькой кушетке, скрестив колени чуть не на высоте гладкой, как бильярдный шар, головы. Казалось, то сидит пустой помятый костюм, сам сложившись по складкам и перебросив рукава через ручку кресла. Лицо его напоминало дуновение лица — след, который неведомый прохожий оставил в воздухе. В бледных, голубоватой эмали ладонях он держал бумажник, в котором что-то разглядывал.

Из туманной мглы лица с трудом возникло выпуклое бельмо мутного глаза, привлекающего меня фиглярским подмигиванием. Я испытывал к нему непреодолимую симпатию. Он поставил меня между колен и тасуя перед моими глазами колоду фотографий искусными пальцами, стал показывать силуэты обнаженных женщин и мужчин, изогнувшихся в странных позах. Я стоял, опершись об него боком, и глядел на эти хрупкие человеческие тела отстраненными, невидящими глазами, когда флюид какого-то неясного возбуждения, от которого вдруг помутнел воздух, настиг меня и пробежал по моему телу дрожью тревоги, волной внезапного понимания. Но тем временем облачко усмешки, обрисовавшееся под его мягкими и красивыми усами, зародыш вождения, которое напряглось на его висках пульсирующей жилкой, желание, на миг собравшее черты его лица воедино, — снова обратились в ничто, и его лицо вернулось в небытие, забыло о себе, развеялось в пустоту.

### Благовещение

#### 1

Уже тогда наш город все глубже погружался в какую-то постоянную сумеречную серость, постепенно порастая на окраинах лишаями теней, пушистой плесенью и мхами цвета железа.

Едва распеленутый из бурых испарений и сумраков рассвета, день сразу же клонился к низкому янтарному закату, на миг становясь прозрачным и золотым, как темное пиво, чтобы тотчас уйти под разграненные, фантастические своды многоцветной и просторной ночи.

Мы жили на рынке, в одном из тех мрачных домов с пустынными и слепыми фасадами, которые так трудно отличить друг от друга.

Это порождает печную путаницу. Раз войдя не в ту дверь и не

на ту лестницу, ты непременно попадал в запутанный лабиринт чужих комнат и садиков с внезапными выходами в незнакомые дворы и забывал о своей изначальной цели, чтобы лишь многими днями спустя, в какое-нибудь серое утро, выбравшись наконец с ложных тропинок странных и головокружных приключений, с угрызением совести припомнить облик родимого дома.

А наш дом, заставленный огромными шкафами, глубокими диванами, бледными зеркалами и дешевыми искусственными пальмами, со дня на день становился все более неухоженным и запустелым. Мать целыми днями лениво просиживала в лавке, а безалаберная тонконогая Аделя, не надзираемая никем, день-деньской проводила перед зеркалами в огромном туалете, повсюду оставляя свои следы в виде прядей вычесанных волос, забытых в углах гребешков и разбросанных там и сям туфель и корсетов.

В этом доме было какое-то неопределенное множество комнат, потому что никто не помнил, какие из них сданы посторонним жильцам. Не раз, открыв ненароком дверь какого-нибудь из этих забытых углов, мы находили его пустым; жилец давно съехал, а в нетронутых месяцами ящиках шкафов обнаруживались самые неожиданные вещи.

В нижних этажах проживали какие-то подозрительные субъекты, и по ночам нас то и дело будили их стоны, навеянные сонными кошмарами. Глухими зимними ночами отец спускался в эти ледяные и темные комнаты, вспухивая своей свечой стаи теней, улетающих перед ним во все стороны по стенам и полу; он шел пробудить этих стонущих людей от их тяжкого каменного сна.

В свете оставленной им свечи они вяло поднимались на своих грязных постелях, садились на кроватях, обнажая босые и грязные ноги, и с носками в руке еще минуту предавались наслаждению зевоты — долгой, почти сладострастной зевоты, которая болезненно сводит гортань, словно при судорожной рвоте.

В углах неподвижно стыли громадные тараканы, укрупненные собственной тенью, которой наделяла каждого из них горящая свеча и которая не покидала их и тогда, когда какое-нибудь из этих плоских безголовых туловищ внезапно устремлялось прямо перед собой жутким паучьим бегом.

То было время, когда отец начал болеть. Уже в первые недели той ранней зимы, он, бывало, целые дни проводил в постели, окруженный микстурами, таблетками и бухгалтерскими книгами, которые ему приносили из лавки. Горький запах болезни оседал на



дне комнаты, и ее обои загустевали все более темным переплетением узоров.

По вечерам, когда мать возвращалась из лавки, отец становился возбужденным и сварливым, обвинял ее в неточном ведении счетов, багровел и делался буквально невменяемым. Помню, как однажды, проснувшись среди ночи, я увидел, как он в ночной рубаше и босиком мечется по кожаному дивану перед растерянной матерью, демонстрируя ей этим свое раздражение и недовольство.

Но бывали дни, когда он был спокоен и сосредоточен, целиком погружившись в свои книги и с головой уйдя в лабиринты запутанных подсчетов.

Так и вижу его в свете коптящей лампы, присевшего среди подушек под огромным резным изголовьем кровати, и громадную тень его головы на стене, мерно покачивающуюся в беззвучном раздумье.

Время от времени он выныривал из этих расчетов, словно за тем, чтобы зачерпнуть воздух, и тогда приоткрывал рот, с отвращением чмокал сухим и горьким языком и растерянно озирался, будто чего-то ища. Потом осторожно выбирался из подушек и направлялся в угол комнаты, где на стене висел его спасительный прибор. То была своего рода водяная клепсида, большой стеклянный пузырь, поделенный черточками на унции и наполненный темной жидкостью. Становясь рядом с ним, отец присоединялся к прибору длинной резиновой кишкой, словно болезненно извивающейся пуповиной, и породнившись таким образом с этим жалким стеклянным устройством, застывал в неподвижности, сверкая темными глазами, а на его побледневшем лице проступала странная гримаса — не то судорога страдания, не то улыбка какого-то извращенного наслаждения.

Потом снова наступали дни молчаливого сосредоточенного труда, прерываемого одинокими монологами. И когда он сидел так, в свете керосиновой лампы, затерянный среди подушек громадной постели, а над ним огромной горой разрасталась комната, по карниз утопавшая в темноте, соединявшей ее с огромной заоконной стихией городской ночи, — я, не глядя, ощущал, как пространство обволакивает его клейкой паутиной обоев, наполненной шуршащими шепелявыми шепотками. Я, не глядя, слышал этот сговор, полный понимающих подмигиваний скошенных глаз, открывающихся в изгибах чему-то усмехавшихся темных губ и в завитушках к чему-то прислушивающихся ушных раковин.

Тогда он, казалось, еще глубже уходил в свои вычисления, ожес-

точенно вычитал и складывал цифры, словно боясь выдать закипавший в нем гнев и поддаться соблазну вскочить, исторгнув внезапный вопль, и броситься на стены за спиной, чтобы ухватить полные горсти этих кудрявых узоров с их букетами глаз и ушей, которые ночь порождала из своего мрака и давала расти и разрастаться в своей тишине бредовым мороком все новых и новых отростков и побегов, выползавших из ее материнского лона. Он успокаивался только на рассвете, когда с отступлением ночи обонувядали и желтели, роняя свои цветы и листья, и становились по-осеннему прозрачны, сквозя далеким полусветом раннего утра.

Тогда, под клекот проступавших на оголенных обоях птиц, в изжелта-сумеречном зимнем утреннем свете, он ненадолго засыпал вязким, черным сном.

Все это время, целыми днями и неделями, когда он, казалось, был целиком поглощен своими запутанными бухгалтерскими подсчетами, его мысль на деле потаенно блуждала в загадочных лабиринтах его собственных внутренностей. Затаив дыхание, он прислушивался к ним. А когда его взгляд, побелевший и мутный от страха, возвращался из тамошних глубин, он успокаивал себя слабой улыбкой. Он еще не верил, еще отбрасывал, как абсурдные, те притязания, те домогательства, что неумолимо на него надвигались.

Днем это были как бы рассуждения и уговоры, длинные, монотонные размышления вполголоса, с юмористическими интерлюдиями и лукавыми препирательствами. Но по ночам голоса накалились страстью. Требования становились все явственней и серьезней, и мы слышали, как он спорил с Богом, словно бы умоляя о чем-то и содрогаясь перед чем-то, что напористо домогалось и добивалось своего.

И вот наконец, в одну из таких ночей, вождеющий голос поднялся во всю свою силу, грозно и неотступно требуя, чтобы отец засвидетельствовал его желание всем своим нутром и устами. И мы услышали, как дух вступил в него, и он поднялся с постели, длинный в своей ночной рубахе, распираемый пророческим гневом и давясь клекотанием слов, которые он выплевывал из себя, как митральеза выплевывает ядра. Мы услышали шум схватки и крики отца, эти вопли титана, что и со сломанным бедром не перестает богохульствовать и бороться.

Я никогда не видел ветхозаветных пророков, но при виде этого мужа скорби, поваленного Божьим гневом, широко раскорячившегося на огромном фаянсовом унитазе, укрытого вихрем рук,



*Бруно Шульц. Отец с Иосифом (тушь).*

в облаке судорожных телодвижений, над которыми возносился горе его незнакомый и резкий крик, — я постиг божественный гнев святых мужей Израиля.

Спор был страшен, как разговор громов. Метания его рук разрывали небо в лохмотья, и тогда в просветах разрывов являлся набрякший от гнева и мечущий проклятия лик Иеговы. Не глядя, я видел Его, этого грозного демиурга, возлежащего на подушках мрака, как на горах Синая, опершегося мощной рукою на карниз окна и придвинувшего свое огромное лицо к его верхним стеклам, на которых чудовищно расплющивался его громадный мясистый нос.

Я слышал его голос в перерывах отцовских пророческих тирад, слышал это могучее ворчание вздувшихся от ярости губ, которое сотрясало стекла, смешиваясь с взрывами проклятий, воплей и угроз отца.

Временами голоса затихали и съеживались до посвистывания ветра в ночном дымоходе, чтобы потом снова взорваться чудовищным и крикливым спором, бурей всхлипываний, смешанных с проклятиями. А потом окно вдруг распахнулось, зевнув темнотой, и в комнату впорхнул плат непроглядного мрака.

В блеске молнии я увидел отца в развевающейся ночной рубахе, который, широко размахнувшись, с чудовищным богохульством выплеснул за окно, прямо в гудящую раковинной ночью, содержимое своего многострадального ночного горшка.

## 2

С того дня отец стал постепенно исчезать и съеживаться на глазах.

Скорчившись среди огромных подушек, дико встопорщив пучки седых волос, он непрерывно говорил сам с собой вполголоса, весь погруженный в какие-то запутанные внутренние аферы. Со стороны могло показаться, что его личность распалась на множество разных и перессорившихся друг с другом сознаний, потому что он громко спорил сам с собой, горячо и настойчиво убеждал, уговаривал и увещевал, словно бы предводительствуя каким-то сборищем многочисленных и сварливых клиентов, со всем пылом и красноречием пытаюсь их примирить. Но все эти шумные сборища, поначалу вскипавшие бурным накалом страстей, всякий раз под конец утопали в путанице взаимных оскорблений, поношений и перебранок.

Потом наступил период какого-то странного затишья, внутренне-

го умиротворения, благостного спокойствия духа.

Снова на кровати, на столе, на полу появились огромные фоллианты и какой-то монашеский покой труда распростерся в свете лампы над белыми простынями постели, над склоненной седой головой отца.

Именно тогда все мы вдруг заметили, что отец начал со дня на день уменьшаться, точно орех, который ссыхается внутри своей скорлупы.

Это не сопровождалось каким бы то ни было упадком сил. Напротив, состояние его здоровья, его настроение, его подвижность с каждым днем, казалось, только улучшались.

Он теперь часто заливался громким, щебечущим смехом, чуть не заходясь от веселья, а то мог целыми часами стучать пальцем по дереву кровати и сам себе на все лады отвечать: "Войдите!". Время от времени он вставал, взбирался на шкаф и там, скорчившись под потолком, копошился в старой рухляди, полной ржавчины и пыли.

Порой он составлял два кресла напротив друг друга и, опершись руками на подлокотники, качался туда-назад всем телом, сияющим взглядом ища на наших лицах выражение восторга и поощрения. С Богом он, казалось, примирился окончательно. И теперь только изредка возникало по ночам в окне спальни окруженное темным пурпуром бенгальского огня лицо бородатого демиурга, который мельком и добродушно вглядывался в глубоко спящего соперника, чей напевный храп в это время блуждал в далеких и неведомых просторах сонных миров.

В долгие, сумрачные вечера той зимы отец время от времени на целые часы исчезал в заваленных рухлядью углах, настойчиво чего-то там ища.

Не раз бывало, что он не появлялся даже к обеду, когда мы все садились к столу. Матери приходилось подолгу кричать: "Яков!" — и стучать ложкой по столу, прежде чем он появлялся из какого-нибудь шкафа, весь в пыли и паутине, с блуждающими глазами, устремленными в запутанные, ему одному ведомые дела, которые занимали его воображение.

Порой он взбирался на карниз и там неподвижно застывал в позе огромной птицы, симметрично висевшему с другой стороны окна чучелу большого сипа. В этой неподвижной, раскоряченной позе, с остекленевшими глазами и хитровой улыбочкой на лице, он мог висеть на стене часами, чтобы потом, когда кто-то входил в комнату, вдруг затрепетать руками и закукарекать петухом.

Мы перестали обращать внимание на все эти странности, в которые он день ото дня запутывался все основательней. Словно бы утратив всякие телесные потребности, он целыми днями ничего не ел и с каждым днем все глубже погружался в свои сложные и странные действия, в которых мы уже ровным счетом ничего не понимали. Недоступный нашим увещаниям и мольбам, он отвечал нам случайными обрывками своего непрерывного внутреннего монолога, течение которого не могли прервать никакие внешние происшествия. Вечно поглощенный своими непонятными делами, болезненно возбужденный, с лихорадочным румянцем на иссохших скулах, он не видел и не замечал никого.

Мы привыкли к его безвредному присутствию, к его тихому бормотанию, к этому младенческому, поглощенному собой щебету, трели которого все время раздавались где-то на периферии нашей домашней жизни. Уже тогда он порой пропадал на много дней подряд, исчезая в каких-то забытых уголках дома, и его подолгу нельзя было отыскать.

Постепенно эти исчезновения перестали нас тревожить, мы привыкли к ним, и когда по истечении длительного времени он появлялся снова, всякий раз еще немного уменьшившийся и как будто еще чуточку усохший, мы уже не обращали на него никакого внимания. Мы попросту перестали принимать его в расчет нашей жизни, так далеко он ушел от всего, что было реально и человечно. Узелок за узелком он отвязывал себя от нас, одну за другой утрачивал связи, соединявшие его с сообществом людей. Все, что еще сохранилось в нем от человека — остатки съезжившейся телесной оболочки и вся эта горсть бессмысленных странностей, — могло в один прекрасный день исчезнуть так же незаметно, как серая кучка мусора, что ежедневно накапливалась в углу комнаты, пока Аделя не выносила ее в совке на свалку.

*Из цикла "Санаторий под клеписдрой"*

#### **Последний побег отца**

Это случилось в поздние и утраченные времена полного расслабления всех скреп нашей жизни, во времена окончательной ликвидации родительского дела. Вывеска давно уже была снята с дверей магазина. Приспустив жалюзи на окнах, мать тайком распродала остатки товаров. Аделя уехала в Америку. Говорили, что корабль,

на котором она плыла, утонул и все пассажиры погибли. Мы так и не проверили эти слухи, след ее потерялся, мы о ней больше ничего не слышали. Наступила новая эра, пустая, трезвая и безрадостная. Новая служанка, Геня, анемичная, бледная и бескостная, мягко сновала по комнатам. Стоило погладить ее по спине, как она начинала извиваться и тянуться, как змея, и мурлыкать, как кошка. У нее была молочно-белая кожа, и даже веки эмалевых глаз не знали розовизны. По рассеянности она порой готовила еду из старых накладных и квитанций — еду тошнотворную и несъедобную.

Именно тогда отец мой умер уже окончательно. Он умирал многократно, но всякий раз еще не совсем, всякий раз с определенными оговорками, которые вынуждали к пересмотру этого факта. В этом была своя хорошая сторона. Дробя таким манером смерть в рассрочку, отец помогал нам освоиться с фактом своего ухода. Мы стали равнодушны к его возвращениям, все более кратким, каждый раз все более жалким. Облик уже отсутствующего как бы расплылся в комнате, где он жил, размножился в ней, создав в некоторых местах поразительные узлы неправдоподобно выразительного сходства. Обои там и сям имитировали судороги его тика, узоры на них складывались в болезненную гримасу его улыбки, расчлененную на симметричные повторы, точно окаменевший отпечаток трилобита. Какое-то время мы обходили далеко стороной его шубу, подбитую хорьками. Шуба дышала. Испуг вцепившихся друг в друга и сшитых намертво зверьков пролетал по ней бессильными содроганиями и терялся в складках. Приложив ухо, можно было услышать мелодичное посапывание их общей дремы. В этой надежно выдубленной форме, со всем этим легким запахом хорьков, смерти и ночной течи, он мог бы выдержать годы. Но он и тут не продержался долго.

Как-то раз мать вернулась из города с озабоченной миной. — Посмотри, Иосиф, — сказала она, — какое несчастье! Я поймала его на лестнице, когда он перескакивал со ступеньки на ступеньку. — И она подняла платок над чем-то, что прятала в глубокой тарелке. Я узнал его сразу. Сходство было неотразимое, хотя теперь он выглядел, как рак или большой скорпион. Мы переглянулись, потрясенные выразительностью этого сходства, которое во всех отцовских изменениях и превращениях все еще навязывало себя прямо-таки с неодолимой силой. — Он жив? — спросил я. — Ну, конечно, я еле могу его удержать, — ответила мать. — Может, выпустить его на пол? — Она поставила тарелку на землю, и мы

склонились над ней, разглядывая его теперь более пристально. Повиснув между своими многочисленными членистыми ножками, он слегка перебирал ими. Приподнятые щупальца и усики, казалось, к чему-то прислушиваются. Я наклонил миску, и отец осторожно, недоверчиво шагнул на пол, но тут же, ощутив под собой ровную поверхность, вдруг побежал сразу всеми своими ножками, постукивая твердыми сочленениями членистого тельца. Я перегородил ему дорогу. Коснувшись дрожащими усиками преграды, он остановился, потом поднял щупальце и свернул вбок. Мы позволили ему бежать в облюбованном направлении. В той стороне комнаты не было мебели, за которой он мог бы спрятаться. Покачиваясь на суставчатых ножках, он добежал до стены, и не успели мы заметить, как он уже легко, не останавливаясь, взбежал по ней всей машинерией своих членистых конечностей. Я вздрогнул от невольного отвращения, следя за этим многочленным бегом, с постукиванием продолжавшимся по бумажным обоям. Отец тем временем добрался до маленького, вделанного в стену, кухонного шкафчика, на минуту застыл, изогнувшись, на его краю, исследуя щупальцами внутреннее пространство, после чего влез туда целиком.

Он словно бы заново познавал наше жилище с этой своей новой, крабьей точки зрения, а может быть — с точки обоняния, потому что сколько я ни приглядывался, я не мог обнаружить у него никаких зрительных органов. Он, казалось, задумывался над встреченными на пути предметами, задерживался около них, касаясь их слегка дрожащими усиками, даже охватывал целиком своими щупальцами, словно пробуя на вкус, знакомился с ними и только немного погодя отрывался от них и бежал дальше, волоча за собой слегка приподнятое над полом брюшко. Точно так же он обнюхивал кусочки хлеба и мяса, которые мы бросали ему на пол в надежде, что он будет ими питаться. Он только бегло ощупывал их и бежал дальше, не осознавая в них съедобных предметов.

Глядя, как он терпеливо и методично исследует комнатное пространство, можно было подумать, что он неумоимо и ожесточенно чего-то ищет. Время от времени он убегал в самый угол, под протекавший бачок, и остановившись около лужицы, казалось, пил из нее. Порой он исчезал на целые дни. Он как будто прекрасно обходился без еды, и мы не заметили, чтобы проявления его живучести от этого как-то уменьшались. Со смешанным чувством стыда и отвращения мы скрывали страх, что какой-нибудь ночью он навестит нас в наших кроватях. Но это не случилось ни разу, хо-



тя в дневные часы он странствовал по всем закоулкам и особенно любил забираться в щель между шкафом и стеной.

Невозможно было не заметить, что он проявляет определенные признаки разумности и даже некоторой шутовской игривости. Он никогда, например, не забывал появиться в столовой во время наших трапез, хотя его участие в них было чисто платоническим. Если случалось, что дверь столовой во время обеда оказывалась закрытой, а отец находился в соседней комнате, он так долго шуршал возле двери, мечась туда и назад вдоль щели, пока ему не открывали. Позже он наловчился просовывать в эту нижнюю щель свои щупальцы и ножки и, мощно изгибая тельце, проползать боком через эту щель в столовую. Казалось, это доставляло ему удовольствие. Он застывал тогда неподвижно под столом, лежа совершенно бесшумно и только слегка подрагивая брюшком. Что означало это ритмичное пульсирование его сверкающего брюшка, мы так и не могли разгадать. В нем было что-то насмешливое, непристойное и злорадное, словно бы оно выражало собой некое низменное и в то же время сладострастное удовлетворение. Нимрод, наш пес, медленно и неуверенно подходил к нему, осторожно нюхал, чихал и равнодушно отворачивался, так и не придя к окончательному суждению.

Расслабление жизненных скреп в нашем доме расходилось все более широкими кругами. Геня целыми днями спала, по ее гибкому бескостному телу прокатывались волны глубокого дыхания. Мы часто находили в супе нитяные шпильки, которые она по небрежности и странной рассеянности бросала туда вместе с овощами. Магазин был теперь открыт непрерывно, денно и нощно. Распродажа при полуопущенных жалюзи изо дня в день набирала свой запутанный бег в лабиринтах торгов и уговоров. И в довершение всего приехал дядя Карол. Он был странно задумчив и неразговорчив. Дядя со вздохом объявил, что в результате последних печальных событий решил изменить образ жизни и взяться за изучение языков. Он не выходил из дому, закрылся в крайней комнате, из которой Геня, недобрительно встретившая нового жильца, убрала все ковры и парчу, и углубился в штудирование старых прейскурантов. Несколько раз он пытался из злости наступить отцу на брюшко. Мы с криком и ужасом препятствовали этому. Он только злобно ухмылялся, ни в чем не раскаиваясь, между тем как отец, не отдавая себе отчета в угрожавшей ему опасности, продолжал увлеченно изучать какие-то пятна на полу.

Отец мой, стремительный и подвижный благодаря своим много-

численным ножкам, имел то общее со всеми ракообразными свойство, что, перевернутый на спину, становился совершенно беззащитным. У него был противный и жалкий вид, когда он беспомощно кружился на спине вокруг собственной оси, отчаянно перебирая всеми своими конечностями сразу. Невозможно было без отвращения смотреть на это слишком уж выразительное и подчеркнутое, почти бесстыдное устройство его анатомии, как бы выставленное напоказ и ничем не защищенное со стороны обнаженного, многочленного брюшка. В такие минуты дядю Карола так и подмывало его растоптать. Мы бросались на помощь и подсовывали отцу какой-нибудь предмет, за который он судорожно хватался щупальцами, ловко возвращаясь в нормальное положение, и тут же начинал с удвоенной скоростью описывать молниеносные зигзаги вокруг спасительного предмета, словно хотел стереть память о своем недавнем унижительном состоянии.

Мне приходится пересиливать свое отвращение, чтобы в полном согласии с правдой пересказать тот непонятный факт, перед реальностью которого содрогается все мое существо. По сей день не могу принять, что мы были, в буквальном смысле слова, сознательными виновниками этого события. В этом свете оно обретает черты некой странной фатальности. Ибо фатальность не исключает нашего сознания и воли, но, напротив, включает их в свой механизм таким образом, что мы, словно в летаргическом сне, дозволяем и принимаем такие вещи, от которых содрогаемся в обычных условиях.

Когда, потрясенный свершившимся, я с отчаянием допытывался у матери: — Как ты могла это сделать? Ну хоть бы это сделала Геня, но ты, ты сама!.. — она плакала, заламывала руки, но не могла ничего ответить. Думала она, что отцу так будет лучше, или видела в этом единственный выход из его безнадежного положения, или поступила так попросту из непонятной легкомысленности и бездумия?.. Фатум находит тысячи ухищрений, когда хочет навязать нам свою непонятную волю. Какое-то мимолетное, секундное затмение разума, миг душевной слепоты или неосмотрительности достаточны, чтобы украдкой протащить поступок между Сциллой и Харибдой наших решений. Потом, задним числом, можно без конца толковать и объяснять мотивы, искать побуждения — совершенное действие остается необратимым и раз навсегда предопределенным.

Мы опомнились и прозрели от своего временного ослепления только в тот миг, когда отца внесли на тарелке. Он лежал среди за-

кусок, огромный и распухший от кипятка, желеобразный и матово-серый. Мы сидели молча и удрученно. Только дядя Карол протянулся было вилкой к тарелке, но опустил ее неуверенно на полпути, удивленно глядя на нас. Мать велела отнести тарелку в салон. Там он и лежал — на столе, покрытом плюшевой скатертью, рядом с альбомом семейных фотографий и механической шарманочкой с папиросами, — лежал, избегаемый нами и совершенно недвижимый.

Но и не этим суждено было кончиться земному пути моего отца, и этот его следующий раздел, это продолжение истории за ее, казалось бы, уже окончательные и допустимые границы — самая мучительная ее точка. Почему он не признал себя, наконец, побежденным, когда уже и вправду имел для того все основания, и сама судьба не могла уже придумать ничего большего для его полного унижения? Прележав несколько недель абсолютно неподвижно, он как бы собрался и отвердел телом и словно начал постепенно приходить в себя. Однажды утром мы нашли тарелку пустой. Она только оброненная в бегстве нога лежала на краешке, приклеившись к застывшему томатному соусу и густому желе, иссеченным следами его побега. Ошпаренный, теряя по дороге ноги, он из последних сил потащился дальше, в бездомный путь, и мы его никогда больше не увидели.

### Одиночество

С тех пор, как я могу выходить в город, я испытываю огромное облегчение. Но сколько же я не покидал своей комнаты! То были горькие месяцы и годы.

Я, пожалуй, не сумею объяснить, что это моя давняя, еще с детских времен, комната, последняя от сада, уже и тогда навещавшаяся так редко и настолько заброшенная, словно она уже и вовсе не принадлежала к остальному дому. Теперь уж я не помню, как я в ней оказался снова. Кажется, это было в одну из светлых, водянисто-белесых, безлунных ночей. В сером полумраке я отчетливо видел каждую деталь. Постель была разостлана, словно кто-то только что с нее встал, я даже прислушался в тишине, ожидая услышать дыхание спящих. Но кому было здесь дышать? С тех пор я здесь и живу. Сажу и томлюсь годами. Если бы я хоть вовремя позаботился о припасах! Вы, которые еще можете, у которых есть еще время, — собирайте запасы, копите доброе и живительное зерно, сладкое зерно, потому что грядет великая зима, придут тощие

и скудные годы, и не уродит земля в стране египетской. Увы, я не был бережливым хомячком, я был как легкомысленная полевая мышка, живущая сегодняшним днем, не заботясь о завтрашнем, в самонадеянной уверенности в своей способности прожить и впроголодь. И думал, как мышка: а что мне голод? коли прижмет, могу и дерево погрызть, и бумажку зубами перетереть в лоскутки. Жалкая тварь, серенькая церковная мышка, что на самом сером из серых краю всех Божьих творений, она ведь может и Божьим духом питаться. И вот теперь я питаюсь им в этой пустой и мертвой комнате. Даже мухи в ней давным-давно посдыхали. Я прижимаюсь ухом к деревянной стене — не копошится ли там в глубине жучок-древоточец? Гробовая тишина. Только я, бессмертная мышка, одиноким последышем шуршу в этой мертвой комнате, мечусь без конца то по столу, то по этажерке, то по креслам. Верткая, юркая и маленькая, похожая на тетку Теклу, бегаю в своем длинном сером халатике, за которым волочится шелестящий длинный хвостик. А днем сижу неподвижно на столе, как мертвое чучело, только глазки, как две бусинки, вытаращились наружу и поблескивают. Да кончик мордочки чуть приметно подрагивает, мелко жуя по привычке челюстями.

Все это, разумеется, следует понимать как метафору. На самом деле я пенсионер, а не какая-нибудь серая мышка. Но по природе своей я склонен злоупотреблять метафорами, в любую минуту готов увлечься первой пришедшей на ум метафорой. И унесюсь вот так воображением в метафорические дали, вынужден потом с превеликим трудом спохватываться, постепенно и неохотно возвращаясь к реальности.

Как я выгляжу? Временами я вижу себя в зеркале. До чего же странно, смешно и больно! Стыдно сказать. Я никогда не вижу себя в анфас, лицо в лицо. Мое отражение стоит чуть глубже, чуть дальше в глубине зеркала, слегка в стороне и несколько в профиль, стоит о чем-то задумавшись и глядя вбок. Стоит неподвижно, глядя вбок и чуть за собой. Наши взгляды перестали встречаться. Когда я шевелюсь, он тоже шевелится, но как бы полуобернувшись, как бы меня не видя, как будто уйдя за много зеркал и уже не в силах вернуться назад. Сердце кровью обливается, когда видишь его — такого чужого и такого равнодушного. Ты ведь — так и хочется крикнуть — был моим верным отражением, ты столько лет сопровождал меня во всех зеркалах, как же ты теперь меня не узнаешь? Боже! Чужой и глядящий куда-то вбок, ты стоишь там и как будто прислушиваешься к чему-то в глубине,



***Бруно Шульц. Автопортрет с двумя женщинами (карандаш, тушь).***

ждешь какого-то слова, но оттуда, из стеклянной глубины, кому-то другому покорный, ждущий приказов с другой стороны.

Так я сижу за столом и листаю старые, пожелтевшие университетские конспекты, единственное мое чтение.

Я смотрю на скосбоченную, выцветшую занавеску и вижу, как она тихо колыхнется от холодного дыхания из-за окна. На этом карнизе можно было бы заниматься гимнастикой. Прекрасный турник. Как легко переворачиваться на нем в застойном, тысячу раз уже пропущенном через легкие воздухе. От лени мне едва не удастся упругое сальто мортале — но удастся холодно, без внутреннего соучастия, как бы глядя со стороны. Когда так вот эквилибрируешь на этом турнике, на самых кончиках пальцев, почти касаясь головой потолка, кажется, что там, наверху, чуть теплее, и появляется какое-то едва заметное ощущение чего-то приятного. С самого детства я люблю смотреть на комнату с высоты птичьего полета.

Сижу и слушаю тишину. Комната побелена обычной известкой. Время от времени на белом потолке с треском разворачивается куриная лапка трещины, время от времени с шелестом падает лепесток штукатурки. Выдать ли, что комната замурована? Как это? Замурована? Как же я мог в нее попасть? Вот то-то и оно: для сильной воли нет преград, настойчивому желанию нет помехи. Достаточно вообразить себе дверь, простую старую дверь с железным засовом и ручкой, как в кухне моего детства. Нет такой замурованной комнаты, в которую нельзя было бы войти через такую дверь, — если только хватит сил, чтобы ее этой комнате примыслить.

*Перевод с польского  
Рафаила Нудельмана*

## ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

*Пятничные выпуски израильских газет публикуют комментарий к очередной главе Торы, читаемой в субботу в синагогах. Один из таких комментариев, пера Шломо Рискина, посвящен проблеме выбора и решений.*

Одна из знакомых отговорок, которыми многие объясняют отказ от алии в Израиль, состоит в крохотности и провинциальности этой страны, к тому же еще несущей на себе отпечаток Ближнего Востока со всеми его проблемами. То ли дело мировые центры: лондоны, нью-йорки и лос-анжелесы, где перед человеком расстилается умопомрачительный спектр возможностей — самые лучшие рестораны, самые лучшие школы, самые лучшие театры, самые лучшие врачи и самые лучшие экономические перспективы. Проще говоря, кто согласится променять все самое лучшее на глухую дыру, где к тому же, как считается, свобода человека стеснена и весьма серьезно?

Этот довод, на первый взгляд такой убедительный, на проверку оказывается лишь отговоркой. Спектр выбора, существующий в диаспоре, относится лишь к второстепенным вопросам: китайский ресторан или итальянский, балет или опера, мюзикл на Бродвее или кинотеатр в Челси? Подлинно содержательный выбор, доступный еврею, доступен ему только в еврейском государстве.

Во второй части отрывка Торы на этой неделе детально прослеживается весь 40-летний путь евреев по пустыне. "И Моисей записывал все этапы их пути, каждый этап в соответствии со словом Господа" /Числа 33:2/.

Пять недель назад мы читали в синагогах, как разведчики вернулись из Ханаана и сообщили невеселые новости о воинственных потомках гигантов и их укрепленных городах. Этот обескураживающий отчет вызвал среди израильтян панику и за-

ставил их немедленно повернуть назад. Это, в свою очередь, повлекло за собой Господне решение, что первое поколение никогда не вступит в Землю Обетованную — ему суждено умереть в пустыне.

Стоит задуматься — почему израильтяне так опасались войти в Ханаан? Разве не для этого они покинули Египет? Разве они ожидали, что вожди ханаанских племен отдадут им свои земли без сопротивления?

Книга "Зо'ар" рассказывает, что вожди израильских колен опасались вступления в Землю Обетованную, полагая, что это повлечет за собой "перевыборы" и лишит их "парламентских кресел". Поэтому они подсознательно делали все возможное, чтобы воспрепятствовать вступлению в Ханаан. Но почему такими нерешительными оказались все остальные?

Я думаю, что разгадка находится в той фразе, которая так часто включает описания странствий в пустыне: "...каждый этап в соответствии со словом Господа". Иными словами, евреи брели и останавливались, брели и останавливались в соответствии с Божественным приказом.

Это означает, что с того момента, как израильтяне решили последовать за Моисеем в пустыню, они стали привыкать к существованию, когда каждый их шаг за них предreshало "слово Господа". Все их потребности были предусмотрены заранее: пища в виде манны небесной и укрытие в виде облаков славы чудесным образом спасали израильтян от голода и жары.

Они не стояли перед серьезными испытаниями, не нуждались в выборе и решении. Стоило им покинуть пустыню — и прощай, сытная манна, спасительные облака и привычные кущи, прощай, глас Господень, который так привычно и успокоительно командовал: "Подъем! Привал! Подъем! Привал!" — устраняя всякую потребность самим принимать трудные решения.

Одним из самых идиллических периодов моей жизни было время учебы в Ешива-Университи, в этом центре высших талмудических занятий. Я был свободен от необходимости что-либо решать, другие заботились обо всех моих нуждах: я имел кровать для ночлега, трехразовое питание и стипендию. Мне оставалось сидеть в классе и усердно читать Тору.

Натан Щаранский как-то сказал, что самое трудное решение в жизни отказника — это, наверно, решение пойти против КГБ. Но как только оно принято, все последующие шаги вытекают из



него как бы автоматически: увольнение с работы, вероятность ареста, ссылка в Сибирь, тюремное заключение. Конечно, нужна отвага, чтобы сделать этот главный жизненный выбор, но все остальное происходит уже с той закономерностью, с какой ночь сменяет день и наоборот.

Пробыв некоторое время в Израиле, Щаранский понял, насколько сложнее стала его жизнь. Внезапно перед ним возникли миллионы возможностей, начиная с вопроса, какого рода евреем должен быть муж Авиталь, и кончая проблемой, к какой политической партии примкнуть.

Нам кажется, будто богатые, удобные диаспоры ставят перед нами проблему выбора: нас ослепляет бесконечный блеск новизны. На самом деле в чужих странах все трудные решения принимаются за нас другими. Вопросы войны и мира, инфляции и рецессии, преступления и наказания вне сферы наших решений.

Зачастую, когда в Америке возникает мода на социальные изменения, евреи тоже вскакивают на подножку, как было недавно, в годы борьбы за гражданские права. Но когда лодку качает серьезный шторм, тут уже другое дело, — как могут подтвердить евреи Южной Африки. На самом деле еврей в диаспоре подсознательно знает, насколько ограничена возможность его решений: ему просто нравится жить в обществе, которое снимает с него основную, если не всю, ответственность.

В Израиле, однако, нам приходится выбирать на каждом шагу. Мы сами создаем свое общество и только самих себя можем упрекать или хвалить. И поскольку мы близки к узлам принятия поистине судьбоносных решений, наша жизнь здесь оказывается более напряженной, открытой и суровой.

Никто не назовет Израиль "голдене меди́не", так называют Соединенные Штаты. Здесь труднее заработать на жизнь, найти жилье, продержаться до следующей полочки. Но здесь, в стране, состоящей не из 50 штатов, а из клочка земли, по площади не превышающего размеров Делавара, а по населению — половины Нью-Йорка, — единственное место, где мой голос считается всерьез. Каждый акт несправедливости, каждый случай бедности, каждый убитый ребенок — это моя ответственность, результат моего действия или бездействия.

Все мы — нервные узлы центральной нервной системы этой страны, присоединенные к сердцу, мозгу, и душе народа. Спектр

выбора перед нами — огромен и головокружителен. Дай нам Господь мудрости и силы сделать правильный выбор и с достоинством пронести свою ответственность.

## ПО СТРАНИЦАМ ИЗРАИЛЬСКОЙ ЖИЗНИ

*Палестинские волнения, или так называемая "интифада", практически не изменили образ жизни в Израиле и на территориях. Израильский журналист Кеннет Каплан рассказывает о своем недавнем посещении сектора Газы.*

По мере того, как мы продвигались этим ранним утром по переполненным центральным улицам Газы, мне становилось все яснее, что именно хочет показать мне мой хозяин — один из офицеров, командующих израильскими частями в этом районе. Он ничего не объяснял, предоставляя увиденному говорить вместо него.

Центр города был заполнен людьми. По тротуарам двигались толпы покупателей. Овощные и фруктовые лавки торговали местными продуктами. Тяжелые двери магазинов были распахнуты настежь, чтобы прохожие могли увидеть все товары, разложенные внутри. Улицы, в порядке разнообразия, были относительно чисты — никакого или почти никакого мусора, никаких следов сажи от сожженных покрышек, никаких собранных грудой камней, даже в переулках и боковых аллеях. И если на стенах и были какие-нибудь свежие надписи, то кто-то уже постарался их тщательно затереть.

А также — ни одного израильского солдата или полицейского, куда ни погляди.

С точки зрения моего молчаливого сопровождающего, это зрелище почти нормальной жизни было наверняка приметой определенного успеха, но он воздерживался от употребления этого слова. Действительно, слово "успех" давно исчезло из словаря людей, которым поручено бороться с интифадой, каковы бы ни были результаты их борьбы.

По мере того, как наш армейский джип медленно продвигался

по улицам, я ощущал на себе тысячи глаз. Практически каждый на две-три секунды задерживал на нас свой взгляд, прежде чем вернуться к своим обычным делам, — на те две-три секунды, которые нужны, чтобы убедиться, что мы не представляем собой угрозы. Так объяснил мне мой сопровождающий. Но в этих взглядах сквозило также и определенное удивление. Словно все эти люди даже сейчас, в разгар затянувшегося конфликта, не ожидали появления здесь армейской машины.

Мой сопровождающий подтвердил, что армия старается уменьшить свое присутствие в это время дня. "Мы научились избегать определенных чувствительных точек, где население не готово к компромиссу, — например, некоторых районов в праздники. Мы стали ценить сдержанность и научились избегать тех ошибок, которые в прошлом порождали множество проблем. Теперь мы умеем вносить свой вклад в общее спокойствие."

Кажущееся спокойствие и было, по существу, причиной, которая привлекла меня в Газу в этот день. И после поездки мой сопровождающий не замедлил объяснить мне этот феномен.

"В сущности, конфликт приобрел теперь институализованные формы. Обе стороны точно знают, что можно и что нельзя. Палестинцы заняли выжидательную позицию. Они понимают, что экономически зависят от Израиля. Но камни все еще швыряют, и спорадические вспышки все еще продолжаются — теперь это уже у них в крови."

Положение в секторе Газы нельзя оценивать, говорит мой собеседник, исключительно по количеству убитых и раненых палестинцев. Гораздо важнее, настаивает он, тот факт, что все системы жизнеобеспечения: муниципальные службы, здравоохранение, образование, социальное обеспечение — функционируют нормально.

"В этом и состояла моя задача. Школы открыты круглый год. Есть вода, есть электричество, работают все больницы. Эта нормализация — частично результат наших усилий, частично же — просто следствие того, что это отвечает интересам самих газанцев. Они поняли, что должны вести себя так, чтобы причинять минимальный ущерб всем этим жизненно важным системам.

Поначалу, первые пять-шесть месяцев, они были готовы пожертвовать этими системами, потому что им казалось, что решение их проблем уже за углом, что независимость неминуема. Но когда они убедились, что Израиль так легко не рухнет,

наступило временное затишье. Потом, в декабре прошлого года, после декларации ООП в Женеве и начала ее переговоров с Соединенными Штатами, их надежды снова воспряли. Но теперь они уже стали понимать определенные факты. Во-первых, что им не удастся выкрутить руки нам или американцам; во-вторых, что функционирование местных систем — в их собственных интересах; и, в-третьих, что цена, которую они платят убитыми и ранеными, слишком высока.

Если не считать спорадических вспышек беспорядков, вся их прочая энергия переориентировалась теперь на всевозможные демонстрации протеста по определенным знаменательным дням, на забастовки да на швыряние камней, которым занимаются, в основном, дети и подростки. Палестинцы начали понимать, что решение конфликта — это долгий и медленный процесс. И они начали также постигать сложность внутренних политических проблем Израиля. Теперь в разговорах они постоянно цитируют высказывания различных израильских политических деятелей.

Американский диалог с ООП и споры в Израиле вокруг проекта выборов на территориях вызвали жгучий интерес местных жителей. Возможно, все это в дальнейшем сыграет свою роль также и в уменьшении насилия.”

В то время, как жители Газы, не имея иного выбора, начали постепенно осваиваться с идеей "процесса", израильская армия, в свою очередь, пришла к пониманию ограниченности тех возможностей, которыми она располагает для подавления беспорядков.

”В последнее время мы объявляем меньше комендантских часов, потому что и нам нужно приспособливаться к реальности, — говорит мой сопровождающий. — С одной стороны, их экономическая ситуация очень тяжела, и мы должны предоставить им возможность выезжать на заработки в Израиль. С другой стороны, население очень настроено против коллективных наказаний, вроде тех же комендантских часов. Сегодня я все чаще применяю политику "пряника", а политику "кнута" стараюсь направлять против определенных, "точечных", мишеней.

Сегодня утром, например, из Газы в Израиль отправились 4000 машин с палестинскими рабочими. Одна эта цифра показывает всю важность таких повседневных контактов — и не только с экономической, но и с социальной точки зрения. Им попросту нужно выбраться из своих переполненных лагерей, "вдохнуть

глоток свежего воздуха”, как они сами мне говорят. Они могут даже отправиться на тель-авивские пляжи, где встретят совсем иное отношение, чем здесь. Мы поощряем это. Это ведет к нормализации”.

Разумеется, говорит он, армия очень озабочена инцидентами в Израиле, в которых участвуют жители Газы, — например, недавним нападением фанатика-одиночки на пассажирский автобус, шедший из Тель-Авива в Иерусалим. /”Но абсолютно исключить подобные инциденты, видимо, невозможно”, — комментирует он./ Конечно, главной задачей остается обеспечение безопасности Израиля. Но ”и жители Газы нуждаются в глотке кислорода. Без этого им начинает казаться, что им уже нечего терять. А мы порой хотим, чтобы они считали, что им есть что терять”.

В то же время, продолжает он, местное население должно сознавать, что армия сохраняет за собой полную свободу действий в секторе Газы, что хозяйин здесь — именно она. Этот факт постоянно доводится до сознания жителей — то ли посредством совместных действий армии и сил безопасности, то ли сбором различных налогов, то ли регистрационными кампаниями, предпринимаемыми гражданской администрацией.

Наш разговор оставляет впечатление, что на двадцатом месяце интифады армия все еще балансирует на тонкой проволоке над коварной пропастью, добиваясь ограниченных результатов.

”Я не могу выделить какой-то один, единичный фактор, который гарантирует нынешнее относительное спокойствие, — говорит мой хозяйин в заключение. — Мы достигаем его посредством сочетания всех рычагов воздействия, имеющихся в нашем распоряжении, включая невидимую, но очень эффективную войну, которую ведет наша контрразведка. И я не говорю об ”успехе”. У меня нет иллюзий. Завтра все может измениться”.

*Спад израильской экономической активности, частично вызванный, по мнению некоторых, продолжающейся интифадой, повлек за собой увеличение безработицы, особенно в небольших ”городах развития” на севере и юге страны. Тем не менее, видный израильский публицист Йосеф Лапид считает, что масштабы безработицы во многом преувеличены, а ее причины — искажены.*

Безработица — это дежурная истерика нашей общественной жизни, причем истерика, которая сама по себе взвинчивается. Если по телевидению сообщают о безработице в каком-нибудь городе, то радио считает своим долгом дать дюжину корреспонденций о безработице в каждом городке. Так, в один прекрасный день нам на голову свалилась роковая цифра — 144 тысячи безработных. Бурное воображение немедленно рисует себе все эти десятки тысяч безработных израильтян и сотни тысяч их голодных, изможденных детей, которые роются в мусорных ящиках, меж тем как их матери отдаются за жалкую понюшку наркотика похотливым арабам из Газы!

Такова пресса! Стоит журналисту почуять запах сенсации, как он обнаруживает дьявольскую пруть. Вначале он гонится за событием, а потом бежит впереди него. Вначале он утверждает, что такое-то событие "должно быть", а потом начинает подгонять под это утверждение факты. Кто-то ляпнул — 144 тысячи. После этого никому уже и в голову не придет, что цифра ни на чем не основана, что она взята с потолка. Орать несравненно проще, чем анализировать реальность. И вот уже правительство в драматической обстановке собирается на заседание. Одного заседания оказывается мало, назначают еще одно. Каждый министр получает возможность высказать свое мнение в виде чеканной, сразу готовой для публики формулы.

Время для паники было выбрано с умом: выборы в Гистадрут приближаются, профсоюзные деятели должны показать, что они для чего-то нужны или что они, по крайней мере, существуют. Профсоюзная компания "Хеврат овдим" закрывает предприятия, выбрасывает на улицу тысячи рабочих. Что делает Гистадрут? Он объявляет двухчасовую забастовку протеста, то есть сражается с самим собой.

Профсоюзных боссов поддерживает самое сильное и самое крикливое в стране лобби — мэры городов развития. В политическом мире Израиля городам развития отведена роль того довеска, который может склонить в ту или иную сторону чашу весов на выборах. Именно города развития привели Ликуд к власти. Поэтому Рабочая партия бросилась в охоту за потерянными голосами в этих городах. Стоит только представителям городов заупрямиться, как партийное руководство начинает биться в конвульсиях.

В стране есть десятки тысяч "безработных", получающих по-

собие по безработице и одновременно прирабатывающих на "сторонé". Есть и такие, которые отрабатывают минимальное время за минимальную оплату, чтобы потом опять получить право на пособие по безработице. И разве мало таких, которые систематически уклоняются от любой работы, предпочитая жить на милостыню от государства? Кто считал наших гордых выпускников, которые ни за что не хотят "опуститься" до простой работы, — как будто они сразу родились профессорами?

Ни пресса, ни радио, ни телевидение не нашли в себе мужества /или ума/, чтобы вытащить на белый свет новую израильскую "отрасль труда" — профессиональную безработицу. Руководители бирж труда, знающие, как в действительности обстоит дело, попросту боятся открыть рот. Вместо этого они предпочитают оплачивать мнимую безработицу, тем самым поддерживая в обществе ощущение надвигающегося и неумолимого кризиса.

Я не хочу сказать, что в Израиле совсем нет безработицы. В Израиле есть безработица! И надо заниматься безработицей в городах развития. И надо эту проблему решать. Но ведь есть в Израиле и тысячи пустующих рабочих мест. Промышленность нуждается в рабочих руках — особенно те предприятия, где работа идет круглосуточно и где приходится работать в неудобные и тяжелые ночные смены. Но на эту работу израильтяне не идут. Там работают иностранные рабочие. А сколько есть еще другой "грязной" работы, от которой наши безработные израильтяне отворачиваются с негодованием? И вся эта грязная работа, несмотря ни на какую интифаду, отдана сегодня на откуп арабам с территорий. Что это за мораль, когда стыдно выполнять "грязную" работу, зато жить на подачки — нисколько ни стыдно?!

Нужно перестать доверять статистике бирж труда. Нужно перестать числить безработными тех, кто живет за счет безработицы. И тогда положение предстанет в ином свете. Нет, проблемы не исчезнут. Но с ними можно будет справиться. И справиться с ними можно будет, исходя из принципов гуманизма. И не из боязни общественных волнений, а для того, чтобы развязать себе руки для настоящего дела, для решения других, подлинно серьезных задач.

*Расположенный на границе с сектором Газы Ашкелон, о котором рассказывает журналист Михаль Гела, — типичный израильский город, тяжело задетый безработицей. Недавно здесь прошла бурная демонстрация против работающих в городе арабов. Тем не менее, традиционное для Израиля "разделение труда" здесь все еще остается нерушимым: безработные израильтяне отказываются взяться за работу, которая им представляется "грязной" или "неквалифицированной".*

В этот жаркий и влажный день Ашкелон с его 10% безработных по-прежнему сохраняет оптимизм. Здесь, в пяти минутах езды от сектора Газы, где евреи и палестинцы ежедневно трудятся бок о бок, израильтяне, как и всюду, спорят о путях политического решения своих экономических проблем. Но ненависть к арабам не играет в этих спорах решающего значения.

В 6.30 утра воздух еще прохладен. На въезде в город — вереница арабских машин: это палестинцы из Газы ждут израильских подрядчиков. "Арабы с перекрестка", как их называют в Ашкелоне. Толпы израильтян, забрасывающих камнями машины с арабскими рабочими, отошли в легендарное прошлое.

"Несколько дней назад солдаты забрали моего сына, — жалуетса садовник из Газы. — Он вернулся весь в грязи, со следами сигаретных ожогов на руках и в продырявленной рубашке. Что мне оставалось делать? Я смирил свою городость и отправился на работу — нужно же чем-то кормить его и его братьев..."

Стены в промышленной зоне Ашкелона еще испещрены недавними надписями: "Долой арабский труд! Не нанимайте арабов!" Но машины из Газы беспрепятственно въезжают в ворота фабрики. "Я работаю здесь уже много лет, — говорит палестинец, стоящий у входа в фабрику солнечных бойлеров "Микромит". — Мне платят 3 шекеля в час; израильтянину за такую же работу платят 10 шекелей".

18-летний израильтянин, которому осталось три месяца до призыва в армию, тут же заявляет, что он получает всего 4 шекеля в час. "Я ненавижу арабов, — добавляет он. — Когда я их вижу, я обхожу их стороной. Кто знает, что они задумали. Мы должны от них избавиться. Разумеется, мы не можем выбросить их в море, это я понимаю. Но пусть остаются у себя в Газе и не вылазят оттуда".



Как он относится к тому, чтобы у них было собственное государство?

"Почему нет? Я согласен на что угодно — лишь бы избавиться от них."

Значит, в этом он солидарен с израильскими левыми?

"Вы правы. Почему нет?"

Розидан, 36 лет, не работает уже три года. Стоя у входа на биржу труда, она рассказывает свою историю. 16 лет назад она приехала из Грузии, разведенная мать с двухлетней дочкой. Она говорит спокойно, в твердом убеждении, что всегда может начать сначала и найти выход из тупика. В Грузии она изучала парикмахерское дело и музыку. Муж потребовал, чтобы она сидела дома. Она распрощалась с ним и воссоединилась с родителями в Ашкелоне.

Она была готова начать новую жизнь с любого дела. Поначалу она работала в отделении стерилизации больницы Каплан в Реховоте, но ушла, потому что работа была тяжелая и приходилось слишком далеко ездить. Потом она проработала 10 лет на текстильной фабрике в Ашкелоне.

"Работа тяжелая, полно пыли. Домой приносила 400 шекелей в месяц (это было три года назад). Я мечтала продвинуться. Конечно, с музыкой покончено, я понимаю, но все же мне кажется, что я могла бы делать и что-то поинтереснее." Она поступила на курсы программистов, но никто не хотел взять программиста без опыта работы. Так она оказалась в числе безработных, живущих на государственное пособие. Когда спустя полгода пособие кончилось, а работы все еще не было, она получила направление на оплаченные курсы в ашкелонском отделении университета Бар-Илан. Здесь ей платили 400 шекелей,

На протяжении всего разговора — ни одной жалобы. Она живет с 18-летней дочерью в маленькой государственной квартире, избегает лишних расходов и ухитряется улыбаться, когда мечтает о лучшей жизни. Сегодня она опять не получила на бирже никакой работы, но зато ей предложили еще одни оплаченные курсы — на сей раз парикмахерские.

"Не думаю, что я стану парикмахером, — говорит она, — но учиться всегда интересно".

"Отец Виктора", — так представляется этот 27-летний, уже

два года как женатый человек. На его небритом лице — выражение гордости, в кармане — направление на матрацную фабрику, которое он только что получил на бирже труда. Рядом с направлением — предупреждение электрической компании, что в случае неуплаты счетов электричество в его квартире будет отключено в самое ближайшее время.

Его история способна выжать слезы у чувствительных людей: разбитая семья, мать, признанная неспособной воспитывать детей, побеги из детских воспитательных учреждений, жизнь со старухой бабушкой, а потом со старшим братом, когда бабушка умерла.

"Отца Виктора" я впервые встретил месяц назад, на похоронах Ави Саспорта, убитого арабами израильского солдата, когда возбужденная толпа ашкелонцев устремилась к месту обнаружения трупа с возгласами: "Смерть арабам!"

На этой неделе, сидя возле биржи труда со своей 24-летней женой и двухлетним сыном, он рассказывает о своей трудовой жизни, которая представляется сплошной вереницей наймов и увольнений.

Он потерял работу на фабрике спальных мешков в кибуце Кармия, "потому что у них начались сокращения и они хотели сохранить места для членов кибуца. Правильно, конечно".

Последнюю работу он тоже потерял из-за сокращений. Он работал у плотника в промышленной зоне Эрез, у самого въезда в сектор Газы. "Они нанимали газанцев, шесть человек, их уволили вместе со мной. Хозяин платил им по 25 в день, а мне по 50.

Теперь я встаю по утрам, и мне некуда идти. Мы живем в 28-метровой государственной квартире, но метраж побольше за ту же цену можно найти только в районах, где много уголовников. Мой "минус" в банке уже достиг 5000 шекелей. Но есть и хорошие новости. Раньше, до родов, моя жена работала секретаршей. Теперь она получила работу уборщицы в одной конторе".

Как ему еще удастся улыбаться своему ребенку? "Но ведь ребенок не виноват в том, что я задолжал бакалейщику. Я улыбаюсь, даже когда мне от этого больно. Я не хочу, чтобы мой сын с детства учился ненависти, как учатся ей арабские дети.

У плотника я не очень-то контактировал с арабами. Но они

неплохие люди. Мы вместе пили чай и немного разговаривали — но не о политике. У нас было общее — мы все хотели зарабатывать на жизнь”.

Как совместить его слова с недавним участием в демонстрации ашкелонцев против арабов?

”Тут нет никакого противоречия. Тогда был особый случай. Я действительно хотел напугать арабов, отомстить им нашим террором за их террор. Поэтому я пошел и кричал вместе со всеми. Но теперь это в прошлом. Сейчас я прежде всего хочу обеспечить свою семью. Я готов на любую работу, самую тяжелую, даже за 800 шекелей в месяц — лишь бы не отворачиваться от бакалейщика, когда он на меня смотрит”.

Гаражники — вот кто больше всего выгадал на интифаде. Израильтяне теперь уже не отправляются в Газу, чтобы починить свои машины, как делали это два года назад. Они предпочитают чинить их в еврейских гаражах. Ашер Идан, хозяин мастерской по окраске машин, соглашается с этим объяснением. Но подчеркивает, что он — один из немногих, кто сумел воспользоваться новой обстановкой. Несколько мастерских того же рода испытывают трудности. ”Это отчасти связано с нашей налоговой системой”, — объясняет 25-летний хозяин, выходец из Туниса, начавший работать сразу после начальной школы.

”Секрет успеха — в правильной организации дела. Люди теребят деньги без необходимости, берут ссуды в банке, накапливают лишние материалы. Часть материалов пропадает, краска проливается или высыхает, если ее не использовать вовремя. Зато долг банку не усыхает никогда.

Я держусь в пределах возможного. Я все время разговариваю со своим карманом”. У Идана работают всего два наемных работника. ”Я держу дело на слабом огне — чтобы еда готовилась, а не пригорала”.

До интифады Идан делал все закупки в Газе — гвозди, дыни, жель для мелкого ремонта. ”Там все было намного дешевле”, — говорит он, вздыхая о прошедших временах.

Тем не менее Идан готов отдать территории. ”Это не так опасно: меньше шансов, что тебя пырнут ножом в спину”. Палестинский вопрос для Идана больше экономический, чем политический. ”Я не нанимаю палестинцев — не из-за лозунгов на стенах, я просто не хочу от них зависеть, со всеми их забас-

товками и комендантскими часами.

Если не будет арабского труда, многие из новоиспеченных гаражников, которые наняли арабов и на скорую руку пооткрывали гаражи, вернуться к своему прежнему бизнесу, и тогда это дело останется за нами, за профессионалами. Тогда дела пойдут еще лучше.

"У нас многие думают так же, как я, — добавляет Идан, который называет себя сторонником партии религиозной партии ШАС. — Когда мы швыряли в арабов камни на шоссе, это было просто выражением гнева — чтобы показать им, что нас не запугаешь, мы не фраера. Теперь с этим покончено".

Фабрика "Йаадим" преуспевает даже в нынешние времена экономического спада. "У нас не типичное предприятие", — сразу же объясняет Иоав Харамати, представитель второго поколения компаньонов, управляющих этим производством сельскохозяйственных машин, которое существует уже 23 года.

Основатели фабрики, покойный отец Иоава и Самми Гурвиц, принадлежали к числу ашкелонских ветеранов. Они организовали производство машин для механизированной сборки урожая. "Мы процветаем благодаря нашей системе. Когда необходимо, фабрика работает 24 часа в сутки, посменно. У нас очень жесткий рабочий график, это одна из гарантий нашей надежности; и мы всегда нанимаем меньше рабочих, чем нам нужно. Евреи и арабы получают у нас одинаково".

Интифада мало что изменила в Йаадиме. "В принципе мы — за сосуществование с арабами, — говорит Иоав. — Мы не уволили наших постоянных рабочих из лагеря беженцев в Джебалие. Наоборот, мы поощряем их работать все дни, когда они могут, и они изо всех сил стараются появляться на работе каждый день". Единственное изменение произошло в системе оплаты: вместо ежемесячной, арабы теперь получают зарплату ежедневно. "Но это не влияет на их отношение к труду".

Тем не менее, даже на Йаадиме появились свои проблемы. Сельское хозяйство, по самой своей природе, знает подъемы и спады, и кризис последних двух лет сказался на фабрике, говорит Гурвиц, признаваясь, что даже его процветающее предприятие переживает порой трудные отношения с банками. Другая проблема состоит в том, чтобы найти рабочих. "Кто согласится работать на уборке фасоли круглые сутки?"

А как насчет "еврейского труда"? "Когда тебя прижмет, тут уж не до выбора", — говорит Гурвиц, добавляя, что евреи, тем не менее, не очень торопятся занять места палестинцев. "Если люди предпочитают получать государственное пособие по безработице вместо того, чтобы работать, — это уже национальная проблема. Ни один еврейский безработный из Нетивот не хочет идти собирать овощи".

Проходя по улицам в эти утренние часы, видишь женщин, делающих семейные закупки, и мужчин, которые торопятся по своим делам. Кафе, в основном, пусты. Только за одним столиком сидят несколько человек, курят и попивают кофе. Здесь никто не торопится. Появление журналиста вызывает интерес у сидящих за столиком безработных, которые тотчас усматривают в нем возможность излить свою душу.

С. закончил профессиональное училище /ОПТ/ еще в Марокко, до переезда в Израиль в 1963 году. После армии он устроился на работу в кибуце. "Работа была изнурительная, не для меня". Пройдя курсы ремонтника, он три года проработал на телефонной фирме Безек в Синае, "пока нас не обстреляли. Все обошлось, но я больше не мог туда вернуться".

Затем он прошел курсы кладовщиков, и это привело его в компанию Лапидот, специализирующуюся на производстве бурового оборудования. Там он проработал 16 лет и был уволен в декабре прошлого года, вместе с 30 другими служащими. "Вы записали, что у меня 5 детей?" — настойчиво допытывается он.

Дважды в неделю С. посещает биржу труда, где чиновник записывает его фамилию и номер удостоверения, чтобы выдать пособие по безработице. В остальные дни он проводит утро в этом кафе на площади, с друзьями по несчастью. Они обсуждают то, что прочитали в газетах.

С. разгневан. "Люди в тяжелом положении. Им нечем кормить детей, но они стыдятся просить помощи. Некоторые опускаются до преступлений — нет, среди моих друзей таких нет, но, поверьте, это правда. Я еще не задолжал своему бакалейщику, но в этом году у нас нет денег купить детям новые учебники, приходится обходиться подержанными. Дети понимают положение. Они тоже страдают. Я не могу покупать им мороженое два раза в день, как раньше, им приходится ограничиваться одним мороженым в день.

Своими силами трудно что-нибудь сделать. Нужна организация, которая вывела бы всех безработных на улицы, как во Франции в 60-е годы. Вся эта гистадрутовская суета — просто предвыборные штучки. Если бы кто-то организовал нас всерьез, я тоже готов был бы участвовать.

Работать вместо арабов? Пойти на неквалифицированную работу на текстильной фабрике? Ни за что. Со всем моим образованием? Да я и не хочу, чтобы меня покупали, как товар, на этом рынке рабов!" /он имеет в виду частное бюро по трудоустройству/.

"Мне 43 года. Мне нужна постоянная, надежная работа, чтобы прокормить семью. Пока я получаю 1000 шекелей пособия, мне невыгодно идти на такую работу, где платят меньше".

Ни один из сидящих за столиком не думает, что закрытие территорий может решить их проблему. "В принципе я поддерживаю эту идею, — говорит Шломо Битон, 36 лет, уволенный из компании Лапидот. — Но я не пойду работать вместо них, за 30 шекелей в день!"

"С моим аттестатом за среднюю школу — и идти подметать улицы? — переспрашивает С. — Нет, до тех пор, пока мне дают пособие, я предпочитаю сидеть в кафе. Поверь мне, через две недели, когда пособие кончится, ты меня здесь не увидишь. Я себе что-нибудь найду".

"Конечно, араб может работать за 30 шекелей, — говорит третий. — В конце концов, какие у них расходы?" Этому собеседнику за 30, но он никогда нигде не работал, потому что, по его словам, никто не берет на работу человека с уголовным прошлым.

"Смотри, вся эта заваруха с безработицей не имеет никакого отношения к арабам. Арабы нас не интересуют. Эту всю интифаду используют, чтобы отвлечь внимание от социальных проблем. Когда мы демонстрировали против арабов, это не имело отношения к экономике. Ашкелонцы не потому выступили против арабов, что арабы отнимают у нас работу. Просто кому-то удалось собрать толпу идиотов и повести ее за собой", — продолжает свою лекцию уголовник.

В наш разговор вмешивается молодой 20-летний парень: "А вот я себе на жизнь зарабатываю своими руками. Когда нет хорошей работы — краду".

Что именно?

"Да все, что есть дома", — отвечает он, и никто из сидящих за столиком не воспринимает это как шутку. "Работать? Ни за что. Когда я где-нибудь работаю, я всегда заставляю арабов делать всю работу вместо меня. Подметать улицу? Да я лучше сдохну! С чего это я стану уродоваться за несколько шекелей? Пусть лучше араб уродуется.

*Многие в Израиле полагают, что именно социальные, а не политические проблемы являются первостепенными для будущего страны. По мнению известной израильской писательницы Шуламит Харевен, политические проблемы зачастую служат средством отвлечь внимание от насущных социальных задач.*

**Напряжения реальные — и не очень.** Несколько лет назад английский турист посетил зоопарк в одной из арабских столиц. Состояние животных его ужаснуло, и он, в хорошей английской манере, потребовал от директора объяснений увиденному. Директор вздохнул, возвел очи горе и сказал: "Увы, сэр, это все из-за Борьбы".

Вот уже для целого поколения израильтян борьба, или война, или угроза войны, или наш экзистенциальный конфликт, или требования безопасности, — каждый называет это по-своему, — служат оправданием всего, что происходит в Израиле, всего, что в нем делается или не делается, что должно делаться, но остается несделанным по сию пору. Спросите любого израильтянина, в чем причина нашей бюрократии, высокого уровня дорожных аварий, грубости на улицах, в автобусах и учреждениях, упадка профессионализма, растущей склонности к обману, нашего равнодушия, нашей неспособности отделить главное от второстепенного, в чем причина нашей вечной близорукости и нетерпеливости, нашей неприязни к чужому и зависти к нему, нашей постоянной раздраженности, — спросите, и вам ответят: что вы хотите, нам приходится думать о безопасности, нам угрожают, мы в постоянном напряжении.

Так ли это?

Между Войной за Независимость, которая была реальной, не на жизнь, а на смерть войной, войной за выживание во всех смыслах этого слова, — и кампанией в Ливане, то есть на протяжении 34 долгих лет, мы находились в состоянии настоящей, полномасштабной войны всего 5 недель, а каждый отдельный сол-

дат был в бою и куда меньший срок. В промежутке между двумя этими событиями, все остальные 1760 недель, мы растили детей, поливали цветы, работали, учились, покупали домашнюю утварь, ели, ходили на экскурсии и — более или менее — платили подоходный налог. В этой стране не было иных хозяев, кроме нас; нам не угрожала оккупация или воздушные налеты; наше небо было и остается защищенным. Сегодня в Израиле втрое больше семей, потерявших близких в дорожных катастрофах, чем тех, кто за все это время потерял близких в боях, — ибо наша "война на дорогах", увы, не знает передышки... Что бы ни говорили иные демагоги, но за все время после Войны за Независимость нам ни разу не угрожала Катастрофа; и наша нынешняя военная мощь, включая ядерную, исключает подобную угрозу в обозримом будущем. Израиль и был-то создан именно для того, чтобы исключить такую угрозу из жизни еврейского народа, и вплоть до сегодняшнего дня он прекрасно справляется с этой задачей. Свои войны мы вели не на своей, а на вражеской территории; когда в Войну Судного дня два соседних государства вторглись на нашу землю, этот конфликт закончился в 40 километрах от Дамаска и в 100 километрах от Каира. Наши земли не захватывал никто; мы захватили земли у других.

В перспективе этих сорока лет видно, что и терроризм не достиг успеха. Он нанес нам несколько суровых ударов, особенно в первые десятилетия, но оказался неспособным нарушить нормальную жизнь страны. Большинство террористических замыслов было раскрыто. Через несколько часов после взрыва или обезвреживания бомбы жизнь возвращается в нормальное русло: никто не отказывается от поездки в автобусе или посещения рынка. Если террористы надеялись полностью парализовать нашу жизнь, создать атмосферу страха и перекрыть наши дороги, то они жестоко просчитались. И если даже бремя мер предосторожности и безопасности оказалось — и еще долго будет — довольно велико, то подавляющее большинство израильтян не ощущает этого бремени в своей повседневной жизни — если не считать производного от него бремени высоких налогов или частой резервной службы. Наш образ жизни, в громадной своей основе, остается нерушимым. Всем этим мы обязаны нашей армии, которая — при всех ее ошибках и оплошностях — вот уже 40 лет справляется со своей миссией Армии Оборона Израиля.

Вот почему я могу утверждать, что основным источник на-



пряжений в израильской жизни — это не напряжение опасности. Наше состояние порождается социальным, а еще точнее — совокупностью социальных напряжений. Напряжение опасности — всего лишь своеобразный указатель, или проекция, многих других — и совершенно иных — проблем; сознательно или бессознательно, но мы используем то, что не очень точно и обобщенно именуется "арабо-израильским конфликтом", как проекцию — если не оправдание — нерешенности многих иных конфликтов в нашем обществе и в нашем индивидуальном сознании. Эти иные, специфически израильские, напряжения, не имеющие ничего общего с проблемами безопасности, оказывают более глубокое и более долговременное влияние на нашу жизнь.

У меня нет желания преуменьшать наши проблемы безопасности. Они существуют, и в значительной мере — по объективным причинам. Некоторые из арабских стран еще не примирились с нашим существованием, и над нашими северными границами все еще нависает угроза. Неспособность решить палестинскую проблему вполне может привести к войне, и — не исключено — самой разрушительной из всех, нам известных. И даже если за первых 34 года существования мы вели полномасштабную войну "всего" 5 недель, то ведь все остальные 1760 недель эта война всегда "была с нами" — по крайней мере, метафорически. А ведь были еще войны на истощение и операции преследования, и есть ведь еще поселения на линии фронта, и бомбы в иерусалимских автобусах, и камни, швыряемые в машины, — хотя все это и не "война" в обычном смысле слова. Но если вдуматься — что общего, собственно, между "Катюшей", выпущенной по Северной Галилее, и неуважением израильского чиновника к израильскому гражданину? И разве тот факт, что значительная часть нашей интеллигенции недостаточно знает иврит, является результатом бомбы, подложенной на автобусной остановке?.. В мире бывали такие общества, такие интеллигенции, такие социальные организации, которые вполне эффективно функционировали даже в условиях иноземной оккупации. Были народы, которые почти сразу после ужасных разрушений возвращались к нормальной жизни, к творчеству, к уважению к личности. Между метафорой и фактом есть существенная разница: угроза войны — это не то же самое, что война. И если наше внимание поглощено лишь одним видом напряжения, к тому же — не самым главным, то мы рискуем проглядеть другие проблемы нашего общества, куда

более тревожные и опасные, ибо именно они определяют облик нашей повседневной жизни. Попробуем понять, что это за проблемы.

**Страна иммиграции.** Невозможно говорить об израильском обществе, не принимая во внимание важнейшие факты и социальную историю последних четырех десятилетий. Некоторые из этих фактов неустранимы. Мы живем в маленькой стране, лишенные того ощущения безопасности, которое дает огромный континент. У нас нет ни огромных рек, ни протяженных пустынь, ни бесконечных лесов; наше население немногочисленно и в большей части сконцентрировано вблизи городских центров. У нас мало естественных ресурсов, а уровень озера Кинерет — а с ним и весь запас воды, которым мы располагаем, — не поддается нашему контролю.

При таких исходных данных характер общества приобретает исключительное значение. Люди оказываются крайне взаимозависимы: они вынуждены искать способы сосуществовать друг с другом, говорить друг с другом, решать проблемы совместно. И как и в любом упорядоченном обществе, устойчивость нашего общества зависит от его способности воодушевить каждого гражданина чувством уверенности — в работе, в отношениях с бюрократией, в экономических ожиданиях, в шансах на образование и карьеру.

Основные очертания израильского общества были заложены в 1950-60 годах, в те времена, когда население страны удвоилось почти молниеносно. Специфические исторические обстоятельства превратили Израиль прежде всего в страну иммиграции, или "алии" ("восхождение" на иврите). Это имело решающее значение. Страна, в которой большинство составляют иммигранты, — это страна, где заметная часть населения в определенный момент претерпела полное изменение жизненных условий, радикальную, порой глубоко травмирующую смену страны проживания, языка, обычаев, климата, культуры. Более того, многие из переживших эту переменную оказались навсегда отрезанными от своей прежней страны; их прошлое было практически стерто в одно мгновение, словно его и не было. Страна, в которой большинство граждан иммигранты, — это также страна, в которой большинство граждан лишено нормального чувства непрерывности и преемственности, свойственного странам, где люди живут на одном и том же месте столетиями. Та-

ков, к примеру, Египет, где вот уже семь тысячелетий, к худу иль к добру, но существует одна и та же культурная традиция.

Напротив, Израиль — это собрание людей, большинство из которых, несмотря на все свое сходство, пережило выкорчевывание корней. Некоторые прошли вдобавок через разрушительный опыт Катастрофы. Одни все еще считают по-арабски, другие напевают на идиш, третьим их сны снятся по-русски. Эти влияния передаются и следующим поколениям... Если Бен-Гурион и мечтал, что "сам воздух Эрец Исраэль породит мудрость", если Голда Меир и говорила, что "мы привлечем "их" сюда и превратим в людей", то действительность показала, что они ошибались. Люди не становятся израильтянами в тот момент, когда получают удостоверение иммигранта или даже меняют свое имя на ивритское. В других странах иммигранты сталкиваются с давно укоренившимися культурными традициями; в Израиле 1950-60 годов таких традиций было мало. Не было тех культурных, социальных или гражданских норм, которые можно было усвоить хотя бы путем подражания. Мы по сей день живем в состоянии множественности таких норм, убеждений, правил и обычаев, и наша политическая атомизация, возможно, связана, в конечном счете, с нерешенной проблемой идентичности. Но между различными иммигрантскими группами существуют глубокие, базовые различия, которые выходят за рамки чисто политических мировоззрений. Поэтому наше общество, в котором по сей день отсутствует единая культурная модель, неизбежно обречено на групповую поляризацию и политическое насилие. Когда человек не имеет модели, с которой может себя идентифицировать, приобщение к определенному политическому лагерю может заменить ему подлинную идентификацию и дать необходимое оружие для конкуренции с другими. И в то же время такой человек не перестает ощущать каждодневное напряжение, которое сопровождает его повсюду и становится характерной особенностью израильской жизни. Это напряжение возникает из чувства социальной неудовлетворенности, из подсознательного ощущения незавершенности своей абсорбции и интеграции в обществе, под давлением навязываемого процесса социализации, а порой — в результате ощущения подорванности всех культурных схем, религиозных и моральных авторитетов, единства общины.

Все это произошло потому, что в 1950-60 годах Израиль взял на себя немислимую задачу: абсорбировать иммигрантов в от-

ношении 1:1 к основному населению страны, и притом — не имея ресурсов, практически без экономики, сразу же после Катастрофы и во враждебном окружении. Неизбежным результатом этого было отсутствие какой бы то ни было подлинной абсорбции — если не считать самой элементарной. Достаточно сравнить это положение с жалобами руководителей богатой и огромной Австралии, которые считают непосильной задачей абсорбцию в размере 2% (!) от основного населения в год.

Таким образом, мы живем в стране, которая в течение десятилетий претерпевает стремительные изменения — на каждой улице, в каждом поселении, в каждой школе; и эти изменения неизбежно порождают в людях ощущение преходящести и неустойчивости всего окружающего, чувство отсутствия непрерывности, шок непрерывных и слишком быстрых перемен, глубокую внутреннюю неуверенность и тревогу. Но в нашем недостаточно интегрированном обществе возникает и еще одна особенность: поляризация по этническим группам порождает групповые стереотипы и привычку к мышлению этими стереотипами. Это распространяется не только на отдельные группы иммигрантов, каждая волна которых получает свои клички: "йеки", "румыны", "поляки", "марроканцы", "русские", "эфиопы" и так далее, но и на все общественное мнение в целом, которое по сей день остается отчетливо "групповым": "ликудники", "маарахники", "религиозные", "левые", "ашафисты" и тому подобное. Индивидуальное оттеснено, оно практически не существует; все имеет свои групповые ярлыки. Видимо, люди не могут безнаказанно жить в обстановке глубоких социальных изменений столько десятилетий подряд.

**Индивидуум против общества.** Поумнев задним числом, мы можем теперь сказать, что многие из этих "факторов отчуждения" могли быть, наверно, преодолены, если бы — если бы израильское общество больше заботилось об индивидууме, а не практиковало по отношению к нему покровительственный диктат. Ведь, в конечном счете, каждая группа, проходящая процесс социализации, состоит из определенного числа индивидуумов, каждый из которых абсорбируется, прежде всего, на личном уровне.

Однако израильское общество, в котором от каждого требуется максимальное участие в жизни страны и существует максимальная причастность каждого к происходящим в ней событиям

(где еще в мире люди слушают новости каждый час в течение дня?), — именно это общество пока не научилось диалогу с индивидуумом. Израильские чиновники абсорбируют алию, но не отдельных "олим", они воспитывают и обучают класс или группу, но не отдельного человека, они организуют социальную помощь низкооплачиваемым слоям, но предоставляют самим гражданам заботиться об отдельной бедствующей семье.

Эта ситуация возникла не в 1950 или 1960 годах — ее корни уходят еще в догосударственное прошлое, к поколению отцов-основателей, сформировавших основы здешней жизни — быть может, неизбежные в их условиях. Корни нашего группового мышления, еще более усиленного особенностями иммигрантского общества, берут начало в пионерской идеологии "подчинения индивидуума" интересам группы. Поколение отцов-основателей состояло из людей, которые сами на себе — и притом добровольно — совершили тяжелейшую хирургическую операцию полного, основанного на идеологических убеждениях, отсечения от прошлого. Для каждого из них это означало отказ от своей индивидуальности и готовность "возродиться" внутри своей группы. Среди них были и такие, которые стыдились своего прошлого и потому искали новой идентичности в принадлежности к группе новых единомышленников. Все они уплатили тяжелую цену: история ранних лет колонизации Палестины полна рассказами о самоубийствах, душевном крахе, психологических травмах, о ночных обнажениях души перед товарищами и последующих потаенных рыданиях. Индивидуализм был почти что равносителен греху. В кибуцах высмеивали детей, которые знали своих биологических родителей.

Возможно, те громадные задачи, которые стояли перед тем поколением, действительно требовали такого полного отказа от "Я"; быть может, без этого сионистская революция не могла бы свершиться. Но эта суровость ко всему индивидуальному осталась с нами, и понятия "мы", "целое", "группа" постепенно сформировали израильское мышление. А жертвы, принесенные каждым во имя создания государства, создали склонность рассуждать в том же духе: если я смог пожертвовать собой ради того, чтобы стать израильтянином, "одним из наших", то и другим нечего хныкать. И если наш путь привел к успеху — значит, он правилен.

Не отсюда ли родилась наша привычка — в сущности, реакция

самозащиты и самооправдания — безоговорочно оправдывать все, что делается в Израиле, хорошо оно или плохо? Не отсюда ли неприязнь наших верхов к любой критике, так ярко проявившаяся уже в годы массовой иммиграции? Их равнодушие к нуждам индивидуальных иммигрантов, их подразумеваемый — а зачастую и высказываемый вслух — лозунг: "Делай, как мы, — и молчи!"?

Но все дело в том, что этот рецепт не работает: каждая волна иммигрантов имела свои — и вполне возможно, более разумные — представления о том, что значит быть израильтянином. Ни для иммигрантов из Марокко, ни для иммигрантов из Европы и Америки наиндивидуальная, надсемейная "группа" не была ни сионистским, ни личным идеалом.

Результат всего этого налицо: Израиль, несмотря на все его общие для всех, связующие элементы, остается страной разгневанных людей, в душах которых все еще живы старые обиды и разочарования.

**Мгновенная израилизация.** В этой перспективе становится особенно очевидной нелепость изображения Израиля как страны "западной культуры". Для западной культуры является аксиомой специфическое отношение к индивидууму, его правам и стремлениям. Израиль — кажется, единственная страна так называемого "западного мира", которая до сих пор не имеет конституции, гарантирующей права индивидуума; и если в технологии, в индустрии, в образе и уровне жизни мы и можем конкурировать с иными западными странами, то ведь ни компьютеры, ни видеомагнитофоны, ни датская мебель еще не определяют характер страны и общества. Они не могут устранить типичное напряжение израильской жизни — напряжение между индивидуумом и обществом. Оно, это напряжение, проявляется в отношениях рядового израильтянина с теми, в ком он видит общественных представителей, — бюрократией и властями. Оно проявляется в том, как терпеливо сносит он произвол и равнодушие бюрократов. Такая пассивность прямо противоположна традициям подлинной "западной культуры". Она заставляет думать, что наша "западность", быть может, — не более чем внешняя форма "антивосточности".

Что же происходит, когда социализация неполна, интеграция незавершена, когда общество полно скрытого напряжения, а культурная непрерывность, традиция и индивидуальные эмоции загнаны внутрь? В таких условиях люди, вопреки всему, еще

более стремятся принадлежать к чему-то целому и большему себя. А самый быстрый — и самый опасный — путь такого приобщения лежит через приобщение к общему мифу. Такой миф не обязательно должен соответствовать реальности. Его назначение иное: он должен дать мгновенный ответ на сиюминутные потребности. А для этого он должен представлять собой некий племенной "код", который может служить также общеплеменным наркотиком, изготавливаемым различными знахарями племени. Если индивидуум ощущает себя слабым и незащищенным, к его услугам миф о Катастрофе, о ненависти всего мира к Израилю, о незащищенности еврейского государства. Если индивидуум ощущает себя забытым, одиноким, никому не нужным — он может стать "израильским патриотом" и снова ощутить себя принадлежащим к мощной группе единомышленников. Все стремления человека находят быстрое вознаграждение в виде немедленного ощущения общности и идентичности с "обществом" и его мифами, то есть в виде своеобразной "мгновенной израилизации", пусть и на короткое время. Многие советские евреи, прибывшие в Израиль, избрали символом своей принадлежности к Израилю Меира Кахане, еще ничего о нем толком не зная, — просто потому, что советская пропаганда постоянно поносила Кахане, а советские евреи, привыкшие считать верным все, противоположное этой пропаганде, искренне решили, что отождествление с Кахане немедленно сделает их "настоящими израильтянами" и "настоящими евреями".

Почему мы обязаны так решительно противостоять этим племенным мифам, несмотря на даваемое ими, пусть на первом этапе, чувство общности и принадлежности? Почему бы людям не пользоваться мифами и символами, если это облегчает им реальную социализацию и интеграцию? Потому, что такая мифология, фиктивно сокращающая трудные пути, полностью искажает и извращает реальность. А если есть в мире страна, которая не может позволить себе уходить от реальности, — так это именно Израиль.

Мифы опасны и заразительны. Все "знают", что Чемберлен был слабодушным оппортунистом, наивным "пацифистом", который вступил в сговор с Гитлером и стал символом капитуляции Европы. Между тем историческая правда состоит в том, что Чемберлен отправился в Мюнхен, полностью отдавая себе отчет в реальном положении вещей и имея прямое указание правитель-

ства оттянуть войну хотя бы на один-два года, потому что только за этот срок британская промышленность обещала снабдить авиацию истребителями, способными защитить небо над Англией. И сам Черчилль красноречиво восхвалял Чемберлена за то, что тот взял на себя эту неблагодарную задачу, согласившись стать мишенью нападков всей Европы — и спасителем Англии.

Точно так же сейчас, во время интифады, многие из самых слабонервных "левых" в Израиле "знают", что "Израиль пылает" (имея в виду Израиль внутри "зеленой черты") — между тем как реальность состоит в том, что меньше одной десятой процента (!) израильских арабов приняли участие в волнениях и беспорядках. А многие из наших "правых" точно так же "знают", что Израиль все годы своего существования находится в состоянии непрерывной войны, — между тем как реальность, как мы уже говорили, состоит в том, что за первые 34 года своей истории Израиль непосредственно участвовал в военных действиях всего 5 недель!

Типичным примером власти мифологии над умами может служить статья известного израильского журналиста, который в канун всеобщей арабской забастовки в минувшем декабре написал, что этот день знаменует "конец обучения демократии в Израиле", конец сотрудничества еврейских и арабских учителей. В тот же самый день в Тель-Авивском университете состоялся традиционный еврейско-арабский учительский семинар, и ни один из приглашенных его не пропустил.

Но наши политические мифы не относятся только к "правым" или только к "левым": совершенно не совпадающий с реальностью стереотип "Израиля, окруженного двадцатью двумя враждебными арабскими государствами, мечтающими только об его уничтожении", равно разделяется и "правым" писателем, и "левым" кибуцником.

Цена этой мифологии — не только утрата доверия к словам: такого доверия нет и в других странах. В Израиле эта цена намного выше. Тот, кто сеет миф, пожинает истерию; а когда истерия диктует нам наши действия — это уже реальная опасность для нашего существования.

Опасность племенной мифологии — в том, что она лишает нас альтернатив и возможностей, перспектив культуры и выбора идентичности, оставляя нам одно — убивать или быть убиваемы-



ми; а может — то и другое вместе. Словно быть израильянином означает только это. Словно к этому сводится смысл Израиля. Словно в этом содержание иудаизма.

**Цена тупика.** Такова цена, которую мы платим за суммарный успех Израиля в первые четыре с лишним десятилетия его существования. Это был поистине впечатляющий успех: было создано государство; были приняты сотни тысяч иммигрантов; была обеспечена безопасность страны.

Почти все остальное пока еще шатко и ненадежно. Наша форма социального устройства — израильская демократия, обремененная контролем над территориями, — шатается под этим грузом. Власть закона, система образования и здравоохранения, общественные службы, институты социальной помощи и помощи безработным, трудовые отношения и язык улицы — все хромает, все нуждается в оздоровлении.

Вступив в пятое десятилетие своего существования, израильское общество стоит перед задачей заново определить свои приоритеты: хочет оно по-прежнему мириться со своими социальными болезнями или предпочитает устремить усилия на их излечение, чтобы снова стать здоровым обществом, здоровым народом, местом, где человеку хочется жить?

*На очередной, 24-й сессии "Американо-израильского диалога", ежегодно проводимого в Иерусалиме организацией "Американский еврейский конгресс", в центре обсуждения был вопрос, что определяет еврейскость человека, общества, культуры, или проще — что такое еврей? В глазах представителей секулярной израильской интеллигенции этот вопрос намного важнее для судеб Израиля, чем нынешние ожесточенные (и во многом политизированные) споры вокруг чисто религиозного вопроса, кого считать евреем. Такую точку зрения изложил в рамках "Диалога" известный израильский писатель и переводчик Гиллель Галкин.*

По мнению Галкина, давно забытое "дело Руфайзена", обсуждавшееся в Высшем суде справедливости Израиля в 1958 году, имеет прямое отношение к ведущимся ныне спорам о содержании "еврейскости" и понятии "еврей".

"Освальд Руфайзен, истец по этому делу, — напоминает Галкин, — был рожден в еврейской семье и получил еврейское воспитание. Он вошел в сионистскую молодежную организацию Польши и готовился к эмиграции в Палестину, когда вспыхнула вторая мировая война. Он избежал уничтожения, скрываясь в католическом монастыре, а затем работая чиновником у немцев. В этой должности он оказал большую услугу сопротивлению, а позже, бежав из гестаповской тюрьмы, стал участником партизанского движения и был награжден медалью за отвагу. Лишь в 1958 году ему удалось прибыть в Израиль, где он немедленно подал прошение о гражданстве. В этом прошении ему было отказано".

Что побудило четырех из пяти членов Высшего суда отвергнуть апелляцию выжившего в Катастрофе героя сопротивления, всю жизнь стремившегося в Палестину? "Один-единственный факт, — продолжает Галкин, — во время своего пребывания в монастыре он перешел в католичество, а после войны стал кармелитским монахом, "отцом Даниэлем", и именно в этом качестве прибыл в Израиль".

По мнению Галкина, самым поразительным в решении суда было его юридическое обоснование. "Это была дань тем противоречиям, в которых немедленно запутывается всякий, кто размышляет над проблемой "еврейскости" в Израиле".

Мнение большинства суда было изложено судьей Зильбергом, который сначала обратился к раввинистической литературе о вероотступниках. В глазах Галахи, еврей, перешедший в другую веру, тем не менее остается евреем — согласно принципу: "исраэль шехата исраэль ху", т.е. еврей не перестает быть евреем, даже нарушая еврейский Закон. Еврейскость — неотъемлемое качество еврея, и от еврейской принадлежности невозможно отречься самовольно.

Почему же тогда суд все-таки отверг просьбу отца Даниэля признать его евреем? "Потому что, как заявил судья Зильберг, суд является секулярным органом и Закон о Возвращении является секулярным законом. И слово "еврей" должно интерпретироваться не по Галахе, а по его обиходному пониманию в еврейской и израильской повседневности. А такое понимание проникнуто неприятием вероотступничества и памятью о страданиях, причиненных евреям католической церковью. Иными словами, в глазах самих евреев (а не еврейского Закона), еврей,

перешедший в католичество, перестает быть евреем”.

Галкин напоминает слова судьи Зильберга: “В мою задачу не входит пропагандировать иудаизм или предопределять направление, в котором пойдет дальнейшее развитие еврейского народа. Спектр мнений по этим вопросам в нашей стране простирается от ультраортодоксального до самого свободного секулярного. Но общим для подавляющего большинства является желание отделять себя от нашего исторического прошлого или отвергать наше наследие... Было бы крайне глупым полагать или верить, что мы создаем здесь совершенно новую культуру. Народ, который почти так же древен, как все человечество, не может начинать ab ovo, и даже в самом крайнем пределе культура, возникающая в этой стране, будет не более, чем новым изданием нашей прежней культуры... Брат Даниэль наверняка любит наш народ — в сущности, он это доказал, вне всяких сомнений, — но он не может быть нашим братом, потому что он перестал быть частью мира иудаизма или частицей, органически связанной с ним”.

“Какая предельно честная, тщательно продуманная и абсолютно противоречивая логика! — восклицает Галкин. — По правилам еврейской религии, от которой Руфайзен отошел, он по-прежнему является евреем; но суд судит по неписанным законам секулярного еврейского общества, в соответствии с его ценностями; эти ценности, однако, глубоко укоренены в религиозном прошлом; поэтому во имя секуляризма и своей независимости от религиозных авторитетов суд постановляет, что определяющим в вопросе о еврействе Руфайзена является его религиозная вера, а следовательно — вопреки его рождению от матери-еврейки и его чувству принадлежности к еврейскому народу — он не является евреем”.

По глубокому убеждению Галкина, отец Даниэль, в действительности, еврей и не только потому, что родился, воспитывался, страдал и сражался, как еврей, но просто в силу логики секулярного сионизма. Эта логика, по мнению Галкина, переопределяет еврейскость по новым, национальным критериям совместной территории и языка, которые сменяют прежние критерии веры и ритуала. Сионизм родился именно в период распада религиозных традиций. “В наш век, когда большинство евреев мира уже не имеют никаких твердых религиозных убеждений и не практикуют никаких религиозных ритуалов, было бы интел-

лектуальным извращением считать, что сын польских евреев, который всю жизнь стремился жить в Израиле, не является евреем на том основании, что он верит в Новый Завет, тогда как сын польских евреев, который живет в Лос-Анжелесе, остается евреем, хотя он верит в астрологию, или трансцендентальную медитацию, или даже просто в личное благополучие”.

В "деле Руфайзена" было одно, но существенное отклонение от единодушия. Судья Коэн в своем особом мнении заявил: "Я не верю в такого рода "историческую непрерывность". История может, действительно, "продолжаться" и быть неотделимой от ее источников, но это не означает, что она перестает развиваться и изменяться... В истории рассеянного еврейского народа не было события более революционного, чем образование государства Израиль... И это не только политическая революция: она требует изменения ценностей, которыми мы жили в диаспоре, она требует ревизии тех подходов, которыми мы пользовались в течение веков”.

"Я не собираюсь оплакивать несправедливость, проявленную по отношению к отцу Даниэлю, — говорит Галкин. — В конце концов, он получил израильское гражданство как нееврей. И дело его было бы менее двусмысленным, не выбери он именно ту церковь, которая была многовековым и жестоким врагом еврейского народа. Я не собираюсь и углубляться в технические лабиринты проблемы: кто еврей? В конце концов, обратившиеся в христианство евреи не стоят в длинной очереди за израильским гражданством, как не стоят в таких очередях и христиане, обратившиеся в иудаизм. Впрочем, не могу не заметить попутно, что вполне справедливое возмущение американских евреев попытками израильских ультраортодоксов изменить Закон о Возвращении отдаёт, на мой взгляд, определенным лицемерием: если бы достаточное число американских евреев воспользовались этим Законом на практике вместо того, чтобы бить себя в грудь с безопасного расстояния от Израиля, они давно бы составили тут большинство, которое сделало бы любые изменения Закона о Возвращении невозможными. На деле же то, чего требует сейчас американская еврейская община от Израиля, это не уничтожения монополии ортодоксов на право определять, кто еврей, а разрешения присоединиться к этой монополии, то есть расширения ее также на реформистов и консерваторов. Это все равно как если бы правительство Соединенных Штатов

даровало фирме "Дженерал Моторз" исключительное право решать, какие иностранные автомашины допустить на американский рынок, а фирмы "Форд" и "Крайслер" выступили бы не против такой монополии в принципе, а только против своего неучастия в барышах".

Гораздо важнее, однако, по мнению Галкина, не эти споры между ортодоксами и реформистами, а то различие во взглядах на содержание "еврейскости" в условиях Израиля, которое обнаруживается во взглядах судей Зильберга и Коэна. Ибо это различие проистекает из различного понимания ими проблемы соотношения между секулярным еврейским государством и его прошлым.

"Разница в толковании этой связи выявилась уже в ранней истории сионизма, — напоминает Галкин. — Спор между сторонниками взгляда на секулярный сионизм как на прямое продолжение еврейской традиции и их противниками, считавшими сионизм восстанием против этой традиции, восходит еще к дискуссии между Бердичевским и Ахад-Гаамом, вспыхнувшей в конце века и в той или иной степени занимавшей еврейскую публицистику с тех давних пор". Уже в начале века палестинский ивритский писатель Хаим Бреннер опубликовал статью, в которой сочувственно высказывался о христианстве и отрицательно — о раввинистическом иудаизме, утверждая, что для таких, как он, их еврейская принадлежность не имеет никакого отношения к еврейской религии. Статья Бреннера вызвала гнев Ахад-Гаама, который, несмотря на свой религиозный агностицизм, считал, что палестинская ивритская культура должна быть продолжением традиционных ценностей иудаизма. Напротив, радикал Бердичевский (который за 10 лет до того вступил на ивритскую культурную сцену с лозунгом: "Мы можем быть сынами и внуками прежних поколений, но не можем быть их гробами — либо мы будем последними евреями, либо первыми представителями нового народа") выступил в защиту Бреннера, заявив: "Отрицание всегда было великим катализатором. Оно заставляет нас задумываться и задавать вопросы, без которых нет развития".

"Сионизм, который является прежде всего глубоко диалектическим движением, — говорит Галкин, — был бы вообще невыносим без сочетания отрицания и утверждения, бунта и наследия легитимности. Не сказав некое фундаментальное "да" еврейской истории (которая, в конце концов, является в значительной

мере историей религиозной культуры, именуемой иудаизмом), нельзя думать о ее продолжении — даже в такой радикально новой форме, как еврейское государство; но не сказав ей одновременно "нет", невозможно объяснить, зачем тратить чудовищные усилия на создание и защиту этого государства, коль скоро иудаизм ухитрялся обходиться без него в течение 2000 лет и готов (как показывает, во всяком случае, опыт Вильямсбурга и Меа-Шеарим) обходиться без него и в будущем".

Именно пропорции этих "да" и "нет", по мнению Галкина, определяют место человека в спектре сионистской идеологии. "Тот, кто говорит только "нет", неизбежно приходит к антисиионизму кнаанитов — этого любопытного, но в конечном счете бесплодного израильского интеллектуального движения 50-х годов, которое, в духе Бердичевского, стремилось к полному разрыву с диаспорой и еврейским прошлым и к созданию совершенно нового, "ханаанейского" народа; тот, кто говорит только "да", с той же неизбежностью приходит к антисиионизму воинствующих ультраортодоксов, которые считают государство Израиль в лучшем случае чем-то несущественным, а в худшем — возмутительной лжемессианской затеей".

Еврейское прошлое включает в себя множество различных "прошлых", и нельзя сказать "да" одной его части, не сказав одновременно "нет" какой-то другой. Галкин приводит пример "Песни Песней" — этой величайшей эротической поэмы, которая с трудом попала в библейский канон, поскольку раввины-составители этого канона возражали против ее включения в священный текст. Если она, в конце концов, все же осталась в Библии, то лишь потому, что те же раввины истолковали ее как теологическую аллегорию на тему об отношениях между еврейским народом и его Богом. Так, строка: "Его левая рука — у меня под головой, его правая обнимает меня" — была переосмыслена как намек на тфилин и талит, которые еврей надевает для утренней молитвы. Одним из самых страстных глашатаев такого толкования — говорит Галкин — был рабби Акива, которого никак нельзя причислить к ханжам — он был известен своей пылкой любовью к жене. Стало быть, у раввинов были иные причины отрицать, что "Песнь Песней" — это гимн человеческой любви. А коль скоро так, то возникают три принципиальных вопроса: "Была ли интерпретация поэмы рабби Акивой более "еврейской", чем толкование тех евреев, которые распе-

вали ее в тавернах? Если так, означает ли это, что "Песнь Песней", как эротическая поэма, не является "еврейской литературой" и становится таковой, только будучи истолкована как теологическая аллегория? А если это все-таки поэма о сексуальном влечении, то не воскрешаем ли мы частицу подлинной еврейской литературы, когда восстанавливаем первоначальное человеческое и литературное толкование этой поэмы, очищая ее от искажений раввинистической интерпретации (благодаря каковым, по иронии истории, она только и дошла до нас)?"

Можно привести много других примеров из Библии, утверждает Галкин, которые показывают, что раввины не могли принять тот реальный жизненный смысл, который содержался в том или ином библейском тексте, и вынуждены были идти на крайние теологические ухищрения, чтобы его сохранить. "Они способны были принять библейский текст только путем его подсознательного отрицания; и только путем сознательного отрицания их отрицания можем мы сегодня принять его снова".

Именно такое отрицание, полагает Галкин, имел в виду Бердичевский. "Для него отрицание традиции означало расчистку места в еврейской жизни для нашего личного опыта, отвоевание права голоса для нас и нашей жизни, не подчиненной никаким априорным определениям. Говоря, что "евреи предшествуют иудаизму", он имел в виду, что "еврейскость" или "нееврейскость" нашего образа жизни не должна определяться тем, подчиняется или не подчиняется она неким предвзятым представлениям о том, что такое "еврейскость", — напротив, мы должны постоянно расширять наше понимание "еврейскости", чтобы оно включало в себя все многообразие форм реальной жизни еврея. "Existence" (реальное существование) предшествует "essence" (отвлеченному смыслу), "Песнь Песней" — это поэма о любви, а не теологическая аллегория; и если еврейская теология имеет право на существование, пусть она начинает его с любовной песни, а не с предвзятой схоластики!"

Секулярный сионизм, по Галкину, привел к радикальному пересмотру еврейской истории в том смысле, что включил в нее многое из того, что ранее считалось "нееврейским". Клаузнеровское исследование жизни Иисуса, балабановское — франкизма, шолемовское — саббатянства, изучение израильскими учеными в последние годы протохристианских сект в Кумране и

восстания Бар-Кохбы — каждое из этих исследований знаменовало восстановление в еврейской истории событий и процессов, которые галахическим иудаизмом издавна расценивались как отклонения, заблуждения или вероотступничество. "И действительно, если писать историю **иудаизма**, то как не считать радикальный индивидуализм Иисуса, мессианские антиномии Саббатая Цви, оргиастическую сексуальность франкистов или веру Бар-Кохбы в вооруженное насилие всего лишь "болезнями" национального организма, которые были вскоре преодолены коллективным инстинктом самосохранения? Но если писать историю **евреев**, наш подход не может не измениться. Мы не только должны считать, что Иисус и Яков Франк принадлежат этой истории в той же мере, что Гиллель и Баал-Шем-Тов, но мы должны также признать, что эти люди и их последователи, каждая группа на свой лад, представляли попытки евреев — как евреев — вырваться из ограничений галахического иудаизма в более широкий мир, где они могли преодолеть свое вековечное и вынужденное отчуждение от силы, от спонтанности, от природы, от эроса, от всех разновидностей свободного человеческого опыта. Верно, каждая такая попытка кончалась трагическим поражением, которое раввины тех времен предвидели и от которого предостерегали. Но каждое такое поражение одновременно было глубоко еврейским — и не только потому, что производило опустошение в еврействе, но еще и потому, что сама его трагическая предопределенность была порождена неспособностью еврейства употребить в дело те человеческие страсти, которые набрякали внутри него до тех пор, пока, не находя разрешения в нем самом, вырывались наружу — с разрушительными последствиями".

"С точки зрения ультраортодоксального антисионизма, — включает Галкин, — государство Израиль — всего лишь последняя из таких трагедий. Не случайно Шолем сравнивал сионистские идеи немедленного национального возрождения с мессианским нетерпением Саббатая Цви. История пишется победителями — а до недавнего времени победа в борьбе за гегемонию в еврейской жизни принадлежала раввинистическому, или нормативному, иудаизму. Однако ограничиваясь только нормативной историей еврейства, мы никогда не узнали бы не только об Иисусе, Бар-Кохбе, Саббатае Цви и Франке, но и, например, о евреях Александрии первых веков нашей эры с их активным



участием в эллинистической культуре или о еврейских общинах греко-римского мира с их религиозным синкретизмом. "Ничто человеческое мне не чуждо", — сказал Сенека. Перефразируя его, можно сказать, что все совершенное или сказанное евреями не может быть чуждо еврейской истории. Поэтому, соглашаясь с судьей Зильбергом в том, что мы "не можем отделять себя от нашего исторического прошлого или отвергать наше наследие", я в то же время думаю, что он, как и Ахад-Гаам, имел в виду, скорее, наследие иудаизма, чем наследие евреев. Но если в период между распятием Иисуса и падением Храма были в Палестине небольшие группы людей, веривших в мессианство Иисуса и одновременно считавших себя евреями, функционировавших в общине, как евреи, и сражавшихся против римлян, как евреи, то и сегодня такие люди не должны считаться чуждыми еврейству".

"Я полагаю, что логика секулярного сионизма состоит как раз в том, что в суверенном еврейском сообществе, где каждый гражданин автоматически подчиняется некоторым минимальным параметрам еврейской принадлежности, еврей может быть кем угодно — буддистом, талмудистом, кабалистом, атеистом, пилотом, свиноводом, футболистом, радикальным феминистом, троглодитом, даже христианином — и тем не менее оставаться евреем. Это — "еврейство по существованию" в противоположность "еврейству по определению", и оно возможно только в Израиле, потому что в диаспоре всякий, кто не удовлетворяет "еврейству по определению" ("еврей — это человек, исповедующий иудаизм" или "посещающий синагогу", или "соблюдающий ритуал", или "участвующий в общинной жизни"), оказывается в процессе (или уже по завершении процесса) ассимиляции и отчуждения от еврейства. Но в Израиле никакая ассимиляция вне еврейской общины невозможна, — разве что если покинуть страну, — потому что нигде, кроме еврейства, в Израиле попросту нельзя ассимилироваться".

"Вот почему меня не очень беспокоит тот наименьший общий знаменатель "еврейскости", который так обычен в Израиле. Я думаю, многим американским туристам — да и многим израильтянам тоже, — глядевшим на израильтян в их шортах и майках, моющих свои машины по субботам, — меж тем как верующие торопятся в синагогу, — или загорающих на пляже в окружении пивных бутылок и дымящихся жаровен, — я думаю, многим при

этом не раз приходила в голову мысль: "Что еврейского в этих людях?" Но этот вопрос порожден чисто оптической иллюзией. Если бы вы встретили тех же людей на Кони-Айленд, вам и в голову не пришло бы спрашивать, что в них еврейского, даже если бы многие из них были евреями, — просто потому, что вы видели бы в них не евреев, а нью-йоркцев или американцев; только в Израиле в каждом еврее видят еврея — и правильно делают. Правильность такого подхода к израильтянам может быть подтверждена простым экспериментом. Если бы вы спросили этих людей на Кони-Айленд: "Что в вас еврейского?" — и услышали бы в ответ: "Да ничего особенного, если не считать того, что все мы говорим на иврите, прошли восемь или больше классов еврейского образования и своих детей тоже отправили в еврейские школы, брали на работе отпуск по всем еврейским праздникам, чтобы провести их в кругу семьи, не раз побывали во многих местах библейского или еврейского национального прошлого, а каждый год по месяцу или больше рисковали жизнью, чтобы защищать и оборонять собратьев-евреев" — вы, несомненно, воскликнули бы: "Боже, благослови Америку за такой "минимум" еврейскости!" Ибо подлинный "минимальный еврей" в Соединенных Штатах (а таких миллионы) конечно же, не делает и не думает делать ничего из перечисленных выше вещей. Увы, эта "минимальная еврейскость" в диаспоре на самом деле исчезающе минимальная, бесконечно малая величина, это последнее мерцание свечи перед тем, как затухнуть навсегда, тогда как в Израиле — это самоподдерживающаяся постоянная, надежный социальный и культурный фундамент, ниже которого ни один еврей не может опуститься".

Галкин сравнивает такое секулярное толкование "еврейскости" с другими, более привычными историческими явлениями. "Некогда, четыре-пять столетий назад, быть французом означало быть католиком, и хотя легко можно было себе представить католика, который не является французом (как сегодня еврея, который не является израильтянином), но мысль о французе, который не католик, была отвратительной, если вообще не чуждой сознанию. Сегодня — но лишь в результате многовековой борьбы — Франция стала вполне секуляризованной страной, в которой католицизм имеет свое законное место, но где, однако, вполне возможно оставаться французом, даже и не будучи католиком. Мы в Израиле находимся в самом начале процесса

строительства нации; тот процесс секуляризации, который более или менее закончился в европейских странах — и еще даже не начался в мусульманских, — у нас еще не окончен, и, наверно, поэтому так велико у нас напряжение конфликта между секулярным и религиозным лагерями; но я нисколько не сомневаюсь, что в дальней перспективе мы последуем той же исторической модели, что Европа и Соединенные Штаты, и в этом, на мой взгляд, состоит вся пресловутая "нормализация" еврейской жизни, о которой так пылко говорили секулярные сионисты и так возмущенно — религиозные евреи. Пусть это означает отказ от идеи, что Израиль как еврейское сообщество имеет какую-то более высокую миссию, нежели просто построить достойное и гуманное общество, в котором граждане смогут следовать любому образу жизни, не противоречащему общественному благу, — я вполне готов отказаться от такой идеи".

Беспокоит Галкина не путь развития Израиля, а гарантия успеха на этом пути. По его мнению, такой успех невозможен, если секулярная израильская интеллигенция окажется способной только на отрицание традиции. Поколение Бердичевского и Бреннера выросло в мире традиции и в своей борьбе с ней точно знало, против чего оно борется. Оно зачастую вело эту борьбу на языке и в терминах такой традиции и именно поэтому, преодолевая ее, одновременно развивало и приспособляло ее для себя. Галкин напоминает о замечательном стихотворении Авраама Шленского "Амаль" ("Тяжкий труд"), в котором этот сионист — строитель дорог сравнивал свой труд с утренней молитвой: "Земля окутана дымкой рассвета, словно молитвенным покрывалом,/И дома стоят, как кубики филактерий,/И дороги, проложенные нашими руками, вьются, как кожаные ремешки". "Это стихотворение, — говорит Галкин, — известно сегодня всем израильским школьникам, но мало найдется среди них таких, которым известно, что такое филактерии, как мало и учителей, способных показать ученикам ту необычную связь причастности и отрицания, с которыми Шленский противопоставляет свой мир миру иудаизма, или ту смелость, с которой он утверждает способность "секулярного" жизненного переживания вызывать то же чувство святости, какое пробуждает религия".

Сегодняшняя израильская секулярная интеллигенция лишена этого знания и этого чувства причастности; в ней мало осталось таких, кто в хедере в детстве изучал Раши и Рамбама,

чтобы, уйдя в университет, с той же страстью изучать Гомера и Данте; "и не найдя замены таким людям, секулярный Израиль стоит сегодня перед своим еврейским наследием, не в силах получить от него ни его богатств, ни его благословений".

"Результатом такого положения является возникновение двух внешне противоположных, а на деле одинаковых подходов к этому наследию. Один из них — ощущение чуждости: "наше еврейское наследие? кому оно нужно? эти штучки — только для ортодоксов да для этих фанатиков из поселений! лучше держаться от них подальше, если не хочешь сам свихнуться". Другой вид отношения к наследию — самоуничтожение: "еврейское наследие? о, как мы в нем нуждаемся! но для этого нужно, увы, обратиться к нашим ортодоксам — ведь оно в действительности принадлежит им, и только они в нем разбираются..." Беда в том, что и в первом, и во втором случае сионизм без всякой борьбы отдается на откуп его религиозным интерпретаторам... Не это ли отсутствие выдержки проявилось в мучительной словесной эквилибристике вокруг "дела Руфайзена", когда суд, торжественно подняв знамя секуляризма, закончил признанием, что на самом деле вся "еврейскость" всегда сводилась и сводится к ее религиозному толкованию? И самое печальное в такой капитуляции состоит в том, что, отказываясь от своего права на прошлое, секулярный сионизм отказывается и от своего права на будущее. Если ты отказываешься от права собственности на унаследованные ценности еврейского прошлого, ты не можешь ожидать, что тебе доверят руководство еврейским будущим".

Галкин заканчивает свой доклад словами: "Бердичевский и другие уже говорили, но пришло время повторить их слова: мы можем быть свободомыслящими и свободно живущими евреями и в то же время сохранять убеждение, что Библия и рабби Акива, и Иегуда Галеви, и Рамбам, и Магарал из Праги, и Баал-Шем-Тов (да и Иисус вместе с Саббатаем Цви тоже!) принадлежат нам в той же мере, как всем остальным. Но это возможно лишь при том условии, что мы возобновим органическую связь с этими великими людьми и с их учением и будем относиться к этой связи и порождаемым ею требованиям с той серьезностью, с какой надлежит относиться ко всякой связи, в которую вступаешь на всю жизнь. Рассказывают, что некогда рабби Акива толковал ученикам Моисеев Закон и в это время в класс вошел сам Моисей. Не опознав ни единого слова своей собственной Торы

в рассказе рабби Акивы, Моисей обратился к нему с вопросом: "Кто научил тебя этим словам?" — на что рабби Акива ответил: "Как это — кто?! Моисей на горе Синай!" Если вы спросите меня, кто научил меня, что можно создать концепцию "еврейскости", которую с негодованием отверг бы рабби Акива, и тем не менее оставаться одним из его сынов, я отвечу: "Как это — кто?! Рабби Акива, как его цитирует Талмуд!" Такова всегда была диалектика еврейской истории, и я не вижу причин отказываться от нее сегодня".

*В минувшем академическом году израильская научная общественность отмечала 80-летие выдающегося ученого, профессора Иерусалимского университета Шломо Пинеса. Весной этого года корреспондент газеты "Ха-арец" Ави Кацман беседовал с профессором Пинесом в преддверии еврейской Пасхи — праздника свободы. Темой беседы было понятие "свободы" и его место в еврейской истории и еврейской религии.*

Поколение Пинеса, эти ироничные люди "Ренессанса XX века", впитавшие, кажется, все богатство мировой культуры, постепенно сходят со сцены. Похоже, что конвейер, производивший на свет энциклопедистов, остановился как раз около 80 лет назад. На смену пришли профессионалы узкого профиля, знающие все об очень немногом.

Впрочем, слово "эрудиция" не производит на моего собеседника особого впечатления. Что ж, он может себе это позволить. "На сегодняшний день бессмысленно даже пытаться очертить границы научных интересов Моше Пинеса, — пишет д-р З.Харви в предисловии к сборнику, вышедшему к юбилею профессора. — Выдающийся знаток истории и философии... Труды в области еврейской религиозной мысли, исламской философии, христианской теологии, истории науки и литературы..." Не говоря уже, добавим мы, о его языковых познаниях: греческий, латынь, санскрит, парси, арабский, турецкий, испанский, славянские языки. И, разумеется, английский, французский, немецкий...

"Видите ли, — замечает Пинес, — то, что вы с таким воодушевлением называете "ренессансностью", приобреталось под

давлением тяжелых жизненных обстоятельств. Не исключено, что потерь тут было больше, чем приобретений. Во всяком случае, я далеко не уверен, что упомянутые вами "энциклопедисты" выбрали сей путь по доброй воле".

Жизненные обстоятельства, сформировавшие самого Пинеса, — это скитания и переезды из страны в страну. Родился он во Франции. Вырос в России. После революции вместе с семьей эмигрировал в Англию. Оттуда перебрался в Берлин, который сразу возненавидел. Учился в Гейдельбергском университете, потом в Женеве и опять-таки в Берлине. В 1940 году вместе с женой и сыном отплыл из Франции в Палестину последним парходом, успевшим выйти из порта до немецкого вторжения.

Начиная с 1952 года (когда впервые после войны стали открываться новые вакансии) преподает в Еврейском университете. Завоевал мировую известность исследованиями в области философии и истории; опубликовал, в частности, ставший классическим перевод "Наставника колеблющихся" Маймонида на английский язык. В 1968 году был удостоен премии Израиля за выдающийся вклад в науку. 12 лет назад вышел на пенсию, но научную и педагогическую деятельность продолжает и поныне.

...Фамилия "Пинес" — испанского происхождения. Во всяком случае, так утверждает семейное предание, за точность которого нельзя поручиться. Но если глубинные истоки находятся в Испании, то в более поздние времена семья осела в Восточной Европе. Отец Пинеса был специалистом по идишистской литературе, а заодно — одним из основателей партии сионистов-социалистов в России.

Мы возвращаемся к теме "эрудиции". Ученость, по мнению Пинеса, это не столько тяжелая (хотя и почетная) ноша, сколько — путь и средство к обретению внутренней свободы. Пинес не отвергает общепринятые установки, но у него нет и особого трепета перед авторитетами. Познание его увлекает: древние тексты он читает с азартом футбольного болельщика. Когда-то он ходил на матчи, сейчас здоровье уже не то, приходится следить за игрой по телевизору. В последнее время он стал предпочитать баскетбол... Возникает ощущение, что для него вся история человечества — тоже одна гигантская арена, арена борьбы идей. Только, в отличие от футбола или баскетбола, игра здесь идет по гораздо более жестким правилам.

Сам Пинес, кстати, всегда болеет за проигрывающую коман-

ду. Сегодня такой командой для него являются евреи-христиане первых веков новой эры — вечно вынуждаемые играть на чужом поле, ненавидимые и евреями, и христианами из язычников, и римлянами, а в конечном счете — потерпевшие поражение и вышедшие из "турнира". Даже сейчас, в свои 80 лет, Пинес готов вылететь первым же самолетом в Париж, где обнаружена древняя рукопись, могущая пролить дополнительный свет на историю этих иудео-христиан.

— Диапазон ваших интеллектуальных интересов чрезвычайно широк. Есть ли в нем какое-то общее направление?

— Нет. Во всяком случае, я такого направления не вижу. То есть, конечно же, всякий раз имеется некоторая проблема, которая представляется мне значимой, занимает меня — и я пытаюсь ее решить. Но почему именно она встает передо мной в данный момент... В значительной степени это дело случая, если хотите — какого-то внешнего раздражителя. Но, разумеется, когда я уже занимаюсь определенной проблемой и ощущаю, что приближаюсь к решению, она, естественно, становится самой интересной и самой актуальной...

Трудно интервьюировать стоиков. Они не чувствуют нужды проповедовать, убеждать, не пытаются добиться признания. Они не обуреваемы праведным гневом. У них нет даже естественного желания потоптать оппонентов, что было бы лакомым куском для собеседника-журналиста. В результате получилось, что Пинес до сих пор ни разу не давал интервью для прессы (за исключением одного коротенького — по телефону — для "А-Цофе").

Он говорит медленно и очень тихо, почти шепотом. Задумывается, уточняет, по ходу дела оттачивая формулировки. Иногда поднимает голову, и тогда я вижу его смеющиеся глаза. Но обычно взгляд его сосредоточен на пальцах, лежащих на подлокотниках кресла. Красивых, аристократической формы, пальцах...

— Уже более 50 лет вы изучаете, что именно люди прошлого думали, говорили и писали о Боге. А сами вы — верите в него?

— Я отказываюсь отвечать на этот вопрос — он практически лишен смысла.

— Хорошо, сформулирую тогда иначе. Вы исследуете метаморфозы, которое претерпевало представление о Боге в различных культурах — еврейской, христианской, исламской, индийской и греческой. Удалось ли вам обнаружить такие представления, которые были бы близки вашему личному мироощущению?

— Видите ли, я не назвал бы себя атеистом, если под "атеизмом" понимать материализм, механистическую картину мира и т.п. Но говорить о Боге... Само по себе произнесение этого слова еще ничего не означает. Все дело в том, каким его себе представлять. На иврите Бог — Элохим, грамматическое множественное число. Для каждого человека Бог — это нечто иное. Эйнштейн, например, заявлял, что Бог "не играет в кости", а вот Гераклит в свое время утверждал в точности противоположное. Он-то, впрочем, слова "Бог" не употреблял, но имел в виду нечто близкое...

— Значительная часть ваших исследований посвящена всевозможным теориям бессмертия и переселения душ. Вы сами верите в это?

— Не могу сказать, чтобы у меня была тут крепкая вера...

— Но все-таки вы считаете, что в этом что-то есть?

— Не исключено.

Во всяком случае, замечает Пинес, идею эту невозможно опровергнуть. Он готов даже признать, что на каком-то этапе своей жизни — он тогда занимался индийскими религиозными текстами — был близок к вере в переселение душ. У него были и другие суеверия, о которых сейчас не стоит распространяться, — например, он до сих пор верит в телепатию. Зато психоанализ он никогда всерьез не воспринимал.

Вопросы веры я затрагиваю исключительно в качестве "журналистской провокации". Известно, что Пинес — в принципе человек неверующий, насколько вообще можно говорить о неверии как "принципе". Он считает, что призвание науки — разрушать устоявшиеся верования, общепринятые установки, почтенные теории. "В основе существования университетов, — сказал он однажды, — лежит вера в то, что знание предпочтительнее невежества. Конечно, и эту предпосылку можно поставить под сомнение, но, по крайней мере, университеты держатся на ней... Пока держатся. Знаете, ведь мнение, будто надо избавляться от предрассудков, — тоже своего рода предрассудок".



— Вы, значит, не просто скептик, но и скептик по отношению к своему собственному скептицизму?

— Скептицизм — это, конечно, довольно удобная позиция... Но все же есть вещи, в существовании которых сомневаться не приходится. Смерть, например.

— У васу самого есть какие-либо предрассудки?

— У каждого человека есть свои затверженные способы поведения и мышления, о которых можно сказать, что они основаны на предрассудках. Но я готов — по крайней мере, в том, что касается привычек интеллектуального плана, — при необходимости этими "штампами" пожертвовать.

— Вы считаете, что рационалистический подход к действительности имеет преимущества перед иррациональным?

— Никоим образом. Более того — совершенно очевидно, что рационализм **не согласуется** с окружающей действительностью. Это, пожалуй, одно из тех, очень немногих утверждений, которые не вызывают сомнений. Даже процесс мышления — и тот не имеет полностью рационального характера. Содержательная мысль, как правило, не является результатом последовательного логического анализа. Вначале "возникает" идея, а уж потом я стараюсь либо доказать ее истинность, либо ее опровергнуть.

— Но ведь без рациональных методов никакое исследование вообще невозможно...

— Разумеется, научное исследование непременно включает определенные рациональные процедуры, так сказать — логическую рутину. Строя теорию, вы обязаны соблюдать правила, прибегать ко всем этим ходам... Но это уже на более позднем этапе, уже после той первоначальной интуиции...

Неверие у Пинеса не стало "верой наоборот". В нем нет священного неистовства "сокрушителя идолов", которое, по сути, не что иное, как то же исступление идолопоклонства в новом обличье. Пинес не делает из неверия кумира — для него оно остается, так сказать, замечанием на полях, пояснением в скобках, призванным напомнить, что речь идет всего лишь об "игре", этаким всемирном футболе идей. Игре, конечно, грандиозной, но все же не настолько, чтобы ради нее стоило убивать.

— В одной из ваших работ вы приводите определение свободы, данное Сартром. У него свобода — это антипод серьезности. Вы пишете, что "по Сартру, человек не может быть свободен, если он не относится к жизни как к игре, ибо для того, кто ощущает себя свободным, все, что бы он ни делал, есть игра". Вы согласны с Сартром?

— Это нельзя назвать исчерпывающим определением. Я не уверен, что дело всегда обстоит таким образом. Вполне могу себе представить серьезного человека, который высоко ценит свободу... Но какая-то доля истины здесь, безусловно, есть. Не следует только забывать о тающихся здесь опасностях — знаете, Нерон, поджегший Рим, он ведь тоже типичный "человек игры".

— У стоиков и эпикурейцев свобода является достоянием мудрецов, освободившихся от тирании страстей. Вы замечаете в этом известную аналогию с традиционным еврейским подходом, согласно которому "воистину свободен лишь тот, кто занимается изучением Торы". Получается, что лишь мыслитель, способный смотреть на происходящее вокруг отчужденно, со стороны, — он и есть подлинно свободный человек?

— Стоики и эпикурейцы действительно придерживались такого мнения. Не могу сказать, что я здесь с ними полностью солидарен. В том смысле, что такого рода свобода не кажется мне особенно соблазнительной... Они считали, что не следует давать волю сильным страстям. Дозволены лишь умеренные желания, которые наверняка не приведут к серьезным отклонениям от достигнутого человеком внутреннего равновесия.

— Ну, хорошо, а есть ли вообще у понятия "свобода" какой-то аспект, так сказать, практический, кроме внутренне-духовного? Можно ли, к примеру, говорить о нашем реальном мире как о мире свободном? Вы, помнится, предпочитали говорить о "так называемом свободном" западном мире...

— Что ж, мы действительно живем в свободном мире. Это означает, что люди, принадлежащие к самым широким слоям населения, практически могут поступать так, как они считают нужным. Сегодня это для них — наличная данность, и потому свобода потеряла в их глазах свое очарование. Она является теперь как бы изначальным условием существования, вроде воздуха, которым мы все дышим, не задумываясь. Поэтому смысл ее утерян...

— Вы согласны с Маркузе, утверждавшим, что расширение

спектра "дозволенно-возможного" подавляет человека?

— Разумеется, это верно. Существенное расширение спектра "дозволенно-возможного" служит прекрасным средством порабощения человека, оно лишает человека переживания свободы — ведь свобода переживается лишь "на границе". Теперь же она воспринимается как нечто само собой разумеющееся, как часть повседневной рутины. С формальной точки зрения понятие "свободы" еще существует, поскольку мы продолжаем им пользоваться, но сама жизнь лишена **переживания свободы**. За исключением тех моментов, когда стране и обществу грозит опасность и люди готовы встать на их защиту. В остальном жизнь переживает как рутина — или как ощущение комфорта.

— Иными словами, вы утверждаете, что в западном обществе смысл свободы свелся к комфорту, к "мясным горшкам"?

— Да, комфорт... плюс та доля опасности, которую вы сами себе выбираете — идя, скажем, в альпинисты или еще что-нибудь в том же роде...

— Но возможно ведь и более глубокое переживание свободы?

— Да, это свобода, которая постоянно находится под угрозой. Свобода как борьба за достижение свободы, как стремление к ней. И это существует.

— Если вернуться к дефинициям — какое из различных толкований свободы ближе вам лично?

— У Спинозы мы обнаруживаем два различных подхода. Если воспринимать их серьезно, то есть в качестве жизненного кредо, то тут налицо явное противоречие. С одной стороны, говорится о свободе как об осознанной необходимости, а с другой — свободным называется человек, мышление которого не есть мышление в категориях добра и зла.

— Вам ближе второй подход? Что-то вроде "сверхчеловека" Ницше?

— Да, когда Ницше наткнулся на эту мысль Спинозы, она произвела на него неизгладимое впечатление.

— Так что же, по-вашему, это и есть истинное определение свободы?

— Скажем так, мне это определение по душе.

— И это означает, что вы можете оставаться безразличным к происходящему вокруг?

— Безразличным — нет. Но, по крайней мере, не судить, не выступать в роли еще одной судебной инстанции...

Ироническая интонация, с которой он говорит о нескончаемой борьбе великих идей и концепций, адресована в равной мере и самому иудаизму. Еврейская религия внесла колоссальный вклад в духовную историю человечества — подарила ему идею Личного Бога. Что может с этим сравниться? "Ничего, — соглашается Пинес. — Разве что — вклад великих отступников от этой идеи, будь то Спиноза или Эйнштейн. И даже (уж прямым или косвенным образом — это другое дело) Маркс и Фрейд".

Кстати, по мнению Пинеса, еврейским вкладом в историю человечества можно считать и современное понятие свободы. Только истоки его надо искать не в Танахе и не в "истеблишментском" иудаизме времен Второго Храма, а в идеологии еврейских "диссидентских сект" 1-го века новой эры. Пинес отмечает, что в Танахе слово "херут" ("свобода") вообще не встречается, а близкое по смыслу слово "хофеш" употребляется исключительно в узко юридическом смысле — речь идет о рабе, получающем "вольную".

Нет слова "свобода" и в написанной изначально на иврите Первой книге Маккавеев — во всяком случае, насколько можно судить по дошедшему до нас греческому переводу. И это при том, что она целиком посвящена борьбе народа против иноземного владычества.

"Так что, — говорит Пинес, — судя по всему, только злоты-сикарии впервые ввели в употребление термин "херут", создав оригинальную **идеологию освобождения**, имевшую религиозно-политическую окраску и обосновывавшую необходимость восстания. Подобной идеологии, кстати, мы не встречаем у других покоренных народов той эпохи".

"Конечно, — продолжает он, — идея эта не появилась на пустом месте. Она возникла в результате контактов с окружающим греко-римским миром, где существовало разработанное понятие свободы (свободы гражданина и свободы философа) и, более того, свобода гражданина была — в периоды демократии — наличным фактом. Ее тоже приходилось защищать с оружием в руках, но в принципе она рассматривалась как нечто изначально данное, как состояние, соответствующее самой природе греков".

"У евреев же — за исключением эпохи Судей — свобода никогда не была "данностью" общественного устройства и не казалось чем-то само собой разумеющимся. Поэтому, будучи пере-

веденным на иврит, греко-римский термин превратился в **призыв к свободе**, приобрел пафос **борьбы за освобождение**".

"Наряду со стремлением к независимости существовала и тяга к освобождению иного рода — то, что можно назвать тенденцией к **интериоризации** понятия свободы. Такая тенденция заметна в раннем христианстве — например, у апостола Павла, у которого она появляется на фоне **неудачи** восстания против Рима или, во всяком случае, на фоне ясного осознания неизбежности поражения. Здесь стремление к свободе обращено **вовнутрь**, то есть в данном случае — против заповедей и предписаний иудаизма. Такая свобода может с течением времени вылиться в свободу вообще от каких бы то ни было ограничений и обязательств, свободу от морали..."

— Мы, давшие миру идею "освобождения порабощенных народов", сегодня не слишком отличаемся на поприще претворения этой идеи в жизнь...

— Мы дали миру... собственно, это зелоты-сикарии выступили здесь в качестве "авторов" /я, разумеется, не имею в виду современных "сикариков"/. Так вот, сначала тогдашние сикарии создали понятие "свободы как освобождения", потом первохристианская община /состоявшая из евреев/ внесла свой вклад в развитие другого, "внутреннего" аспекта этого понятия... Это позже христианство приобрело солидность и, хотя не без бунтов, но стало, в целом, еще одним религиозным "истеблишментом". Что же касается еврейских мудрецов времен Талмуда, то они как раз отвергали и идею национального освобождения, и уж тем более идею освобождения от "ига заповедей". Результатом и явилось то, что мы сейчас имеем в качестве иудаизма.

Значит, не выказывая сейчас особого сочувствия, скажем, палестинцам в их стремлении к национальному освобождению, мы как бы верны нашему историческому наследию?..

— Ну, тут не надо преувеличивать. То, что сейчас происходит у нас, — это, в некотором смысле, вещи вполне естественные. Они происходят с любым народом, попавшим в определенную ситуацию. Это не что-то, характерное именно для иудаизма, для еврейства.

— Вы пишете, что израильская демократия "представляет собой исключительное явление в еврейской исторической традиции и в значительной степени есть результат борьбы *против*

этой традиции. Борьбы иногда сознательной и открытой, иногда, может быть, несознательной, но — борьбы.”

— Принято считать, что мы принадлежим к так называемому свободному миру /оправдано такое название или нет — это уже другое дело/. Один французский писатель заметил, что лицемерие является той данью, которую порок вынужден платить добродетели. Вот и у нас, как во всех приличных странах, говорят о правах человека. Говорят, как бы это помягче выразиться, с изрядной долей лицемерия. И все это прекрасно понимают. На самом же деле понятие ”прав человека” вовсе не является частью традиционного еврейского наследия. И тот факт, что мы стараемся воспринять его как ”свое”, есть прямое следствие нашего стремления ощущать себя частью западного мира — мира, который называют ”свободным”.

— Так где же мы все-таки сейчас находимся? Как бы вы определили наше ”местоположение” по отношению к свободе?

— По существу, мы здесь не слишком отличаемся от других западных стран. Ведь и у них понятие прав человека возникло не в столь уж давние времена. Просто оно там уже стало обязательным атрибутом политического словаря, по этому поводу считается неприличным не отметить. У нас же... Если судить по публикациям в печати, мы иногда вдруг лихорадочно бросаемся отмечаться, а иногда как будто начисто забываем, что такая проблема вообще существует... И заметьте — лицемерию здесь принадлежит весьма важная роль, при чем вовсе не обязательно негативная: иногда тема ”прав человека” и существует-то исключительно благодаря лицемерию, которое не позволяет предать его забвению. Иногда же лицемерие выступает в роли сдерживающего фактора, предотвращающего какие-то более серьезные нарушения прав человека...

Еврейскую Пасху традиционно считают праздником свободы. По этому поводу Пинес в одной из своих работ пишет следующее: ”Похоже, что ни в Танахе, ни в других — неканонических — текстах, созданных до *появления* на свет первой версии пасхальной агады /а появилась она либо сразу вслед за разрушением Храма, либо — по другим оценкам — вскоре после поражения восстания Бар-Кохбы/, ни в одном из этих ранних источников не удастся обнаружить высказывания, которые напрямую связывали бы понятие ”свободы” с праздником Исхода”.

По словам Пинеса, связь эта выявилась лишь гораздо позже, в начале новой эры, когда евреи переосмыслили греко-римское понятие свободы в применении к ситуации порабощенного народа. Пасхальная агада составляет как раз в тот недолгий период, когда стала популярной "идеология освобождения", и именно тогда эта идеология была задним числом спроецирована на Исход из Египта.

Парадоксально, но факт: именно благодаря "эллинистически ориентированным кругам еврейства, находившимся под влиянием идей, имевших хождение во "внешнем" мире, — именно благодаря им отсутствовавшая в древнем иудаизме концепция личной свободы приобрела такое значение при дальнейшем его развитии. Наша история вообще богата такого рода парадоксами, зачастую ускользающими от внимания наблюдателя. Пинес считает, что не кто иной, как мудрецы Талмуда, способствовали здесь утрате исторической памяти.

— Значительные эпизоды истории еврейского народа до сих пор практически не изучены. Вы видите причины в том, что источники в свое время были подвергнуты цензуре?

— С того времени, как в иудаизме безраздельно воцарилось течение, представленное мудрецами Талмуда, историография, как таковая, была уничтожена. Танах, заметьте, рассказывает нам, помимо всего прочего, и о древней истории народа — а вот о том, что происходило с евреями потом, мы уже почти ничего не знаем. За исключением тех сведений, которые нам сообщает Иосиф Флавий, каковой, как известно, "негодяй", "изменник" и все такое прочее.

— Что же, собственно, хотели утаить мудрецы Талмуда?

— Прежде всего — саму жизнь как она есть. Оставили только то, что имело отношение к Галахе, а историю — историю как резинкой стерли. Стерли, к примеру, практически все, что касается правления Хасмонеев — кроме нескольких считанных деталей. Ведь если оставить историю... История по сути своей есть нечто постоянно движущееся, меняющееся. А задача была — построить такую систему, которая не оставляла бы возможностей для "уклонов". Посему стремились исключить даже само упоминание о явлениях, в систему не вписывающихся. Чтобы, так сказать, избежать соблазна. Возьмем, к примеру, возникновение христианства. Событие — с каким бы знаком его

не оценивать — грандиозное, а в наших источниках оно обойдено полным молчанием.

— Но что-то мы все-таки знаем об этом периоде?

— Что-то, разумеется, знаем. Знаем, что в то время в иудаизме были разные группировки, секты. Множество сект, одной из которых было христианство. Иудаизм был тогда плюралистичен. То есть секты, по-видимому, страдали от нетерпимости, но во всяком случае, все эти группы существовали...

— Эта нетерпимость... Можно ли назвать ее глубоко присущей еврейству чертой?

— В определенном смысле — да. Нетерпимость присутствует уже в Танахе. Но там одновременно налицо и другие тенденции.

— Возвращаясь к цензуре. Какие еще исторические периоды мудрецы Талмуда пытались замолчать, кроме эпохи Хасмонеев и возникновения христианства?

— Восстание против Рима и события вокруг разрушения Храма. Только то, что Иосиф Флавий описал, то и вошло в историю, а остального — как будто и не было. Да и потом... Правда, потом евреи уже жили в диаспоре, и не так уж много приходилось стирать, но все же что-то происходило. Происходило без того, чтобы быть зафиксированным в традиционных еврейских источниках. Скажем, если бы мудрецы Талмуда писали историю XIX-XX веков — о чем бы они писали? О литовских ешиботах? — Наверное. О хасидах и миснагедах? — Не исключено, что упомянули бы последних; в крайнем случае упомянули бы вскольз обоих — и только. А ведь то была эпоха, в которую — возможно, впервые с начала эры — евреи оказывали поистине формообразующее влияние на мировую культуру. Причем, на сей раз не только в области словесности. Евреи "пошли в науку", где добились выдающихся результатов. Когда-то Вольтер — повторяя обвинение антисемитов древности — утверждал, что евреи ничего не открыли. Начиная с XIX века, со второй его половины, такого уже никак не скажешь. И эта важнейшая составляющая еврейской истории была бы напрочь обойдена.

— Что же, они и сионистское движение не упомянули бы?

— Разумеется, и сионистское движение тоже. Представьте себе, что историю двух последних столетий пишет рав Шах.

— Получается, что в еврейской истории периода Мишны и Талмуда зияет огромная черная дыра, и о том, что реально



происходило тогда в жизни народа, мы, по существу, ничего не знаем.

— Точнее говоря, знаем, но очень не много, и сведения наши, как правило, — из внешних нееврейских источников.

— Вы видите в этом смысле сходство между Талмудом и Большой Советской Энциклопедией?

— Советская Энциклопедия тоже постаралась зачеркнуть историю, но, скажем Троцкого, по крайней мере, упомянула. То есть, разумеется, написано, что он предатель и враг народа, но имя-то названо. Талмуд бы Троцкого и словом не помянул.

— И что, такое "уничтожение истории" может повториться?

— Я думаю, что может случиться, — если в еврействе возобладают фундаменталистские тенденции.

— Но почему для нас так уж важно знать историю? Неужели нельзя удовлетвориться актуальными газетными заголовками: сегодняшними, завтрашними — газеты ведь все читают? Что, собственно, мы потеряем, если не будем знать, кто такой был Троцкий?

— Возможно, что мы ничего и не потеряем, но с другой стороны, если мы не будем знать, кто такой был Троцкий, то у нас есть все шансы слишком хорошо — на собственной шкуре — узнать, кто такой был Сталин. Так что факты истории сохраняют определенную значимость и для будущего. Они, кстати, во многом определяют идеологию этого будущего. Если бы, скажем, "изменник" Иосиф Флавий не написал про Масаду, то никто про нее и знать бы не знал. И не было бы у нас государственного культа Масады...

Исследования в области истории еврейской мысли приводят Пинеса к выводу, что "еврейская мысль" как единое понятие — это не более, чем фикция. На самом деле, речь идет о целом ряде принципиально различных течений мысли. Действительно, в некотором смысле, все они питаются из общего источника, но при этом каждый выдающийся еврейский мыслитель испытывал на себе чрезвычайно сильное, можно сказать — решающее влияние доминировавшей в его время культуры — будь то культура греческая, мусульманская или немецкая.

Существует ли в таком случае израильская культура как таковая? Пинес отвечает утвердительно. Можно ли ее как-то более или менее четко охарактеризовать — как, к примеру, мы

характеризуем греческую или немецкую культуру?

"Я бы не взялся... Впрочем, это иллюзия думать, что греческую или немецкую культуру можно четко охарактеризовать. Культура ведь создается людьми, и потому здесь нет ничего устойчивого, все постоянно меняется... Вот, к примеру, была такая известная французская писательница мадам де Сталь. Одна из ее книг, "Книга о Германии", была целиком посвящена немецкой культуре. Заметьте, у мадам де Сталь в течение многих лет был немец-возлюбленный, так что она знала предмет, так сказать, изнутри. И что же пишет мадам де Сталь о немцах? Она пишет, что в этом народе соединились все добродетели, за исключением одной, которая у него, увы, безнадежно отсутствует, — воинственности..."

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА--ИЕРУСАЛИМ"

Новая книга

АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ

ПО ТУ СТОРОНУ УСПЕХА

Новая книга известного ученого и публициста, автора "Трепета забот иудейских", посвящена возрождению еврейского национального сознания в России, встрече с политической и духовной действительностью современного Израиля, осмыслению сегодняшних еврейских проблем. Статьи разных лет, собранные в этой книге, объединены стремлением понять скрытый смысл еврейского существования и предназначения в истории.

300 стр.

16 долларов

Мы, русские, обладаем многими замечательными качествами, которые дают нам неоспоримые основания чувствовать свое духовное превосходство над всеми прочими обитателями планеты. Одним из этих качеств является такое, которое можно назвать лингвистическим целомудрием. В обычной жизни мы без мата и скабрёзностей шагу ступить не можем. Но стоит кому-то в печати или в публичной речи употребить невинное словечко вроде "жопа", как подымется буря нравственного негодования. Во избежание обвинений в безнравственности нам приходится точные и выразительные слова, считающиеся неприличными, заменять ужасающе серыми, скучными и туманными их синонимами. Вместо слова "жопа", например, мы употребляем выражения вроде "задняя часть тела", "часть тела, противоположная голове" или "то, чем сидят на стуле". При этом мы мнемся и сопровождаем такие перлы красноречия подленьким смешком. Задуманная ясность и красочность речи пропадает. А порою вообще приходится мычать нечто невразумительное, поскольку выражения вроде "А ты, Петр Иванович, есть типичная жопа!", "Наш отдел оказался в

*Александр Зиновьев*

### **В ЖОПЕ РОССИИ**

(Отрывки из неопубликованного по-русски романа "Катастрофка")

жопа" или "Пошли вы все в жопу" не имеют адекватного эквивалента в общественно одобряемом языке.

В этой связи слово "жопа" заслуживает особого внимания. В неофициальном языке оно достигло степени общности и универсальности, позволяющей поставить его в один ряд с такими философскими категориями, как "материя", "сознание", "пространство", "время", "движение". В социологическом исследовании советского общества без понятия "жопа" вообще нельзя построить даже самую простую теорию. Недавно на Западе по телевидению выступил один бывший брежневский холуй, изображающий теперь жертву брежневского террора и холуйствующий перед Горбачевым. Он битый час мямлил всякую чепуху по поводу сущности перестройки. Потом, набив десяток чемоданов западным "барахлом", включая видео и компьютер, нажравшись и напившись за чужой счет, он в приступе пьяной откровенности охарактеризовал всю перестройку одним словом "жопа". Он произнес это слово с почтением, с каким в свое время произносил слово "материя", сдавая экзамен в Университете Марксизма-Ленинизма. И всем присутствовавшим сущность перестройки стала ясной без лишних слов.

#### **Вне истории**

Выражения "сердце России", "душа России" и "мозг России" давно вошли в язык литературы. Их употребление оправдано тем, что социальные организмы во многом подобны биологическим. Но в таком случае вполне правомерно употреблять и выражение "жопа России". Вот вам пример того, что синонимы понятия "жопа", которые приводились выше, не обладают философской и социологической значимостью.

О мозге, сердце и душе России написано много. А вот о жопе России написано очень мало, хотя эта часть тела России не менее важна, чем прочие части. Причем, все писавшие о ней стыдились называть ее собственным именем, употребляя более интеллигентные выражения вроде "недра", "глубины", "толща". От этого, однако, русские нравы не становились благороднее, зато страдала истина. И сама эта часть социального организма не переставала существовать от того, что ее называли несоответствующими ей именами.

Именно такую роль жопы России до последнего времени играл

город Партград с окружавшей его областью. Выражаясь языком высокой философии, Партград до недавнего времени вообще не жил исторической жизнью. Он где-то и как-то существовал, в нем что-то происходило, но все это не стоило того, чтобы называться историей. И даже не то, чтобы не стоило, а скорее то, что считалось нестоящим. В Партграде можно было открыть Америку или атом, изобрести велосипед или даже автомобиль, но человечество все равно не обратило бы на это внимания. И сами партградцы знали это лучше других. Они считали, что у них и с ними не могло быть ничего такого, что стоило бы даже их собственного внимания. Даже открыв Америку или изобретя автомобиль, они сочли бы это пустяком в сравнении с изобретением приборчика для прокальвания яичной скорлупы в жившей исторической жизнью Германии.

И все же в Партграде имело место пусть внеисторическое в философском смысле течение событий во времени, можно сказать — своя провинциальная историйка или историшка. Познакомиться с ней вкратце полезно хотя бы потому, что и в жопе социального организма происходят события, не менее важные для него, чем события в мозгу, в сердце и в душе.

#### **Происхождение названия**

Первоначальное название Партграда было Князев. Первые упоминания о Князеве встречаются уже в самых древних русских летописях. Согласно последним, Киевский князь Олег, направляясь с дружиной против хазар, несколько дней отдыхал в некоем "граде", который после этого стали называть Князевым. Возвращаясь из победоносного похода, Олег вновь посетил Князев. Там его укусила Бог весь откуда взявшаяся змея. От ее укуса Олег и умер. В краеведческом музее Партграда на самом видном месте висит картина местного художника, на коей князь Олег изображен в тот самый момент, когда его укусила змея. Картина написана по мотивам знаменитого стихотворения А. С. Пушкина "Песнь о вещем Олеге".

Некоторые прогрессивные советские историки отвергают гипотезу насчет смерти Олега в Князеве на том основании, что в Партградской области вообще не водятся змеи. А главное — змея не могла укусить Олега, так как он был одет в железные латы. Но сторонники змеиной гипотезы, в свою очередь, опровергают

аргументы противников следующими контраргументами. Во-первых, в те времена никаких областей еще не было. Во-вторых, климат тогда был мягче, и змеи водились даже севернее Москвы. В-третьих, змею могли подбросить враги Олега. А что касается железных штанов, то змея могла подкараулить князя в тот момент, когда он спустил железные штаны, справляя естественную нужду.

Жители соседних с Партградом городов считают, что князя Олега змея укусила не в Партграде, а у них. Во Франции несколько населенных пунктов спорят относительно родины д'Артаньяна, а в Испании — относительно родины Дон Кихота. В России же, как видите, спорят насчет того места, где змея укусила легендарного князя Олега. Чувствуете разницу? Между прочим, и насчет места, где удушили бывшую царицу Марью, тоже идет спор между многими русскими городами. В связи с этим произошел один забавный курьез. Бывшего второго секретаря (т. е. секретаря по идеологии) городского комитета партии назначили деканом исторического факультета университета. Выступая на заседании ученого совета по упомянутой проблеме, он сказал, что "все большее число населенных пунктов области включается в социалистическое соревнование за звание города, в котором произошло укушение князя Олега змеею и удушение бывшей царицы Марьи". При Горбачеве этого партийного работника вновь выдвинули на партийную работу, причем — с повышением, т. е. уже на областной уровень. Выдвинули как выдающегося ученого с целью повысить интеллектуальный уровень руководства.

Во времена Ивана Грозного Князев переименовали в Царев, поскольку Великий Князь Московский получил титул Царя. После Октябрьской революции 1917 года город был переименован в Троцкий. В двадцатые годы Сталин начал борьбу против культа личности Троцкого, и город назвали именем героя Гражданской войны Тухачевского. После расстрела Тухачевского как врага народа городу присвоили имя соратника Сталина Ежова. После ликвидации последнего Сталин назвал город своим именем, — Джугашвилиград. После смерти Сталина городу присвоили имя Гражданск. Но это название удержалось всего несколько лет: город назвали именем самого Хрущева. После падения Хрущева город некоторое время вообще был без названия. Брежнев настоял на том, чтобы город назвали именем его фронтового друга маршала И. С. Рукосуева, раненого в конце войны шальной пулей и

умершего в госпитале в этом городе. В конце правления Брежнева город по непонятным причинам и как-то незаметно переименовали в Брежневск. Андрóпов, став Генеральным Секретарем ЦК КПСС, велел назвать город в честь партии его теперешним именем — Партград, — полагая, что это будет естественным продолжением старинной русской традиции. Трудно предсказать, как долго продержится это название. Партградские подхалимы Горбачева вроде бы обратились в Москву с просьбой переименовать город в Горбачевск. Но им ответили, что для Горбачева зарезервирован Ставрополь. Скорее всего город будет назван именем Сусликова, который прошел в Партграде путь от рядового сперматозоида до Первого секретаря Областного комитета партии. Сейчас Сусликов — секретарь ЦК КПСС, скоро будет членом Политбюро. Так что он имеет полное право на город своего имени.

### **Предыстория Партграда**

На территории Партграда никогда не производились археологические раскопки. Однако именно здесь были сделаны самые сенсационные открытия в советской археологии. Произошло это при следующих обстоятельствах. Еще в тридцатые годы в городе сломали главный собор, намереваясь на его месте воздвигнуть (по примеру Москвы) величественное здание, в котором должны были разместиться партийные и правительственные учреждения области. Выкопали глубокий котлован для фундамента. Но потом стройку забросили по тем же причинам, по каким на месте сломанного храма в Москве сделали не Дворец Советов, а бассейн. Когда (уже после войны) стали расчищать котлован без всякого намерения или с намерением просто построить глубокую яму, то обнаружили скелет доисторического человека. Ученые установили, что скелет принадлежит самому древнему человекообразному существу на Земле. Его называли партопитеком. Партопитек имел приплюснутый череп, немногим превосходящий череп шимпанзе. Передвигался он на четырех конечностях, лишь иногда вставая на задние конечности. Ученые сделали вывод, что человек в Партоградской области "возник спонтанно, из местных животного-растительных ресурсов" (как сообщали газеты), причем — произошло это значительно раньше, чем в Лондоне, Париже, Риме и тем более Нью-Йорке.

Старики, однако, утверждали, что скелет принадлежал извест-

ному в городе до войны пьянице, который действительно имел приплюснутый от частых побоев и падений череп, передвигался обычно ползком от одной питейной точки до другой и вставал на задние конечности только для того, чтобы дотянуться до стойки за водкой или пивом. Этот пропойца якобы свалился в котлован в состоянии сильного перепития, где его засосало в грязь. В доказательство своих утверждений старики ссылались на то, что у партопитека были запломбированные зубы, и около него нашли значок "Ворошиловский стрелок". Но так как заявления стариков не соответствовали тогдашней установке высшего руководства на приоритет России во всем, включая процесс превращения обезьяны в человека, то стариков посадили в лагерь строгого режима за клевету на советский общественный строй. Старикам повезло в том отношении, что лагерь находился на территории области, и они закончили свой жизненный путь, можно сказать, дома.

Потом строители ямы нашли кусочки бересты с непонятными письменами. Ученые расшифровали письмена и выяснили, что письменность на территории Партграда возникла задолго до Древней Греции и даже Египта. Первыми словами предков жителей Партграда были ругательства, которые теперь так полюбили советские интеллектуалы и знатоки советского общества на Западе, изучающие русский язык по словарям нецензурных выражений. Прогрессивные советские лингвисты (структуралисты) развили на основе партградского открытия целую теорию, согласно которой русский мат является самым древним праязыком в истории человечества. Особо прогрессивные ученые пошли еще дальше в своих дерзаниях: они обнаружили зачатки мата уже у партградских коров, овец и даже кур. Но так как эти идеи поставили под сомнение тезис марксизма о происхождении человека от обезьяны, их авторов раскритиковали в местной печати и направили на лечение в местную психиатрическую больницу.

### **Писаная история Партграда**

Как уже было сказано, первые сведения о Партграде встречаются в самых древних русских летописях. Но затем никаких упоминаний о нем в исторических документах не было. Лишь недавно партградские ученые открыли, что в Партграде не прекращалась богатая событиями жизнь и в те годы, о которых ров-



ным счетом ничего не известно. В частности, в связи с тысячелетием крещения Руси выяснилось, что партградцы крестились на две недели раньше, чем киевляне. Киевский князь Владимир колебался, принимать христианство или мусульманство, — он не знал, какая между ними разница. Узнав, что партградцы приняли христианство, он возмутился таким нахальством и присвоил приоритет себе.

В Партграде крещение осуществил легендарный князь Игорь, внук легендарного Олега, укушенного легендарной змеей. Согласно газетам, этот Игорь был реформатором вроде Горбачева. Благодаря его реформам Партград поднялся на уровень высших мировых достижений тех времен. Поскольку тогда вершиной прогресса был феодализм, то перед Партградом стояла задача догнать передовые феодальные страны в экономическом, политическом и культурном отношении. На дворце князя красовался лозунг: "Да здравствует феодализм — светлое будущее всего человечества". А на первом христианском храме водрузили лозунг: "Вперед к победе крепостничества!". Были учреждены устные глашатаи, которые ходили по городу и выкрикивали информацию о событиях в мире и в Партграде, приложив для усиления звука ладони рупором ко рту. Тогда-то впервые в мировой истории появилось слово "гласность". Его образовали от слова "голосить", означавшего истощные вопли, от которых даже мертвые ворочались в гробах. Князь Игорь задолго до Петра Великого задумал прорубить окно в Европу. Но он еще не знал, где эта Европа находится, и прорубил его не в ту сторону, а именно — в Азию. Партград в результате погрузился во мрак и тьму. И застойный период там продолжался вплоть до Горбачева.

Во время татаро-монгольского нашествия монголы (или татары?) обошли Партградскую область стороной. Только один раз отряд монголо-татар показался на том берегу речки, отделявшей не столько Партград от внешнего мира, сколько внешний мир от Партграда. Жители города открыли ворота (это — фигуральное выражение, так как никаких ворот в городе вообще не было), дружно наложив в штаны (то же фигуральное выражение, так как жители Партграда тогда еще не носили штаны) и вынесли огромного размера хлеб-соль, приготовившись к безоговорочной капитуляции. Но татаро-монголы, устранившись зловония, исходящего из города, и приняв хлеб-соль за Троянского коня, уска-

кали прочь. В результате Партградскому князю Пустославу пришлось целый год обивать пороги в Золотой Орде с просьбой принять дань от области. Говорят, что именно тогда возникла исконно русская идея выплачивать пятилетнюю дань в четыре года. Выражение "обивать пороги" употреблено здесь исключительно из эстетических соображений, так как у татар и монгол никаких порогов вообще не было.

Во времена смуты начала семнадцатого века отряд Лже-Лже-Лже-Дмитрия по ошибке забрел на окраину Партграда. Но неизвестный крестьянин отвел поляков подальше от греха в соседнюю область и передал их с рук на руки Ивану Сусанину. Потом этот крестьянин, узнав, что про Сусанина сочинили оперу, горько сожалел о том, что не завел поляков в трясины сам. Но было уже поздно. Поляки завязли в трясине социализма по уши независимо от Партграда. И даже Римский Папа, назначенный американцами из поляков в надежде на то, что он вернет Польшу в лоно западной цивилизации, примирился с этим историческим фактом.

Все великие события русской истории обходили Партградскую область как-то стороной или глохли в ней бесследно. В других областях происходили крестьянские бунты, а в Партграде в ответ на это производились всеобщие порки населения. Впрочем, людей тут пороли и без этого. Пороли на всякий случай, чтобы "неповадно было", по традиции. Когда наступали "либеральные" периоды, и порки откладывались или ослаблялись, население области само проявляло инициативу. Мужики спускали драные штаны, бабы задирали драные юбки, и все лупили друг друга по тощим задам хворостиной, которая в изобилии водилась в области.

### **Революция в Партграде**

Хотя идеи коммунизма были изобретены в самом центре цивилизации, на Западе, реальное коммунистическое общество впервые появилось на ее периферии — в России. Поговорить о коммунистическом земном рае западные люди еще могут себе позволить иногда, но жить в этом раю они предоставляют народам внеисторическим, русским в первую очередь. Последние привыкли жить по-свински.

Хотя социалистическая революция произошла в столице Российской империи, родившееся в ее результате новое общество достигло зрелости прежде всего в русской провинции вроде Партград-

ской области. И это произошло тоже не случайно. Социалистическое (или коммунистическое) общество оказалось на практике обществом провинциальным по существу.

Никаких революционеров в Партграде до революции вообще не было. Не было и большевиков. Советскую власть в области установили сами эксплуататорские классы сразу же после Февральской революции, т. е. раньше, чем в Петрограде и Москве. Сделали они это в силу политической безграмотности. Когда Ленин велел временно снять лозунг “Вся власть советам”, в Партграде его не послушали. Не послушали, во-первых, по той причине, что ничего о Ленине не знали. А во-вторых, на лозунги ушло много красной мануфактуры и краски, что стоило немалых денег. И студент, писавший лозунги, куда-то исчез. Новые лозунги писать было некому.

Переход к новому социальному строю в Партграде произошел без всякого шума и кровопролития. Городские власти назвали старые учреждения новыми именами, увеличили их раз в десять и заполнили их выходцами из народа. Совершив это историческое дело, бывшие эксплуататорские классы отправили ходоков к Ленину. Но тот их не принял. Он не мог поверить, что в Партграде советская власть появилась раньше, чем в Петрограде, причем — без участия Троцкого. И где этот Партград?! Что-то он, Ленин, не слышал о таком. Партградские ходоки в Петрограде спились. Эксплуататорские классы Партграда уехали в Париж. А советская власть тут осталась надолго и всерьез. Судя по всему — навечно, так как никакое человеческое воображение не в силах выдумать для этих мест ничего иного. И теперь трудно поверить в то, что в этих местах когда-то не было советской власти. Но было ли это на самом деле? Похоже на то, что власть тут всегда была советской, только она называлась иначе.

#### Послереволюционный период

Гражданская война тоже обошла Партградскую область стороной, так как обе враждующие армии (красные и белые) боялись завязнуть в болотах и заблудиться в лесах, где бродили стаи голодных волков, пожиравших без разбора как красных, так и белых. После окончания войны в Партграде появились большевики. По одним сведениям, они пришли из голодающей Москвы, по другим — возникли из собственных дезертиров, прятавшихся в боло-

тах еще с 1914 г. После смерти Ленина до Партграда дошел слух, будто в Москве объявлен призыв вступать в партию, — ленинский призыв. Десятки тысяч партградцев устремились в партию. Если бы из Москвы не дали указание приостановить наплыв в партию всех без разбора, то все сто процентов взрослого населения области стали бы членами партии. После окрика Москвы в Партграде начался обратный процесс, — все без разбора стали покидать партию. Если бы не начали арестовывать и отсылать в исправительные лагеря таких беженцев, то Партград так и остался бы беспартийным.

В Партграде все стало происходить то с опозданием сравнительно с Москвой, то с опережением. Ленинский НЭП начался лишь после того, как он кончился в Москве. Но не успел он набрать силу, как началась коллективизация. Зато теперь Партград оказался впереди прогресса: в колхозы вступили все те, кого следовало бы считать кулаками. Опять вмешалась Москва, и из колхозов повыгоняли даже бедняков. Пришлось создать свой исправительно-трудовой лагерь для них. С началом индустриализации крестьяне устремились в города, бросая опустылевшую и уже ничего не рожавшую землю. Наряду с упомянутым лагерем пришлось создать новый, укомплектовав его беженцами из деревень. Потом в оба лагеря стали сажать всех без разбора, причем — и из других областей. И эти лагеря стали первыми в области предприятиями республиканского значения.

В тридцатые годы в Партграде дважды арестовывался полный состав работников районных учреждений и трижды областных. Причем, сажали их за дело, за бытовые и служебные преступления, приписывая им “политику” в соответствии с духом времени. Сами жертвы охотно шли на это, предпочитая считаться врагами народа, а не просто жуликами, развратниками, дураками, разгильдяями, пропойцами. Около города начали строить тюрьму европейского значения. Строили ее силами самих заключенных, деятелей коммунистического движения стран Европы, а затем и Азии. И тюрьма приобрела евразийские масштабы.

Но нет худа без добра. Наличие в области большого числа заключенных способствовало промышленному и культурному прогрессу. Еще до войны с Германией в городе и в области построили пять заводов всесоюзного значения, более двадцати предприятий областного масштаба, университет, пять институтов, три техникума, филиал консерватории, оперный театр, два драматических театра, балетную школу, три научно-исследовательских института, психиат-

рическую больницу всесоюзного значения. Число школ, больниц, спортивных сооружений и прочих учреждений, ставших неотъемлемой частью советского образа жизни, не счесть. Около города начали строить крупнейший в Европе химический комбинат.

### Война

Во время войны 1941–1945 годов с Германией в Партграде подготовились к оккупации, учтя опыт других уже оккупированных областей. Наметили лиц, которые должны были сотрудничать с немцами. Отвели для будущих немецких концлагерей наиболее комфортабельные исправительные лагеря. Создали мощные партизанские отряды. Для них построили на трясине капитальные базы, в которых партизаны могли бы просидеть всю войну, дабы потом рассказать потомкам о своих героических подвигах. Руководителем партизанского движения назначили Митрофана Лукича Портянкина, будущего первого секретаря Обкома партии и секретаря ЦК КПСС. Для маскировки такого ответственного поручения Митрофан Лукич был назначен командиром гарнизонной бани и вошебойки. Но и этот пост был значителен сам по себе. В город и его окрестности эвакуировали множество военных училищ. Здесь стали формировать части для отправки на фронт. Так что баня и вошебойка стали играть роль не менее важную, чем прочие высшие военные и гражданские учреждения. Впоследствии Митрофан Лукич по примеру Брежнева, опубликовавшего воспоминания о войне, написал книгу “В тылу врага”. Но его конкурент обратил внимание на то, что название книги звучало двусмысленно, — область оставалась в нашем, а не во вражеском тылу. И книгу потихоньку изъяли.

Война пошла Партграду на пользу. Сюда эвакуировали из других мест ряд военных предприятий, институтов и научных учреждений. Поскольку немцы на Партградскую область не покушались, а обычная партградская нищета на фоне войны показалась сытостью и спокойствием, сюда из Москвы и других городов устремилась масса деятелей культуры и предприимчивых людей, не испытывавших желания закрывать своими телами амбразуры вражеских дотов и бросаться со связками гранат под вражеские танки. Они нарушили историческую непорочность Партграда. Хотя после войны они все испарились обратно, Партград благодаря им вкусил прелестей всестороннего идейного, духовного и морального разврата и уверенно встал на путь приобщения к мировой цивилизации.

## Послевоенный период

Еще при жизни Сталина в Партграде завершили строительство химического комбината. Сырья для него в области не было. Потому пришлось провести несколько железнодорожных линий и шоссейных дорог, построить серию подсобных предприятий. Так одно тянуло за собой другое, и скоро в области появились заводы велосипедов, холодильников, стирального порошка, авиационных приборов и многое другое. Как острили местные интеллектуалы, область из отсталой сельскохозяйственной превратилась в отсталую промышленную.

Смерть Сталина партградцы отметили двойным запоем. Первый запой был с горя. Длился он две недели. Второй запой был от радости. Длился он тоже две недели. После разоблачительного доклада Хрущева на съезде партии партградские лагеря опустели, и их пришлось временно законсервировать. Целый месяц партградцы вывозили на трясину сочинения, бюсты и портреты Сталина, где они исчезали бесследно. Как будто никакого Сталина и не было. Площадь и проспект Сталина переименовали в площадь и проспект Ленина. Статую Сталина переделали в статую Ленина. Статуя Сталина была высотой семьдесят метров, а ленинская — всего шестьдесят. Это объясняется не неуважением к Ленину со стороны недобитых сталинцев, а тем, что статую Ленина вырубили из статуи Сталина. Естественно, голову Сталина пришлось отрубить.

При Хрущеве и при Брежневе поток всеобщего прогресса захватил и Партградскую область. Средний рост жителей увеличился на два сантиметра, а средняя высота домов — на два этажа. Такой темп роста города сопоставим с темпами роста Нью-Йорка, Токио и Нью-Мексико. Молодые люди стали носить джинсы и бороды. Джинсы носили уже на законных основаниях, так как они были местного производства. В прошедший период разрядки напряженности страна закупила в США завод по производству джинсов. И теперь она успешно конкурирует с США на рынках "третьего мира", правда — не по джинсам, а по чехлам для танков, самолетов и ракетных установок. Джинсы переименовали в молодежно-спортивные брюки. В газетах написали, что в советском обществе джинсы, в отличие от прогнившего Запада, служат делу построения коммунизма, что у советской молодежи и в джинсах бьется пламенное комсомольское сердце. О том, что джинсы стоили больших денег на черном рынке и были доступны совсем нетру-

довой молодежи, об этом газеты умолчали. Бороды сначала встречали руководителей области. Обратились за инструкциями в Москву. Оттуда ответили, что на данном этапе бороды временно допускаются, лишь бы за ними не прятались нездоровые мысли и настроения.

Девушки стали терять невинность на три года раньше, чем до войны. При этом они в два раза реже беременели, хотя противозачаточные средства выдавались по особому списку и только к революционным праздникам. Впрочем, число внебрачных беременностей возросло во много раз сравнительно с довоенными годами. Женщины избавлялись от плодов греха "дедовскими методами" (по словам прессы), а именно — путем абортов.

Начало подниматься сельское хозяйство. Именно в это время начала свою карьеру Евдокия Тимофеевна Телкина, ставшая впоследствии заведующей сельскохозяйственным отделом Обкома партии и прозванная Маоцзедунькой. На совещании передовиков сельского хозяйства она высказала фразу, которая мгновенно облетела всю область и принесла ей (Маоцзедуньке) необычайную популярность в народе: "В нынешнем году, — сказала она, — наш урожай в США обещает быть хорошим". Если бы фраза не была крылатой, то как она облетела бы область размером со среднее европейское государство?!

В семидесятые годы модернизировали военный завод. Теперь стало не стыдно показывать отсталую технику западным шпионам. Построили предприятие по освоению сворованной на Западе новейшей технологии. Одним словом, ко времени начала горбачевской перестройки одна Партградская область производила промышленной продукции больше, чем вся Российская Федерация в конце двадцатых годов.

#### **Освоение трясиновых земель**

На территории области расположена самая большая в стране (а может быть, и в мире) болотная трясина. Трясина — это не просто болото или место, заливаемое водой. Воду там совсем не видно. Внешне трясина выглядит весьма привлекательно: трава, цветы, ягоды, кустарники, полянки. Прямо-таки природный рай. Но если вы по неведению или по неосторожности туда забредете, вы обнаружите, что это райское обличье прикрывает бездонную вязкую грязь. Но будет уже поздно, и вы не успеете преду-

предить никого о таящейся здесь опасности. И вам никто не сможет помочь. И вы исчезнете навечно и бесследно. Расположенные по соседству исправительные лагеря и сверхсекретные предприятия (атомное, химическое и бактериологическое) со стороны трясину вообще не охраняются, — она надежнее любой охраны. Еще ни одному заключенному не удалось бежать этим путем. И ни одному любопытному не удалось проникнуть в район секретных предприятий через трясину. Местные критически настроенные интеллигенты рассматривали трясину как символ нового общественного устройства. За это их время от времени наказывали, высылая из города в упомянутые секретные предприятия и лагеря.

Обуреваемые заботой о благе народа, партийные вожди области не раз предпринимали попытки начать освоение трясину (как писали в газетах, "трясинных земель"). Получив за это награды и повышения в чинах, они оставляли свои затеи. Как потом писали те же газеты, "попытки освоения трясинных земель глохли в трясине бюрократизма". Последнюю попытку (самую значительную) предпринял Петр Степанович Сусликов, когда он стал первым секретарем Партградского Обкома партии. За эту попытку Петру Степановичу присвоили звание Героя Социалистического труда. После этого Петр Степанович стал готовиться ко взлету на вершины партийного руководства в Москве и попытку свою оставил, как и его предшественники. Но в отличие от предшественников, он обратил внимание на одно достоинство трясину, благодаря которому она может сыграть выдающуюся роль в истории: поскольку она засасывает в себя абсолютно все без всяких следов, то она способна засосать и осадки от атомного взрыва, ядовитые химические вещества и смертоносные бактерии. Если взорвать над трясинной самую мощную водородную бомбу, то последствия от взрыва будут не сильнее, чем от взрыва газа, который недавно произошел в новом десятиэтажном доме в новом жилом районе. Уже через пару дней трясина будет выглядеть так, как будто никакого атомного взрыва не было. А последствия от взрыва газа не могли ликвидировать в течение года.

Еще тогда, когда Сусликов возглавлял Партградскую область, он сказал, что "в случае атомной войны все население области переселится на трясину и воздвигнет на ней еще более грандиозное и светлое здание коммунизма, чем то, которое западные империалисты помешали нам воздвигнуть на сухом месте". А уже упоминавшаяся выше Маоцзедунька заявила, что область на



трясине будет выдавать на-гора моркови, картошки, капусты и прочей сельскохозяйственной снеди в таком количестве и качестве, что даже свиньи жрать не будут. Выражение "выдавать на-гора" она усвоила во время встречи с шахтерами Донбасса. Партградские интеллектуалы по поводу этого заявления Маоцзедуньки острили, что свиньи эту "снесь" жрать не будут по той простой причине, что свиньи в области исчезли задолго до того, как Маоцзедуньке присвоили звание Героя Социалистического труда за выдающиеся успехи области в сельском хозяйстве. Зато в области расцвело всеобъемлющее свинство. А трясины без шума и газетных сенсаций стали использовать как помойку для отходов атомной и химической промышленности.

### АТОМ

Гордостью партградцев стало первое в мире атомное предприятие для мирных целей. Строительство было объявлено Великой Стройкой Коммунизма. За строительством как-то само собой закрепилось название "Атом". Оно постепенно вошло в газетные статьи и официальные документы. Когда строительство закончилось, и предприятие вступило в строй, всему району официально присвоили имя Ленина. Однако население упорно продолжало называть его "Атомом".

С первых же дней строительства "Атома" весь район стал закрытым не только для иностранцев, но и для своих. Въезд в район и выезд из него разрешались только по особым пропускам. Грибники и туристы, пересекавшие границы района, немедленно останавливались охраной и лишь после тщательной проверки отпускались на свободу. Так что население привыкло относиться к району "Атома" как к чему-то такому, о чем не следует говорить вслух и даже думать. Превращение "Атома" в сверхсекретное предприятие было облегчено тем, что район с Востока был отделен от внешнего мира непроходимыми болотами, с Запада — рекой и водохранилищем, где базировалась военная флотилия, с Севера — лагерями обычного режима с сильной охраной, а с Юга — лагерями строгого режима с усиленной охраной. Сверху разглядеть "Атом" было трудно, потому что расположен он был в густом лесу. Для лучшей маскировки его ухитрились и сверху засадить лесом. А для обмана американских шпионских спутников километрах в двадцати от "Атома" построили макет атомной электростанции. Для большей

правдоподобности там чуть-чуть увеличили радиацию и поселили заключенных, в задачу которых входило изображать труд во имя мира и прогресса.

О жизни в районе "Атома" поползли самые невероятные и противоречивые слухи. По одним слухам, там — рай земной, полный коммунизм, все есть в изобилии и почти бесплатно. По другим слухам, там поселили заключенных, осужденных на большие сроки или на смертную казнь, которую им заменили опасной для жизни работой в условиях повышенной радиации. На самом деле в "Атоме" было и то, и другое, — и рай, как его представляли себе рядовые жители области, и ад, о котором не хотели думать те же самые жители. В "Атоме" специалистам с высшим образованием и квалифицированным рабочим платили удвоенную зарплату, сразу же предоставляли квартиры, о каких они не могли и мечтать в иных условиях, отпуск, вдвое длиннее обычного, и многие другие привилегии. И снабжение предметами потребления и быта было лучше, чем в городе. Но с другой стороны, они жили под постоянным надзором, как в заключении. Отпуска они должны были проводить тоже в определенных местах, где свобода передвижения их была строго ограничена. А главное — они скоро начинали ощущать в себе снижение всех основных жизненных функций, апатию, подавленность, состояние непреходящей тревоги и страха. Все чаще у них рождались дети-уроды. А о том, как жили рабочие низших категорий и заключенные, действительно использовавшиеся на самых вредных для здоровья работах, говорить не приходится. Они жили в бараках в непосредственной близости от предприятия в отличие от привилегированных сотрудников, дома которых были расположены в некотором отдалении от него в густом лесу.

Вскоре после того, как "Атом" вступил в строй, там произошла какая-то катастрофа. В чем она заключалась, хранилось в величайшей тайне. Но шила в мешке, как говорится, не утаишь. О катастрофе узнали по многочисленным признакам, в частности — по тому, что из района эвакуировали целые поселки, городские больницы переполнились странными больными, в большом количестве стали рождаться дети-уроды. К несчастью для Партграда, тогда еще никто о перестройке и гласности не помышлял. К тому же ветер дул не в ту сторону и унес радиоактивные осадки не в Западную Европу, а в Сибирь, где от них все даже здоровее стали. Подул бы ветер на Запад, может быть, эпоха гласности началась бы раньше, и Партград стал бы так же знаменит на весь мир, как впоследствии

Чернобыль, и уже тогда был бы выпущен на арену мировой истории.

### Партград и Москва

Взаимоотношения между Партградом и Москвой являются сложными и даже противоречивыми. С одной стороны, Москва для партградцев есть высший надсмотрщик и указующий перст. А с другой стороны, роль Москвы для Партграда аналогична той, какую для Москвы играет Запад. В Москве люди что-то вытворяют, надеясь на то, что на это обратят внимание на Западе. В Москве даже высшие власти прежде, чем ляпнуть какую-нибудь чушь, узнают через шпионов, как на это будет реагировать продажная западная пресса и реакционные западные политики, а очухавшись поутру, первым делом ищут свои рожи на страницах западных газет и журналов. В Партграде же делают нечто отдаленно похожее на это, питая надежду на то, что слух об этом дойдет до Москвы. Если в Москве начинают отращивать бородки, то в Партграде отращивают бороды до пояса. Если в Москве за явное вольнодумство дают три года тюрьмы, то в Партграде за скрытый скептицизм дают пять. Новый жилой район в Москве назвали Новыми Черемушками, хотя там никогда не росла черемуха. В Партграде же новый жилой район назвали Новыми Липками, хотя там не росло ни одной липы. Подзаборный партградский пьяница, зарабатывавший себе на выпивку тем, что хрипел под гитару за сочиненные им же песенки, был по примеру Москвы назван бардом. Когда его как тунеядца выселили из города в "Атом", возник слух, будто он уехал в Париж завоевывать там мировую славу.

Желание тянуться за Москвой принимает в Партграде поистине патологические формы. Здесь гордятся даже окриками из Москвы. Если партградских руководителей поругают в Москве, то партградцы с гордостью сообщают друг другу, что "нашему Хозяину (имеется в виду первый секретарь Обкома партии) в Москве шею намылили, значит, теперь в гору пойдет".

Влияние Москвы на Партград многосторонне. Вот два примера тому. Одному почтенному служащему запретили туристическую поездку в Болгарию, поскольку его ближайший друг и собутыльник в шутку сказал, что сей служащий собирается просить политическое убежище в Болгарии. Это была очевидная шутка, — все знали, что просить политическое убежище в Болгарии — это все

равно, как скрыться от партградского КГБ в главном здании КГБ в Москве на площади Дзержинского (“на Лубянке”). Но в КГБ шутку восприняли как сигнал, и поездку запретили. Служащий счел запрет бессовестным и начал кричать об отсутствии свободы совести в Партграде. Ему объяснили, что такое свобода совести. Тогда он в знак протеста окрестил сына, — как раз такая мода появилась в Москве, породив на Западе надежду на религиозное возрождение в России и, естественно, крах “режима” вследствие неверия в марксизм. Служащий заработал за это строгий выговор по партийной линии. В интеллигентских кругах, склонных к словоблудию на любом материале, в связи с этим заговорили о том, что именно Партграду предстоит сыграть ведущую роль в религиозном обновлении России. Глава областной церкви, однако, этот слух опроверг в партийной печати. Заодно он осудил президента США как поджигателя войны. Упомянутый служащий должен был после этой истории целый год усиленно заниматься антирелигиозной пропагандой, чтобы снять выговор и вновь обрести репутацию старого и политически зрелого коммуниста.

Еще один пример. В Москве одна женщина, жаждущая выехать на Запад, но в течение ряда лет не получавшая разрешение на это, приковала себя цепью к решетке посольства США. Об этом поступке москвички сообщили западные радиостанции, ведущие передачи на Советский Союз. Узнали об этом поступке и в Партграде. И у москвички в Партграде нашелся последователь. Он приковал себя цепью к унитазу в своей собственной квартире в знак протеста против того, что в их квартире этот унитаз не ремонтировали полгода. Соседи заявили в милицию. В милиции решили, что тут пахнет политикой, и сообщили в КГБ. Сотрудники КГБ явились на четырех машинах, разогнали толпу зевак, выломали дверь в туалет, отсоединили унитаз от канализационной трубы (это было легче сделать, чем пилить цепь напильником) и увезли “протестанта” вместе с унитазом. Западная пресса никакого внимания на мужественный поступок партградского борца за права человека не обратила. Благодаря этому он отделался годом тюрьмы за бытовое хулиганство. Когда он вернулся из заключения, унитаз все еще не был отремонтирован.

Еще в те годы, когда Митрофан Лукич Портянкин правил в Партграде, он часто беседовал со своим зятем Петром Степановичем Сусликовым о проблемах государственного значения.

— Глянь, Петр, — говорил Митрофан Лукич, наливая водочку в трофейные хрустальные рюмочки из хрустального графинчика, тоже доставшегося Митрофану Лукичу в качестве боевого трофея в разгромленной Германии, когда он ездил туда в командировку с целью изучения постановки банно-вошебойного дела в нацистских концлагерях, — что творится в Москве! Распустились, мерзавцы. А у нас — тишь и благодать. А почему?

Петр Степанович подобострастно пожирал глазами своего высокопоставленного тестя. Тот опрокидывал "рюмашку" в широко разверстную пасть, сверкавшую золотыми коронками. Крякал. Сыпал прибаутками насчет первой рюмки. И тут же наливал по второй, поскольку откровенный партийный разговор (по его мнению) мог начаться лишь "на высоком градусе".

— А потому, — продолжал Митрофан Лукич, закусив вторую "рюмашку" осетринкой или икоркой, — что мы тут голову на плечах имеем. Диссиденты не появляются в нашей области по той причине, по какой южный фрукт не произрастает на холодном севере. Что нужно для того, чтобы южный фрукт произрос на севере?

Митрофан Лукич прерывал свою речь, чтобы налить по следующей "рюмашке". Петр Степанович подобострастно молчал, зная, что Митрофан Лукич не ждет у него ответа. Митрофан Лукич ставит вопросы для того, чтобы самому дать на них ответы, — риторический прием, усвоенный им еще в те годы, когда он командовал гарнизонной баней и вошебойкой. Тогда он, приказав построить голых солдат на улице перед баней, ставил перед ними стратегические вопросы вроде: "Можем ли мы одолеть врага, не одолев вошь?" — и давал на них исчерпывающие ответы в духе речей обожаемого им Сталина.

— Чтобы южный фрукт произрос на севере, — продолжал Митрофан Лукич, наливая по третьей "рюмашке", — нужны особые теплицы. А чтобы у нас в Партграде выросли заграничные фрукты, именуемые диссидентами, тоже нужны такие особые теплицы. Главное — не допустить появление таких теплиц. А раз нет теплиц, не будет и фруктов, выращиваемых в них. Понял?

Сусликов кивал в знак согласия головой. А Портянкин, пропустив по третьей рюмашке и закусив как следует, наливал по четвертой, продолжая передавать свой партийный опыт молодому, подрастающему поколению в лице Сусликова.

— Иностранных посольств у нас нет. Никаких западных журналов нет. На наших стройках работают кое-какие иностранцы. Но что это за иностранцы?! Итальяшки. Они не в счет. Радио западное у нас слушают, это верно. Ну и пусть слушают на здоровье. Эта чепуха нам не опасна. Эти западные права человека и демократические свободы у нас в Партграде все равно, как попу гармонь, рыбе зонтик или корове седло...

Когда Сусликов стал первым секретарем Партградского Обкома партии, он дал клятву своему покровителю Портянкину, что превратит область в "бездиссидентную зону". При этом он руководствовался такими принципами. Подавлять диссидентов — дело нехитрое. Не допустить их появление — вот к чему надо стремиться. Тогда и подавлять не надо будет. Но если уж они появились по недосмотру, их надо нейтрализовать, дискредитировать, уничтожать всеми доступными средствами. После того, как они будут уничтожены, исчезнут или станут безобидными и даже полезными, их можно будет разрешить. В этом Сусликов следовал примеру Сталина, который собирался отменить расстрелы после того, как будет расстрелян последний "враг народа".

С целью реализации своей программы Петр Степанович предложил расселять интеллигентов так, чтобы они не имели возможности устраивать неподконтрольные собрания. Потом он создал особую идеологическую комиссию, которая очистила все библиотеки города от литературы, содержащей малейшие намеки на критику советского общественного строя и идеологии, приняла решительные меры против спекулянтов на черном рынке, распространявших "самиздат" и заграничные книги, установила строгий учет всех множительных аппаратов и радиоприемников.

Короче говоря, результаты мудрого руководства Петра Степановича не замедлили сказаться. Каждое утро, появляясь в своем кабинете в Обкоме партии, Петр Степанович первым делом спрашивал у своего помощника Корытова: "Ну как?".

— Чисто, — рапортовал Корытов.

— Ну и слава Богу, — мурлыкал Петр Степанович. — Соедини-ка меня с Центром.

И Петр Степанович докладывал Митрофану Лукичу, что во вверенной ему области никаких диссидентов нет.

— Так держать! — слышалось в ответ.

### Черный день

Но вот наступил черный день, когда на привычный вопрос товарища Сусликова “Ну как?” его верный помощник Коротов не произнес бодрое “Чисто!”, а сам Сусликов не отрапортовал в Москву о полном порядке во вверенной ему области и не услышал в ответ поощрительное “Так держать!”. Голосом, полным скорби, Сусликов лепетал невнятно о том, что они тут дали промашку, не доглядели, не дооценили и проявили либерализм.

— Я, товарищ Сусликов, — услышал Сусликов в ответ леденящий голос Митрофана Лукича, — человек простой и сердечный. Но когда возникает угроза завоеваниям Октября, пощады от меня не жди. Не выправишь положение — положишь партийный билет. Понял?!

В эту ночь в зданиях ответственных учреждений Партграда до утра не потухал свет. Войска военного округа были приведены в предвоенную готовность. Военные и милицейские патрули заполнили город.

Но что, собственно говоря, произошло? Оказалось, четыре гражданина Партградской области прорвались в Москву и сделали попытку вступить в связь с западными журналистами с намерением изобличать язвы советского общества.

Появление в Партграде своих, доморощенных диссидентов было полной неожиданностью, но особого рода. О существовании чудаков, которых теперь стали называть мудреным заграничным словом “диссиденты”, жители города знали давно. Такие чудаки тут водились всегда. Но они до сих пор служили лишь объектом насмешек. Знали о них и в КГБ. Но тоже не очень-то тревожились, так как там тоже знали им цену.

Положение, короче говоря, сложилось такое: явление существует, все знают о нем, но делают вид, будто его нет, так как нет формального признания факта его существования. И потому оно как бы и не существует совсем. Хотя оно существует эмпирически, оно не существует как социально значимое явление, — оно существует ниже того социального порога, который разделяет существ-

вующие явления на как бы существующие и существующие без “как бы”.

Что произошло теперь? Из Москвы поступило распоряжение считать партградских диссидентов существующими без “как бы”, поскольку они заявили о себе на уровне мировой прессы. Лишь после этого Сусликов доложил Портянкину о их появлении в области. Порог социальной значимости был перейден. Новый социальный феномен с иностранным названием “диссиденты” получил право на официально признанное бытие.

Партградцы, причисленные к диссидентам, были: настоящий коммунист, потомственный пролетарий, Трижды Иван и студент, организовавший нелегальный журнал “Гласность”. Их подлинные имена не имеют значения, — западные журналисты, упомянув о них в своих газетах, не назвали их имен. Они мельком упомянули о них просто как о “диссидентах из провинции”. Запад не захотел признать историческое бытие Партграда даже в такой негативной форме.

#### **Настоящий коммунист**

Есть два вида коммунистов — натуральный и выморочный. Натуральный коммунист есть советский человек, приученный жить в советском обществе и как-то выкручиваться в нем. Он готов ко всему и готов на все. Для него коммунизм есть не отдаленный земной рай, в который он не верит, а сегодняшняя неумолимая реальность, в которой следует урвать для себя максимально доступный кусок. Выморочный коммунист мало чем отличается от натурального в своей обычной жизни. Но он избирает для себя роль человека, лучше и больше других преданного идеалам коммунизма, и превращается в мелкого педанта по поводу необдуманных замечаний классиков марксизма. Сболтнул какой-то классик, например, о заработной плате служащих не выше рабочих. Педант-коммунист требует ввести партийный максимум зарплаты. Причем, ему невдомек, что большинство советских служащих имеет зарплату ниже зарплаты квалифицированных рабочих. Сболтнул другой классик о том, что при коммунизме кухарки будут управлять государством. Педант-коммунист носится с этой идеей по партийным инстанциям, хотя от кухарок в старом смысле не осталось и следа. Сболтнул какой-то классик о том, что рабочие будут сами управлять заводами. Педант-коммунист ратует за заводское



управление, хотя рабочих теперь силой не заставишь пойти на эту глупость. Одним словом, выморочный коммунист считает, что коммунизм в Советском Союзе строится неправильно, что не выполняются указания классиков марксизма. Вот если бы Ленин был жив, все было бы иначе. Большая часть выморочных коммунистов остается на уровне чудаков, которых терпят в коллективах и даже порою поощряют. Но отдельные экземпляры заходят настолько далеко, что становятся бичом в своих коллективах и для учреждений, которые они атакуют с параноической настойчивостью. С ними обычно расправляются самым беспощадным образом, сажая их в сумасшедшие дома или высылая в отдаленные районы. В их защиту никто не вступается: вот еще забота — коммунистов защищать! Туда им и дорога!

Один из таких коммунистов уже давно раздражал органы власти Партграда. Его исключили из партии и уволили с работы. Но в психиатрическую больницу сажать не торопились, считая его полоумным. Это было явно ошибочно: он на все сто процентов был сумасшедшим. Воспользовавшись оплошностью КГБ, настоящий коммунист сбежал в Москву с намерением сообщить западным журналистам, что коммунизм в Партградской области строится неправильно, и попросить руководителей западных стран повлиять на советское руководство, чтобы оно исправило советский коммунизм и восстановило его, подлинного коммуниста, в партии.

#### **Потомственный пролетарий**

Более опасным врагом советского строя в области оказался слесарь-водопроводчик, называвший себя потомственным пролетарием. Он занимался установкой и ремонтом заграничного оборудования ванн и туалетов в квартирах партградского начальства. Он ухитрился записать на кассету звуки, издаваемые руководителями области в туалете. Сотни копий записей распространились в городе и имели успех, особенно — “анальные речи” Маоцзедуньки и самого Сусликова. Причем, слушатели безошибочно идентифицировали звуки. В руководстве области началась паника. Одна Маоцзедунька отнеслась к истории спокойно.

— Пусть приходят ко мне после обеда, — говорила она, похлопывая себя по необъятному заду, — я им такую музыку выдам, что ихние Бетховены и Пикассы сразу заткнутся.

Маоцзедуньке сказали, что Пикассо — художник, а не музыкант. Она на это невозмутимо ответила, что ей и на художников тоже на ...ть. Сусликов же усмотрел в событии угрозу своей карьере. Начальник областного управления КГБ Горбань заявил, что если бы туалетные звуки высших руководителей предали широкой гласности, то советская власть не продержалась бы и года. Между прочим, западным советологам, ищущим самые уязвимые места в советской социальной системе, не мешало бы принять во внимание мнение начальника Партградского Управления КГБ.

Все силы милиции, КГБ и общественности были брошены на поиски преступника. Почувяв опасность, "Потомственный пролетарий" убежал в Москву с мешком кассет, на которых были записаны "анальные речи" партградских руководителей. Он собирался опубликовать эти речи на Западе и заработать на них по примеру писателей-диссидентов славу и миллионы.

#### **Конец рабочей династии Ивановых**

Иван Иванович Иванов с гордостью называл себя Трижды Ивановом. Он работал на заводе, в начале войны с Германией ушел добровольцем на фронт и вскоре погиб. Второй Трижды Иван пошел по стопам отца и тоже стал рабочим. После армии он женился и произвел на свет сына, которого тоже назвал Ивановом. Третий Трижды Иван рос, в отличие от предшественников, в сравнительно благополучное время и в благополучной семье. Он отлично учился в школе, особенно преуспевая в математике. Учителя сулили ему будущее выдающегося ученого.

Но произошло событие, зачеркнувшее мечты и планы Ивановых. Партград посетил сам Брежнев. Среди рабочих завода, выделенных для пожимания руки Брежневу, оказался второй Трижды Иван. Пожав ему руку, Брежнев вдруг вспомнил, что в начале войны он выдавал партийный билет Ивану Ивановичу Иванову. Уж не сын ли Иванов тому Трижды Ивану? Директор завода, не дожидаясь ответа Иванова, сказал, что это именно так, что рабочая династия Ивановых знаменита на всю область. Второй Трижды Иван растерялся и сдуру сболтнул, что его сын тоже Иван, и что он тоже пойдет по стопам отца. Брежнев сказал, что это замечательно, когда дети рабочих наследуют профессию отцов, — самую почетную профессию на свете. Надо это сделать повсеместной тра-

дицией. В газетах напечатали фотографию Брежнева, пожимающего руку второго Трижды Ивана, слова Брежнева и опрометчивое обещание Иванова.

Так возникло движение, инициатором которого сделали второго Трижды Ивана. Третий Трижды Иван пробовал было артачиться, но на него "нажали" и заставили подписать обращение к детям рабочих продолжать профессию отцов. Ивановым дали вне очереди отдельную двухкомнатную квартиру. Второго Трижды Ивана наградили орденом. В среде рабочих его возненавидели и стали устраивать всяческие пакости. Третьего Трижды Ивана дети из рабочих семей, которых вынудили идти работать на заводы, не раз избивали, так что первое время его на завод сопровождал милиционер.

Хотя третий Трижды Иван работал добросовестно, думал он только об одном: как можно поскорее выбраться из рабочего класса, для начала — хотя бы поступить на обещанное заочное отделение института. Но и тут неумолимая судьба вмешалась в его жизнь. Кампания, жертвой которой он стал, окончилась. Про рабочую династию Ивановых забыли. Рабочие спровоцировали третьего Трижды Ивана на такое выступление по поводу беспорядков на заводе, за которое его исключили из комсомола, уволили с завода и выслали в "Атом" как тунеядца. Оттуда он убежал в Москву, погрозившись сжечь себя на Красной площади.

#### **Комитет гласности**

Но больше всего партградские власти были напуганы тем, что в городе стал циркулировать нелегальный журнал "Гласность", подготовленный студентами университета. В журнале сообщалось об образовании "Комитета гласности", который ставил перед собой задачу информировать партградцев о событиях в области, о которых умалчивают газеты. Кто бы мог тогда подумать, что идею гласности через несколько лет присвоят себе высшие власти страны, а первооткрыватели ее к тому времени исчезнут безвестными в исправительно-трудовых лагерях?!

Поборники гласности подготовили первый номер журнала, в котором приводили сведения о коррупции в высшем руководстве областью и о злоупотреблениях служебным положением. В частности, они подсчитали, что Сусликов стал обладателем ценностей, на приобретение которых законным путем даже при заработной плате в тысячу рублей в месяц потребовалось бы по крайней

мере сто лет. Редактор журнала уехал в Москву с намерением переслать журнал на Запад.

### **Конец партградского диссидентства**

Западные журналисты в Москве особого значения партградским диссидентам не придали. Кто-то из них вроде бы даже донес на партградцев в КГБ, оправдываясь тем, что будто бы принял их за провокаторов КГБ. Но все же в западной прессе появилось короткое сообщение о том, что наблюдается оживление диссидентского движения в русской провинции, в частности — в городе Партграде. Этого короткого сообщения, однако, было достаточно, чтобы Сусликов покрылся холодным потом и схватился за сердце.

В Москве партградских диссидентов задержали и передали для расправы партградским властям. На заседании бюро Обкома партии Сусликов доложил, что в области “в силу гнилого либерализма некоторых руководителей, ослабления идейно-воспитательной работы и тлетворного влияния Запада появились отдельные признаки диссидентства, но они вовремя обнаружены и пресечены”.

Прошло немного времени, и на вопрос Сусликова “Ну как?” его помощник Корытов ответил “Чисто!”. Сусликов доложил Портянкину, что положение в области выправлено, и услышал долгожданное “Так держать!”.

### **Глубинная история**

Но все то, о чем говорилось выше о советском периоде, составляло лишь ничтожную часть подлинной истории Партграда, причем — часть десятистепенной важности. Это была лишь пена партградской истории, а не ее глубинный поток. Последний заключался в том, что можно назвать социальной жизнью масс населения, а именно — в различного рода социальных процедурах, ритуалах и мероприятиях, которые стали привычным элементом повседневной жизни людей: принятие в октябрюта, в пионеры, в комсомол; октябрьские и пионерские сборы; комсомольские собрания; принятие в партию; партийные собрания; общественная работа; общие и профсоюзные собрания; митинги, демонстрации; пропагандистские кружки и семинары; комсомольские и партийные школы;

университеты марксизма-ленинизма; заседания органов власти и управления на всех уровнях, начиная с первичных коллективов и кончая высшими органами власти области; руководящие совещания, указания, контроль. Короче говоря, суть коммунистического образа жизни образует в первую очередь все то, что делает человека именно гражданином коммунистического общества и в чем заключается его социальная жизнь в таком качестве. Все остальное суть лишь средства и материал для социальной жизни. Фабрики и заводы строятся не ради некоего абстрактного производства, а прежде всего как средства, позволяющие организовать людей в коммунистические коллективы. Лишь в последнюю очередь они суть средства создания продуктов потребления и вообще каких-то материальных вещей. Произведения культуры создаются не ради культуры как таковой, а лишь как средства воспитания людей и контроля за их сознанием и поведением. И в деятельности власти главным является все то, что позволяет сохранять единство социального целого и поддерживать нормальный ход его социальной жизни.

Если бы можно было подсчитать усилия населения области, направленные на поддержание социального ее аспекта, то получились бы величины, перед которыми померкли бы официальные показатели жизнедеятельности общества (добыча угля, выплавка стали, урожай, число телевизоров и т. п.). Самый грубый подсчет числа людей, прошедших через пионерские и комсомольские организации, принятых в партию, участвовавших в демонстрациях и собраниях, подсчет числа собраний, совещаний, речей, резолюций и прочих элементов официальной жизни, подсчет числа участников пропагандистских групп и лекций и т. д. дал бы картину, от которой у вас зашевелились бы волосы на голове. А если бы эти подсчеты произвести по годам и на различных уровнях иерархии, вы ощутили бы сущность прогресса, произошедшего в Партграде за годы советской власти.

#### **Кузница кадров**

В свете только что изложенной идеи становится понятным, почему главной отраслью производства в Партградской области стало производство руководящих кадров. Взгляните на высшее советское руководство, на аппарат ЦК КПСС и КГБ, на высшие правительственные и культурные учреждения! Кого вы там увидите? Прежде всего — выходцев из таких мест, как Парт-

градская область. Со сталинских времен высшую власть в стране всегда захватывали выходцы из провинции, что соответствует провинциальной сущности самого коммунизма.

Многие видные партийные и государственные деятели страны вышли из Партграда и его окрестностей. Объяснение этому феномену дал недавно скончавшийся бывший секретарь ЦК КПСС Митрофан Лукич Портянкин, начавший свое блистательное восхождение на высоты власти в Партграде.

— Это происходит потому, — сказал он на торжественном митинге по поводу открытия его бронзового бюста в Партграде, — что Партград находится в недрах народа, в толще народа, в гуще народа.

Митрофан Лукич сказал, что партийно-государственные кадры в Партграде не просто выращивают. Их тут выковывают. Так что Партград в первую очередь есть кузница партийно-государственных кадров и лишь во вторую очередь — доильница страны. Выражение "доильница" изобрела Маоцзедунька по аналогии с тем, как некоторые другие области называются житницей страны. Согласно отчетам, Партградская область поит всю страну молоком, а Ставропольский край кормит всю страну хлебом. Поит так же плохо, как Ставрополь кормит хлебом. Между прочим, Ставропольский край стал превращаться из житницы страны в кузницу партийных кадров, конкурирующую с Партградом, под руководством Горбачева и превзошел в этом отношении Партград.

Партград поставляет стране не только практиков, но и теоретиков руководства. Именно здесь родилась формула, обобщающая опыт руководства народом за все годы советской власти. Высказал ее сам Петр Степанович Сусликов, сменивший Митрофана Лукича на посту первого секретаря Партградского Обкома и затем секретаря ЦК КПСС.

— Нашим величайшим достижением, — сказал он в речи на партийной конференции, где его избрали на пост секретаря ЦК КПСС, — является то, что не только мы, партийные руководители, научились руководить нашим народом, но и то, что наш народ научился быть руководимым нами.

Слух, однако, был такой, будто эту формулу изобрела все та же Маоцзедунька. Она якобы сказала, выпив десятую стопку водки, что главным в руководстве нашим народом является правило: не надо мешать нашему народу быть руководимым нами.

В том самом выступлении на партийной конференции Сусли-

ков привел такие данные о масштабах партградской кузницы партийных кадров. За годы советской власти в Партградской области было выковано двадцать пять тысяч триста сорок шесть партийных руководителей районного масштаба, шестнадцать тысяч сто тридцать один — областного масштаба, пять тысяч сто сорок пять — республиканского масштаба, тысяча девятьсот девяносто девять — общегосударственного масштаба. Так что в случае победы коммунизма в мировом масштабе, как пошутил товарищ Сусликов, одна Партградская область может обеспечить партийными кадрами все страны мира. Как сказала та же Маоцзедунька после двадцатой стопки водки, ковать партийных трепачей — это вам не картошку и поросят растить, тут мы кого угодно за пояс заткнем.

Выходцы из Партграда и других аналогичных мест России приносят в центральный аппарат власти намерение неуклонно охранять завоевания Октября. Но делают они это в такой форме, что это выглядит как прогресс, как борьба молодых, инициативных и образованных “голубей” против престарелых, консервативных и безграмотных “ястребов”. Однако утвердившись в центральном аппарате, провинциальные “голуби” сами превращаются в столичных “ястребов”.

Между прочим, тут мы можем видеть принципиальное отличие социального организма от биологического. Могут ли клетки вашей собственной задницы переместиться в ваш мозг? Слава богу, скажете вы, нет. А в обществе это не только возможно, но даже закономерно. До недавнего времени все те, кто входил в мозг России, были выходцами именно из ее жопы. Может быть, этим отчасти объясняется то, что такая голова превратила всю Россию в огромную и всеобъемлющую жопу?

#### Новая эпоха

Несмотря на все описанные выше успехи и достижения, Партградская область продолжала считаться самой провинциальной частью России. О ее существовании далеко не всякий знал в Советском Союзе, а уж про Запад и говорить нечего. Советские люди узнавали о ее существовании главным образом из некрологов, в коих сообщалось, что такой-то выдающийся покойник происходил родом из рабочего класса, трудового крестьянства или столь же трудовой интеллигенции Партградской области. Рассказывали та-

кую историю. Брежнев, желая избавиться от одного из своих противников, велел направить его на работу в Партград, будучи уверен в том, что это находится где-то в Якутии, на Камчатке или даже в Монголии. Каковы же были его удивление и гнев, когда он увидел этого опального партийного работника среди руководителей области во время своего визита в Партград.

Такое положение Партграда сохранилось бы и по сей день, если бы над страной не возшла заря новой великой эпохи — эпохи перестройки.

---

**От редакции.** Публикуя нижеследующее сообщение из Москвы, редколлегия выражает авторам глубокую благодарность за высокую оценку ее работы и желает всяческого успеха в их начинании.

## **МОСКОВСКОЕ ЕВРЕЙСКОЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО**

### **Литературный "КЛУБ-22"**

"Клуб-22" — литературное объединение, ставящее своей целью изучение и развитие современной еврейской русскоязычной литературы (прозы, поэзии, эссеистики и т. д.).

Своим названием Клуб обязан русскоязычному литературно-художественному и публицистическому журналу "22" (Израиль), который, по мнению организаторов Клуба, является сегодня наиболее интересным и популярным изданием такого рода, широко охватывающим литературный процесс, отличается высоким профессиональным уровнем и объединяет оригинальных, ярких и известных авторов. Освещая экономические, политические, социальные и другие вопросы жизни евреев в различных странах, журнал "22" уделяет особое внимание проблемам советского еврейства, становлению его национального самосознания, развитию еврейской культуры во взаимодействии с русскими культурными традициями.

Принципиальной установкой "Клуба-22" являются единство и преемственность всего литературного русскоязычного процесса независимо от региональных границ как внутри Советского Союза, так и вне его. На наш взгляд только такой подход позволяет русскоязычной еврейской литературе плодотворно развиваться на путях сегодняшнего культурного возрождения евреев в СССР, а также гарантирует жизнеспособность этой литературы как важной составной части мировой еврейской культуры.



Своей деятельностью "Клуб-22" надеется способствовать процессам сближения, взаимопроникновения и взаимодействия русской и еврейской культур, столь необходимым на фоне опасностей, порождаемых национальной ограниченностью.

Между редакцией журнала "22" и "Клубом-22" достигнута договоренность о широком творческом взаимодействии. "Клуб-22" будет представлять интересы журнала "22" в СССР.

Предполагаемые направления работы "Клуба-22":

1. Ознакомление с литературными новинками путем авторского чтения и коллективного обсуждения.

2. Систематическое знакомство с публикациями журнала "22" и других русскоязычных изданий, как внутрисююзных, так и зарубежных; проведение обзоров, чтений, обсуждений, встреч "за круглым столом" и т. п.

3. Популяризация материалов журнала "22" в СССР путем распространения журнала по подписке, публикации обзоров и других материалов в советских изданиях (газеты, журнал "ВЕК" и др.).

4. Содействие авторам в ознакомлении общественности с их работами как на заседаниях Клуба, так и публикацией в журнале "22", а также в советских изданиях.

5. "Клуб-22" намерен со временем издавать (на паритетных началах с журналом "22") свои собственные материалы в виде приложений к журналу "22", а также самостоятельных периодических публикаций под эгидой Московского еврейского культурно-просветительского общества.

"Клуб-22" открыт для всех желающих независимо от членства в МЕКПО или других обществах, объединениях, ассоциациях и т. п.

---

*От редакции. Автор опубликованной в № 65 под псевдонимом "Аб Мише" документальной повести "Черновой вариант" проживает в СССР, инженер и писатель, активист еврейского движения. Опубликованный в предыдущем номере материал — глава из его большой книги под тем же названием, посвященной истории, теории и практике антисемитизма. Книга "Аб Мише" получила широкое распространение в еврейском Самиздате и пользуется огромной популярностью среди советских евреев. Издательство "Москва — Иерусалим" предполагает издать "Черновой вариант" полностью в следующем году.*

## ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Другой образ, с которым связаны загадки “Измены родине”, — маршал Тухачевский. Почему именно его (плюс семейных поделельников) выбрал Сталин для официального суда, для того запала, с помощью которого он уничтожил советское офицерство 30-х годов?

Проанализировав почти все параметры, по которым подсудимых в июне 1937 г. отсепарировали от судей, авторы “Измены родине” приходят к такому выводу: подбор подсудимых, в частности, диктовался национальными соображениями. Русский, но с польской фамилией (Тухачевский), еврей (Якир), литовец (Уборевич), латыш (Эйдеман), эстонец (Корк), еще один еврей (Фельдман), еще один литовец (Путна), наконец, украинец (Примаков) — почти треть Украины находилась тогда за кордоном СССР, как и вся Прибалтика. Умышленный характер отбора актеров на главные роли в этом сценарии не вызывает сомнений. В конечном счете, планировалось, разумеется, истребление, в основном, командиров славянского происхождения (что и было впоследствии тотально осуществлено), но поначалу их (как и остальное общество) успокаивали анестезирующим процессом укола, что, мол, ведется борьба с подозрительными инород-

*Михаил Хейфец*

### ЛОГИКА СТАЛИНСКОГО ТЕРРОРА

(Продолжение, начало см. в №65)

цами (иноверцами), закордонными пришельцами, готовыми продать приютившую их Россию извечному тевтонскому врагу.

(Замечание в скобках. В виде прецедента товарищ Сталин уже пробовал распускать — живучие до сих пор — слухи, будто все троцкисты были евреями и за “своего” держались. Главного теоретика троцкизма Преображенского он агитировал на свою сторону так: “Что тебе делать в этой еврейской компании?” Но при подготовке первого же троцкистского процесса 1936 г. выяснилось, что во внутрироссийской троцкистской головке евреев было на удивление мало: оба Смирновых, Раковский, Пятаков, Преображенский, Белобородов, Крестинский, Смилга, Мрачковский и проч. евреями не были. Зато “в списке подсудимых было девять еврейских фамилий, плюс Зиновьев (Радомысленский) и Каменев (Розенфельд), одна армянская, одна польская, три русских” (стр. 373—374) — как видите, схема будущего процесса военных обкатывалась годом раньше. Как это делалось? “На августовском процессе 1936 г. работала целая команда провокаторов: В. Ольберг, Ф. Давид, Берман-Юрин, М. Лурье, Н. Лурье”, — пишут авторы, обозначая термином “провокаторы” оперативников, служивших подсудимыми по приказу начальства. К ним следует добавить Р. Пикеля, служившего в театральных критиках, но исполнявшего ту же работу по приказу приятелей-чекистов из числа партнеров по преферансу. Любопытно, что когда, напротив, судили “правых”, то жена Бухарина с изумлением прочитала в газетах, что в числе поделщиков мужа не было его близких друзей и единомышленников, вроде Айхенвальда, Цейтлина, Фридлянда, Марецкого и прочих “красных профессоров”). Нужно сказать, что большевики всегда придавали большое значение национальному происхождению, так сказать, “публичных” фигур: например, убийцей Николая II уже в 20-х гг. был объявлен не фактический “исполнитель” еврей Юровский, а простой рабочий и примерный отец троих детей с Верх-Исетского завода Петр Ермаков; в письме для членов Политбюро, излагавшем план террористического истребления православного духовенства, Ленин особо подчеркнул, что по этим вопросам запрещается публично высказываться товарищу Троцкому, а рекомендуется исключительно товарищу Калинину... Уже из этого понятно, однако, что национальные характеристики актеров на публичные роли имели для “режиссеров” чисто косметическое (“публичное”) значение,

а самые “показатели” к операции подбирались иные и вовсе не национальные. Какие же?

Возможно предположить, например, что Сталин действительно поверил “красной папке”, подброшенной ему Гейдрихом. Но авторы “Измены родине” отвергают этот вариант с порога. Прежде всего, не Гитлеру было обмануть Сталина (Троцкий однажды выразился: “У ЦК всегда была уверенность, что в переговорах с противником Сталин не даст себя обмануть”) ! Не мог же Сталин поверить в союз антисемита Гитлера с евреем Троцким, не мог же и не задуматься, “какого ляда” искал в Берлине осыпанный орденами и славой 42-летний маршал Тухачевский!

По правде сказать, аргументация авторов для меня не слишком убедительна. Будучи антисемитом — уж про себя-то он знал это точно! — Сталин охотно использовал для своих нужд “полезных евреев”: достаточно напомнить про Карла Радека, которого посол фюрера в Москве именовал в депешах “наш друг” и “мой информатор”.<sup>25)</sup> Помнил т. Сталин и общение г-на фон-Мирбаха с большевиками в 1918 г., когда германский посол потратил на подкуп депутатов Съезда советов огромные суммы марок. Почему бы ему и сейчас не поверить в использование Троцким их старого большевистского опыта! Лично он, Сталин, не колебаясь вступил бы в сделку с Гитлером (позже, мы знаем, вступил), почему не поверить в аналогичное поведение Троцкого? Вполне возможно, что Сталин представлял себе Гитлера более прагматичным в еврейском вопросе, т. е. в чем-то подобным себе самому; возможно, он и переоценивал его, как практического политика!

Что касается Тухачевского, то почему обязательно воспринимать его, как человека, одержимого примитивным честолюбием? А может, Тухачевский мечтал сыграть историческую роль в политике? Если повелитель советской империи и сам искал в ту пору контактов с фюрером германского народа, почему бы ему не поверить, что соответствующих партнеров в Берлине ищет и его маршал?

Авторы “Измены родине” отмечают, что Сталин не использовал “красную папку” ни в Высшем военном совете, ни на суде, ни тем более в прессе. Следовательно, заключают они, Сталин сам ей не поверил. Почему же? В обычном сталинском стиле как раз было хранить подобные материалы в личном распоряжении, чтобы в нужный момент ошеломлять любого Фому Неверующего беспорной уликой. Напомню, как он сломал “писательского генсе-

ка" Фадеева, усомнившегося в вине арестованного Кольцова, внезапно предъявив "собственноручные показания" Михаила Ефимовича...

Я вовсе не оспариваю оценку ситуации, изложенную в "Измене родине", она представляется мне в целом верной. Мне только недостает аргументации. Чтобы понять, почему Сталин выбрал именно Тухачевского и его поделщиков на роль открыто объявленных "предателей", необходимо, думается, внимательней присмотреться к биографии маршала, какой она описана в "Измене родине".

\* \* \*

В противовес Троцкому, маршала Тухачевского авторы явно не любят — но по той же самой причине: маршал не был революционером. Ощущая себя военным до мозга костей и осознав, что красные пришли в Россию надолго, а, следовательно, на свете отныне будет существовать лишь одна русская армия — Красная, он решил реализовать себя по эту сторону фронта, советскую. "Я ставлю на сволочь", — признался он другу.

Под занавес гражданской войны ее "демон", как прозвал его т. Сталин, подавил Кронштадтское восстание моряков и восстание мужиков на Тамбовщине и стал "почти профессиональным карателем", как именуют его авторы.

В 1931 г. Тухачевский окончательно потерял офицерскую честь: выступил с публичным докладом, направленным против уже арестованного Свечина. Кроме того, он на всех партийных съездах и конференциях восхвалял т. Сталина.

Таково "обвинительное заключение", изложенное на страницах книги. Защищать Тухачевского от этих обвинений непросто, но любой суд, в том числе суд истории, невозможен без участия защитника. Попробую выступить в этой непопулярной сегодня роли.

Как адвокат Тухачевского, я бы начал так: я мог бы признать обвинение против моего подзащитного логичным или имеющим объективные основания, если бы его обвинили в том, что он выступил в защиту тирании против своего народа, демократии и прав человека. Но как человек, издавна связанный с военными кругами, он, видимо, был низкого мнения не только о правящих кругах царской России, но и об их преемниках, белых генералах. Напомню, что отречься от престола убедил Николая II генерал Алексеев;

арестовывал царя лично генерал Корнилов; оба они явно не предвидели дальнейшего развития события, хотя бы и в чисто военном плане. Тухачевский же сделал ставку на реальных победителей — и проявил политическую проницательность.

Далее, те, кто упрекает его в служении красным, должны упрекать в том же самом Брусилова и С. Каменева, Свечина и Верховского, Снесарева и Величко (Троцкий как-то сказал, что он весьма уважал талант и независимый характер молодого командарма Тухачевского, но с иронией относился к его “коммунистическим убеждениям”). Принципиально маршал ничем от других не отличался, а потому неправильно предъявлять обвинение в “штатном усмирительстве” ему лично. Усмирительством занимались в гражданскую войну все без исключения полководцы по обе стороны фронта, ибо и крестьяне, и матросы были в той войне воюющей стороной. Напомню лишь, как резали кронштадтские матросы офицеров между Февралем и Октябрем; как штурмовали Зимний и разогнали Учредительное собрание; как убили Шингарева и Кокошкина на больничных койках. Напомню Вожака и Сиплого, начертанных в “Оптимистической трагедии” их “бояном” Всеволодом Вишневским! А чего стоит роль матросов в раскрытии “заговора Таганцева”, и это после того, как братски принявшие “кронштадтцев” в Финляндии офицеры переправили главных активистов обратно в Петроград бороться с большевиками!<sup>26)</sup> Кронштадтцы тоже являлись “стороной в войне”, и я искренне не понимаю, почему Тухачевский считается нормальным полководцем, когда он громит Колчака с его ижевскими и воткинскими рабочими дивизиями, и вдруг превращается в “почти штатного усмирителя”, едва поднимает оружие против революционных матросиков. То же относится и к подавлению Тамбовского восстания: оно было лишь самым крупным и известным, но отнюдь не единственным, которое подавляли что красные, что белые генералы — напомню хотя бы точно такое же мужицкое восстание Махно (только этнический состав у него был другой). Мужики на Тамбовщине жгли усадьбы и убивали ради лишней десятины своих соседей-помещиков!.. Слов нет, Тухачевский расправлялся с ними с невероятной жестокостью, но ведь и ответное сопротивление было соответствующим: Горький именно по поводу Тамбовщины писал в эмиграции (в 1922 г.), как пленным красноармейцам вспарывали животы, прибавляли кишку к столбу и заставляли бегать вокруг столба, наблюдая, как человек сам у себя вытаскивает из

живота внутренности. Боже упаси, я отнюдь не оправдываю страшных репрессий командарма, я только напоминаю, что в ее основе лежала не жестокость садиста и палача, карателя эйнзатцгруппы, а жестокость военного командира, использующего страх наказания как средство выполнить поставленную перед ним задачу — ну, и еще безоглядная молодость, когда человек не в силах осознать, в чем придется каяться перед смертью. Это вообще характерный комплекс в гражданской войне — почитайте книгу Виктора Кина “По ту сторону”, где несомненно благородный в основе герой просто не понимает, зачем живут на свете “беспольные люди”, вроде, например, домовладельцев или купцов; и хоть сам он никого не убивает, но так вот рассуждает... Вспоминал ли Виктор Кин своего Безайса, когда 20 лет спустя сидел в камере смертников?

Другой эпизод обвинения — восхваления Сталина с трибун съездов и конференций. Как ни странно, обвинение это было бы более суровым, если бы удалось доказать, что маршал искренне почитал Сталина. Но поскольку и сами авторы понимают, что, в отличие от честного партийца Якира, Тухачевский был, скорее, “Брутом, продавшимся большевикам”, посмотрим, какую цену он взял за свою бессмертную душу. “Успехи в создании боевой техники были впечатляющими... Крылатые машины Туполева... Венцом развития бронетанковой техники стала “тридцать четверка”, танк, которому почти не было равных до конца второй мировой войны... Пионерскими достижениями увенчались работы в... радиолокации и реактивном оружии. Этим успехам во многом способствовали Тухачевский, Алкснис, Халепский и их сотрудники. Они не только по достоинству оценили таких блестящих конструкторов, как Туполёв, Поликарпов, Ильюшин (авиация), Дегтярев, Токарев (стрелковое оружие), Котов (танкостроение), Лангемак, Победоносцев (реактивные снаряды), они еще сумели создать им сносные условия работы, что было делом весьма нелегким” (стр. 230). Да разве можно было наладить такую грандиозную работу, требовавшую великих государственных усилий, без того, чтобы кадить лезть верховному распорядителю государственных кредитов? Никому из военных, в том числе и Тухачевскому, роль придворного льстеца не доставляла удовольствия, равно, как, наверно, некогда и Суворов не испытывал радости, называя себя “рабом Вашего величества” в письмах на имя истеричного тирана Павла I, — но такова была данная им историчес-

кая реальность, и Тухачевский так же выполнял обряды большевистской жизни, как ходил бы по праздникам в православный храм (будучи религиозно индифферентным человеком), если бы остался офицером императорской армии. Это сравнение принадлежит авторам книги, но оно точно! Советские командармы и комкоры соглашались платить положенную дань политическому лицемерию и конформизму, потому что в обмен им позволяли творить — творить лучшую армию в Европе, готовую защищать страну от самого страшного врага в ее истории. Возможно, они — и Тухачевский в их числе — ошибались, я мог бы согласиться с таким возражением, возможно, им надо было действовать как-то иначе, но посчитать их просто подлецами я не могу. Для меня критерием порядочности служат не их речи на съездах, а то примечание к тексту, которое авторы вынесли в конец книги: “Высшие начальники визировали аресты своих подчиненных. Сохранились пухлые папки с подписями Гамарника, Примакова, Блюхера, Уборевича, многих других, но не Тухачевского и Якира” (стр. 474). Если это правда — вот, на мой взгляд, решающий аргумент к оправданию многих грехов моего подзащитного! Как и оправданием многих грехов Якира служит для меня сообщение Р. Конквеста, что зимой 1933 г. он просил у Сталина выдать из госрезервов посевное зерно для голодающих крестьян Украины. (Авторы “Измены родине” полагают, что именно из-за этой просьбы он не получил причитавшегося ему по совокупности заслуг звания маршала.)

Третий эпизод обвинения — выступление с докладом против арестованного и заключенного в лагерь Свечина. Что можно сказать в оправдание столь бесспорной непорядочности? Только одно: “Весной 1932 г. тех, кто выдержал оздоровительный лесоповал, выпустили на волю и вернули на прежние посты. Некоторых даже допустили впоследствии в новую Академию Генерального Штаба, например, Свечина и А. Верховского” (стр. 216). Но ведь Свечина и других арестовали “по решению Сталина и с санкции Ворошилова” (там же), и арестованные вели себя нехорошо — “допросы ничего не дали”. В том потоке “запиравшихся” инженеров, экономистов, биологов расстреливали пачками (прочитайте о судьбе инженера Пальчинского в “Архипелаге”, это и есть тот самый “поток”). А Свечина и его коллег — выпустили. И допустили к работе профессорами Академии Генштаба! Кто уплатил Сталину за это? Кто ходатайствовал о приеме их обратно на



службу? Если Сталин и Ворошилов сами распорядились об аресте, то отстаивать коллег могли только замы Ворошилова — Гамарник и Тухачевский (возможно, еще, что и Егоров). А что, если “дискуссия”, на которой коллеги отреклись от своих товарищей и после которой тех освободили, стала частью “пакетной сделки”? Во всяком случае, я не торопился бы бросать в маршала камень за его тогдашний доклад, пока нам не известно, по чьему же ходатайству арестованных выпустили из зон...

Авторы внимательно расклассифицировали обвиняемых и судей по разным параметрам, но мне кажется, не учли одного — и решающего — обстоятельства: генералы, сидевшие на скамье подсудимых в июне 1937 г., были как раз теми людьми, которые готовили РККА к войне на западе — против гитлеровской Германии: Якир на Украине, Уборевич — в Белоруссии, Примаков — на Балтике, Путна — в разведке. Сам Тухачевский курировал все оборонительные мероприятия: “...в работе “Военные планы нынешней Германии” (1935 г.) он указывает, что ускоренная милитаризация этой страны угрожает миру на континенте” (стр. 23). Его жизненной целью, ради которой он соглашался служить и льстить тирану, было создание армии, которая сокрушит неминуемую агрессию вермахта. Но вот что интересно: в начале 1936 г. он едет в Англию и Францию с визитом, цель которого — установить контакты для координации действий в Европе; и в Париже, например, убеждает начальника генштаба Гамелена, что Германия сначала нападет на Францию и лишь потом на СССР. Видимо, визит его проходил успешно: по возвращении маршала назначают на высокую, специально для него приготовленную должность. Но интересно: в то время, когда он еще находился в Париже, эмигрантская газета “Возрождение” поместила статью, где сообщала, что маршал, во-первых, масон очень высокой степени, а во-вторых, во время войны бежал из плена в Россию по заданию германской разведки. Р. Гуль, эмигрантский писатель, автор книги “Тухачевский”, опубликовавший, как признанный специалист, опровержение на эту статью, заметил: ее автором был некто Алексеев, человек которого впоследствии разоблачили как агента НКВД в Париже.<sup>27)</sup> Иными словами, “игра” чекистов против маршала началась гораздо раньше, чем была сочинена Гейдрихом его пресловутая “красная папка”!

Осенью 1936 г. Тухачевский настоял на проведении военной игры: по ее условиям немцы сосредотачивали 150—200 дивизий вдоль западных границ СССР, напали без объявления войны и в

первый период военных действий вели наступление на территории СССР.

“Сталин реагировал немногословно (на предостережения Тухачевского — М. Х.): “Вы что, советскую власть запугать хотите?” (стр. 28). “Тухачевский не мог не понять: накануне неизбежной мировой войны оборона страны, ее судьба находятся в руках самонадеянных, близоруких и невежественных людей”.

Эта очередная филиппика против “плохого” Сталина (в противовес “мудрому” Тухачевскому) не может вызвать доверия читателей. У Сталина имелось множество пороков, но не нужно ему приписывать лишнего и даже противоположного его характеру. Сталин не был ни излишне самонадеянным, ни близоруким в вопросах, касающихся сохранения и удержания власти, — напротив, подобно Ленину, он обладал почти гениальным чутьем на любую угрозу в этой области, поразительной выдержкой в планировании и разработке своих намерений в этой сфере, умением замаскировать их от любого конкурента вплоть до самого последнего мгновения, когда из засады наносился смертельный удар. Что спорить — он был гением власти, и оборона страны постоянно находилась в поле его политического зрения. Однажды во время войны он вдруг возразил Идену, который по привычке называл фюрера выскочкой и невеждой (именно так, как наши авторы сейчас ругают его самого!). Нет, сказал Сталин, Гитлер — гений, сумевший объединить свой павший духом после Версаля народ и создать из Германии мирового значения державу. Но, добавил Сталин, у Гитлера есть фатальный для руководителя недостаток: “Он не знает, когда нужно остановиться”. Иден улыбнулся, Сталин обиделся: “Что смешного в моих словах?” — и не успел Иден найтись, вдруг продолжил: “Я понял, почему вы улыбнулись, мистер Иден. Вы спрашиваете себя, а я сам могу ли остановиться. Ну что ж, могу вас заверить, я всегда могу остановиться”.<sup>28)</sup> Человека, который ценил в себе это, вряд ли можно назвать излишне самонадеянным. Но известно другое: Сталин редко говорил о людях то, что думал на самом деле. В том числе, наверно, и тогда, на маневрах, Тухачевскому. Вместо того, чтобы поверить в отсутствие у него бдительности и политического предвидения, стоит задуматься: почему он считал нужным на людях грубо оборвать Тухачевского, излагавшего вполне правдоподобный сценарий германского вторжения? И почему (это, возможно, вытекало из правильного ответа на первый

вопрос) он через год решил ликвидировать и самого маршала, и его единомышленников в "германском вопросе"?

Здесь следует напомнить, что в СССР главным вероятным противником в 30-х гг. долго считалась не Германия, а — Япония. Против японцев сочиняли романы ("На востоке" Павленко), песни ("Три танкиста"), частушки ("Если надо, Коккинаки долетит до Нагасаки"), осваивали Северный морской путь (морскую коммуникацию для войск), строили опорные базы (Комсомольск, Находку), заселяли пустынный оперативный тыл огромной империей лагерей... В памяти политиков того поколения сохранилась травма поражения царской России в 1904—5 гг. и последовавшей затем революции. Сталин знал, что в России военное поражение однозначно оценивается обществом как признак "гниения" правящего режима: так было после поражения в Крымской войне (а ведь Россия проиграла ту войну не кому-нибудь, а коалиции почти всех великих держав тогдашнего мира, причем держалась против них четыре года и отделалась — по мирному договору ничтожными уступками); так было и после поражения от "макак" под Мукденом и Цусимой. Нет нужды, что позже для того, чтобы разгромить Японию, потребовались многолетние совместные усилия США, Британской империи, Китайской республики, французского корпуса в Индокитае, атомная бомбардировка и, наконец, вступление в войну СССР, — в России все равно до сих пор многие считают Куропаткина просто бездарью, Стесселя — предателем, а Рождественского — придворным лизоблюдом. (Черчилль, кстати сказать, считал японцев солдатами даже лучшими, чем немцы!) Сталин не страдал расовым высокомерием: его генералы подготовили дальневосточную армию так, что, даже обескровленная террором 1938 г., ОКДВА отбросила в 1939 г. японский авангард и в результате переместила направление удара армий Хирохито к югу, на Китай, и к востоку, в сторону США.

Любой российский правитель в эту эпоху обязан был позаботиться о предотвращении войны на два фронта. И Сталин тоже искал своего "Мюнхена" — искал путей умиротворения своих противников. Продав японцам КВЖД, он временно снял напряжение на востоке, а затем приступил к умиротворению на втором направлении — на западе.

В 1934 г. Политбюро принимает решение "побудить Гитлера любой ценой вступить в соглашение с Советским Союзом". В 1935—36 гг. переговоры в Германии ведут личные представители Сталина

— Давид Канделаки и Карл Радек. К концу 1936 г. кажется, что соглашение достигнуто: советник посольства Бессонов обсуждает с немецкими коллегами проект “Пакта о ненападении”, и Сталин сообщает Ежову: “Очень скоро мы достигнем согласия с Германией” 29)

Но в феврале 1937 г, следует полный афронт! Рейхсминистр иностранных дел фон Нейрат полностью отвергает советские авансы, добавив, правда: “Если события будут развиваться в сторону установления в России абсолютного деспотизма, поддержанного военными (разрядка моя. — М. Х.), в этом случае можно вновь обсудить германскую политику в отношении СССР”. 30)

А теперь сопоставим с этими событиями цепочку фактов, изложенных в “Измене родине”: Сталин отправляет Тухачевского, своего главного военспеца по Германии, в Англию и Францию для координации действий; одновременно он посылает в Берлин Канделаки для заключения договора с Гитлером. Вскоре затем Тухачевский пытается провести маневры, поразительно похожие на тот сценарий, по которому впоследствии развернется война; Сталин публично возражает ему и одновременно отдает приказ о сворачивании разведывательных и коминтерновских акций против Германии. Иными словами, Сталин уже явно выбрал себе союзника в Европе. И вдруг — неожиданный разрыв контактов со стороны самих немцев! Задумавшись над причинами этого срыва важнейшей для него инициативы, Сталин не мог не обратить внимания на “условие фон Нейрата”: установление абсолютной диктатуры, поддержанной военными.

Можно, конечно, допустить, что он поверил подброшенной “красной папке” и решил, что некая “конкурирующая фирма” предложила фюреру “лучшие” условия или вообще показалась более приемлемой. Если бы... если бы мы не знали, что НКВД регулярно получал от своего агента Зборовского точную информацию о любых контактах Троцкого, а потому Сталин мог поверить в общение Троцкого с германскими генералами с таким же основанием, что и в полет Пятакова в Норвегию (якобы, на свидание с тем же Троцким). Есть и еще одна возможность — предположить, что игра НКВД против Тухачевского (с обвинением его в масонстве и прогерманской ориентации) началась задолго до появления в Москве “красной папки”.

(Вот новая деталь, тоже опровергающая версию, будто Сталин

“поверил” обвинениям против Тухачевского: в монографии Дм. Волконогова о Сталине приводится показание следователя, который под пытками вырывал у Тухачевского, буквально накануне суда, оговор генерала Апанасенко, — см. “Октябрь”, 1988, №12, стр. 143. Если бы Сталин поверил в измену Тухачевского, он не оставил бы Апанасенко на свободе; между тем генерал Апанасенко погиб в бою под Белгородом в 1943 году).

Однако, и преуменьшать значение “красной папки” тоже не следует: она могла показаться Сталину неким указателем, неким индикатором настроений Гитлера в 1937 г. Разумеется, Гитлеру он не верил (“Надул, Гитлера надул!” — кричал, не сдержавшись, при Хрущеве, узнав о предполагаемом “пакте о ненападении”). Но он мог предположить, что цель интриги с “красной папкой” — в том, чтобы намекнуть на условия, при которых Гитлер будет готов возобновить переговоры о союзе. С точки зрения Сталина, эти условия были вполне справедливыми. Гитлер (через гейдриховскую “папку”) требовал устранить именно ту группу советских генералов, которые считались в Германии душой антигерманской военной подготовки в СССР. “Если предположить, — пишут авторы “Измены Родине”, — что Сталин замыслил альянс с Гитлером не летом 1939 г., а раньше, то ради одного этого ему следовало избавиться от Тухачевского и его товарищей, потому что для них такой курс был невыносим и органически неприемлем, как любое предательство” (стр. 415). Уничтожение главного антигерманского центра в армии могло принести колоссальный внешнеполитический выигрыш в той многоходовой политической комбинации, которую задумал Сталин в 1937 г. В рамках принятого им политического инструментария оно было вовсе не безумной акцией тирана, а весьма эффективным тактическим ходом. Этот ход, во-первых, временно умиротворял обеспокоенных руководителей нацистской Германии, а СССР избавлял от угрозы войны, к которой он еще не был достаточно подготовлен. Во-вторых, уж если те самые командармы, что готовили отпор Гитлеру, оказались его же агентами, то подобное чудовищное коварство давало достаточно оснований, чтобы убедить июньский (1937 года) пленум ЦК выдать чрезвычайные полномочия т. Ежову. Иными словами, это позволяло убедить сталинский ЦК санкционировать собственное самоубийство. Таким образом, процесс Тухачевского сыграл в истории СССР ту же самую роль, какую в истории Германии сыграл пожар рейхстага, после которого законодательный орган им-

перии вынужден был передать чрезвычайные полномочия фюреру, в конце концов, ликвидировавшему именно тот образ правления, который олицетворялся тогда рейхстагом.

Итак, моя вторая гипотеза состоит в следующем: **подбор кандидатур на процесс военных в июне 1937 года диктовался политической целью, подсказанной Сталину в министерстве иностранных дел Третьего Рейха: установление абсолютной диктатуры, поддержанной новым кланом военных руководителей.** С внешнеполитической точки зрения это был советский вариант Мюнхенского соглашения.

Как и оригинальный Мюнхен 1938 года, невидимый советский Мюнхен тоже не принес успеха своим авторам. Но чтобы доказать его существование я, будучи литератором, могу обратиться к методу, запретному для историка, — к исторической аналогии. Едва в 1939 г. промелькнули первые намеки, что Гитлер все-таки не отбросил полностью мысль о договоре, как Кремль стал готовить новый процесс, аналогичный процессу военных 1937 г. То был процесс дипломатов “школы Литвинова”, и бывший наркоминдел должен был сыграть на нем роль “дипломатического Тухачевского”, на этот раз работавшего на англичан. Обвиняемыми должны были стать, по-видимому, посол в США Уманский, посол в Италии Штейн, заведомо печати НКИДА Гнедин (Парвус), возможно, также Михаил Кольцов и Илья Эренбург. Кандидат в члены Политбюро и нарком внутренних дел Л. Берия лично дал указания, как нужно пытаться Е. Гнедина, чтобы тот подписал нужные показания на бывшего наркома иностранных дел. Но Гитлеру показались излишними эти дополнительные ритуальные жертвы на алтарь советско-нацистской дружбы, и он заключил Пакт, не дождавшись конца следствия. Поэтому большинство жертвенных тельцов остались живыми — для другого случая...

При таком подходе оказывается, что действия Сталина были вовсе не безумным уничтожением собственной армии (или дипломатии), а продуманной операцией, способной в принципе принести громадный политический выигрыш руководимой им стране (предотвращение войны с Германией до того момента, когда можно будет “выступить последними, чтобы бросить решающую гирию на чашу весов, гирию, которая могла бы перевесить” (Сталин. собр. соч., т. 7, стр. 14) и одновременно — дававшей огромные преимущества самому вождю в задуманной им коренной “перестройке” олигархической политической структуры в монар-

хическую. Если сейчас принято клеймить Сталина за эту операцию, и, как делают это наши авторы, даже именовать ее "Изменой родине", то лишь потому, что Сталин свою политическую игру, этот советский Мюнхен, несомненно Гитлеру проиграл. Но ведь в политике, как и в спорте, как и в любой игре, проигрыши неизбежны. А игру против Сталина вел как-никак лучший политик тогдашней Германии, а может, и всей Европы, единственный человек, который Сталина понимал "изнутри" и ценил его — очень! Он-то и "снял весь банк" в те тридцатые годы, оставив с носом всех соперников, включая Сталина. Но вспомните: размышляя о будущей судьбе России после своей победы, Гитлер вдруг предложил отдать всю ненужную ему территорию (к востоку от линии "А-А": Архангельск—Астрахань)... Сталину. "Все-таки он великий человек!" — заметил при этом фюрер...

*(Окончание следует)*

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

Новая книга

Иосеф Недава.

Вечный комиссар

(Перевод с иврита Таубина, предисловие А. Воронеля)

200 стр.

Цена 14 долл.

В своем предисловии А. Воронель отмечает, что многие евреи, ушедшие в чужую революцию и отрeksiеся от своего народа, тем самым утрачивали самостоятельность и вынуждены были представлять от чьего-то иного имени, "комиссарствовать" при иных вождях. Книга израильского исследователя И. Недавы рассказывает об одном из самых выдающихся таких "комиссаров", Льве Троцком, прослеживая его взаимоотношения с чужой революцией и своим народом на фоне всей его бурной и сложной жизни.

Заказы и чеки принимаются по адресу: "Москва—Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

## ПОРТРЕТЫ В ПРОФИЛЬ

*Действие происходит в Германии в период до, во время и после правления нацистов: евреи Германии выясняют свои отношения с немецкой культурой, а немецкая культура выясняет свои отношения с нацизмом.*

*Действующие лица в порядке упоминания:*

*Ханна Арендт /1906 — 1975/ — известный политический и социальный мыслитель; родилась в Ганновере, училась в Гейдельберге и Фрайбурге у Ясперса и Хайдеггера; с 1933 г. — в эмиграции /Франция, США/; автор книг "Происхождение тоталитаризма", "Об антисемитизме", "Эйхман в Иерусалиме" и др.*

*Карл Ясперс /1882 — 1969/ — крупнейший немецкий философ-экзистенциалист; в 1933 г. был отстранен нацистами от преподавания; его публикации во время войны воспринимались как вынужденно сдержанное напоминание о погрязших нацистами либерально-гуманистических ценностях; после войны опубликовал нашумевшую книгу "О немецкой вине".*

*Мартин Хайдеггер /1889 — 1976/ — крупнейший немецкий философ-экзистенциалист; в 1933 г. назначен нацистами на пост ректора Фрайбургского университета и во вступительной речи выразил согласие с "антибуржуазной направленностью" нацизма; с 1936 г. охлаждает к нацистской идеологии; в 1945 г. был на некоторое время отстранен от преподавания за свое сотрудничество с нацистами в годы войны, которое стало предметом широкой дискуссии в европейских интеллектуальных кругах.*

*Эдмунд Гуссерль /1859 — 1938/ — знаменитый немецкий философ, создатель т.н. "феноменальной школы"; преподавал во Фрайбурге, где его ассистентом был М.Хайдеггер. В 1933 г. был отстранен Хайдеггером от преподавания по причине еврейского происхождения.*

*Вильгельм Фуртвенглер /1886 — 1954/ — знаменитый немец-*



*кий дирижер-романтик, сменивший Р. Штраусса на посту руководителя Берлинской оперы; прославился толкованиями Бетховена и, особенно, Вагнера. В годы нацистского режима занимал двойственную позицию; после войны возмущение музыкальных кругов, вызванное предполагаемыми связями Фуртвенглера с нацизмом, воспрепятствовало его назначению на пост дирижера Нью-Йоркского филармонического оркестра, а позже — симфонического оркестра в Чикаго.*

*Герберт фон-Караян /1908 — 1989/ — знаменитый австрийский дирижер и пожизненный руководитель Берлинского филармонического оркестра. В 1933 г. вступил в нацистскую партию и стал дирижером Берлинской оперы, сменив на этом посту изгнанных за еврейское происхождение Отто Клемперера и Бруно Вальтера, а также эмигрировавшего из-за несогласия с нацизмом Эриха Клейбера. После войны за сотрудничество с нацизмом был отстранен от исполнительской деятельности до 1948г., после чего возобновил дирижирование с крупнейшими музыкальными ансамблями всего мира.*

*Ханна Арендт и Карл Ясперс*

## РАЗГОВОР В ПИСЬМАХ

Мюнхенское издательство "Пипер" опубликовало переписку К.Ясперса с его ученицей Х.Арендт, охватывающую свыше 40 лет, от студенческих лет Х.Арендт и до смерти Ясперса. Публикуемая выборка, нарушая хронологический порядок, концентрируется, в основном, на двух темах: немецкие евреи и Германия — немецкие интеллектуалы и нацизм; она перепечатывается с любезного разрешения польского журнала "Зешиты лите-рацьке" ("Литературные тетради", Париж).

**АРЕНДТ — ЯСПЕРСУ, БЕРЛИН, 1.1.1933.**

Многоуважаемый, дорогой профессор,  
искренне благодарю Вас за статью о Максе Вебере, которая доставила мне большое удовольствие. Признаюсь, тем не ме-

нее, что моя запоздалая благодарность имела свою причину: название статьи и Ваше предисловие к ней делают для меня затруднительным занять определенную позицию. Дело не в том, что Вы видите в Вебере великого немца, но в том, что в его лице Вы демонстрируете "сущность немецкой души" и отождествляете эту "сущность" с "разумом и гуманизмом, берущими свое начало в страсти".

Именно это утверждение и не позволяет мне занять определенную позицию в отношении Вашей статьи — как, впрочем, и в отношении патриотизма самого Макса Вебера.

Вы, конечно, понимаете, что, будучи еврейкой, я не могу ни соглашаться, ни возражать этим словам, поскольку и мое согласие, и мои возражения были бы в равной степени неуместными.

Я не отмежевываюсь от употребленных в статье формулировок до тех пор, пока Вы говорите о "смысле всемирного существования Германии" и ее роли в "культуре будущего". С этой немецкой ролью я, в конечном счете, могу отождествиться, хоть и не без определенных оговорок. Для меня Германия — это мой родной язык, философия и литература. Но мне хочется сохранить дистанцию, когда я читаю — сами по себе великолепные — строки Вебера о том, что для возрождения и духовного подъема Германии он готов был бы заключить союз даже с самим дьяволом. Именно эта фраза раскрывает всю суть наших расхождений.

*ЯСПЕРС — АРЕНДТ, ГЕЙДЕЛЬБЕРГ, 3.1.1933.*

Что за роковая незадача с этой немецкой душой! Меня удивляет, что Вы отделяете себя от немцев, подчеркивая свое еврейство. Но вместо того, чтобы вдаваться в этот вопрос, я предпочел бы объяснить Вам суть моих выводов в надежде, что если не сейчас, то в каком-нибудь будущем разговоре мне удастся добиться Вашего согласия с ними.

Немецкая душа не является для меня неким общим видовым понятием, исключаяющим всякие другие виды. Это, скорее, некая трудно определяемая и целостная историческая интенция. Если я говорю, что немецкая душа тождественна разуму и так далее, то это не означает, будто разум — исключительно немецкая черта. Именно поэтому я совершенно сознательно и без всякого противоречия противопоставляю этой фразе из своего предисловия последующую фразу о том, что разум не следует понимать

как некую специфически немецкую особенность.

Этот несколько странный выбор формулировок обусловлен тем, что я ставлю перед собой воспитательные цели. Я нахожу, что наша националистически настроенная молодежь, при всей ее путаной и превратной фразеологии, настолько исполнена доброй воли и подлинного размаха, что мне хотелось бы просветить ее в отношении того, какие требования ставит перед нею ее "немецкость" — тем более, что я уважаю ее стремление к немецкому самосознанию. По тем же причинам я счел подходящим опубликовать свою статью в националистическом издательстве, публикации которого имеют шанс достичь читателей, нуждающихся, а быть может — и жаждущих такого воспитующего импульса...

Словом "немецкий" столько злоупотребляли, что его почти уже нельзя употреблять. Привлекая на помощь фигуру Макса Вебера, я предпринял — быть может, безнадежную — попытку наполнить это слово определенным этическим содержанием. Я счел бы эту попытку удавшейся лишь в том случае, если бы и Вы смогли сказать: "Да, я тоже хочу быть немкой". Коль скоро Вы уже говорите о родном языке, философии и культуре, Вам осталось добавить лишь историко-политическую судьбу, и все наши разногласия исчезнут. Судьба эта означает **сегодня**, что Германия может существовать только в объединенной Европе, что возвращение ее прежнего блеска может произойти только путем объединения Европы и что злым гением нашего континента является сегодня эгоистический, дремучий страх французов, с которыми, несомненно, придется вступить в соглашение. Ибо немецкий ареал, который должен был бы, в конечном счете, простирается от Голландии до Австрии и от Скандинавии до Швейцарии, невозможен, а для нынешней эпохи был бы еще слишком мал.

*АРЕНДТ — ЯСПЕРСУ, БЕРЛИН, 6.1.1933.*

Что меня поставило в тупик — это, разумеется, прежде всего выражение "немецкая душа". Вы сами говорите, что им слишком злоупотребляли — для меня оно почти тождественно злоупотреблению. Но это не так уж существенно: даже если бы я впервые услышала это выражение из Ваших уст, я бы все равно удивилась. Возможно, я не поняла, что Вы имели в виду, говоря о целостной исторической интенции. Я поняла это в том

смысле, что немецкий национальный характер всякий раз реализует себя в своих исторических деяниях. В таком случае он оставался бы, независимо от его неопределенности, чем-то абсолютным, неизменным, не изменяемым ни историей, ни судьбой Германии. С таким подходом я не могу, естественно, отождествиться, поскольку не нахожу в себе, так сказать, подтверждений этого "немецкого национального характера".

Но я, конечно же, немка в том смысле, о котором упоминала. С той оговоркой, что попросту не могу прибавить к этому ощущения общности с немецкой историко-политической судьбой. Я слишком хорошо знаю, как поздно и половинчато евреи были допущены к участию в этой судьбе, как, в сущности, случайно они вошли в эту — тогда еще чужую — историю. И даже если бы кому-нибудь вздумалось противопоставить моим словам свидетельства последних ста пятидесяти лет, все еще останется в силе, что там, где речь идет о евреях, принципиально невозможно иметь в виду те немногие семьи, которые живут в Германии на протяжении ряда поколений, но нужно учитывать, прежде всего, и всех тех пришельцев с востока, которые каждый раз заново начинают процесс ассимиляции. Германия в ее былом блеске — это Ваше прошлое, но в чем состоит мое прошлое — это не выразить одним словом.

Вы говорите об объединении Европы, которое близко и моему сердцу. Разница, однако, в следующем: Вы хотите объединения любой ценой, потому что думаете о Германии. Я же к такому объединению, каким оно кажется сегодня единственно возможным — то есть под гегемонией относительно устойчивой Франции, — стремиться никак не могу. В такой форме оно было бы для меня чем-то ужасным — и никакое возрождение Германии не было бы для меня удовлетворительной компенсацией.

*ЯСПЕРС — АРЕНДТ, ГЕЙДЕЛЬБЕРГ, 16.5.1947.*

Быть может, осознание мною своей "немецкости" и с детства впитанная очевидность того, что все немецкие евреи — это немцы, превратились сегодня в вопрос, на который я не могу дать окончательного ответа, хоть и предчувствую его. Мы с Вами когда-то давно (кажется, в 1932 году) отдавали себе отчет в определенной разнице взглядов; тогда я не придавал ей личного характера: речь шла о чем-то наверняка не абсо-

лютом, но в то же время и ни в коей мере не пустяковым. Но сам тот факт, что такие разногласия возможны, должен стать толчком для усилий в пользу такого устройства мира, в котором проблемы подобного рода перестанут существовать. Я никогда не приму определения немецкости, которое не будет включать моих еврейских друзей, равно как и такого, по которому швейцарцы и голландцы, Эразм и Спиноза, Рембрандт и Буркхардт не будут считаться немцами.

Вместе с Максом Вебером я высказался в пользу идеи немецкого политического могущества, рассматривая при этом Швейцарию и Голландию как часть немецкого ареала, находящуюся, к счастью, за границей политического риска.

Благодаря двум этим странам стало возможным то, что является немецким в лучшем смысле этого слова — в отличие от Германского Рейха, где немецкость (как и в 1914 году) оказалась под угрозой.

Тот факт, что германский Рейх не только потерпел поражение, но перед этим еще и привел к упадку немецкости, наградив ее преступным обликом, не исключает, тем не менее, иной возможности, принадлежащей к разряду наших благородных воспоминаний (от барона фон Штайна до Макса Вебера).

Мы были, однако, ослеплены и недооценили эту возможность. Лишь во времена нацизма я отдал себе отчет, что моральный упадок начался еще в шестидесятые годы минувшего века...

*АРЕНДТ — ЯСПЕРСУ, 30.6.47.*

Я хорошо помню разделяющие нас разногласия и помню, что Вы тогда сказали, что все мы, в конечном счете, находимся в одной лодке. Не помню уже, ответила я или только подумала, что с Гитлером в качестве капитана (это было в канун 1933 года) мы, евреи, уже не будем в той же самой лодке.

Это не было справедливо в отношении Вас, потому что в то время и Вы уже не сидели в той же лодке — разве что в качестве узника. В сущности, в условиях свободы каждому должно быть дано право решать, кем он хочет быть — немцем, евреем или кем-то еще другим. В безнациональном государстве, каковыми являются Соединенные Штаты, национальность и государство не тождественны друг другу, и весь этот вопрос не имеет никакого политического значения, разве что общественное и куль-

турное. В европейской системе национальных государств положение сложнее, но если бы какой-нибудь немец захотел стать итальянцем или наоборот и начал соответственно себя вести, — почему бы и нет?

Если сегодня немецкие евреи не хотят быть немцами, нельзя ставить это нам в вину, хотя это, естественно, кажется несколько странным. В принципе они хотят этим сказать, что не намерены брать на себя ответственность за Германию, и тут они правы. Только это и решает. Чего бы мне хотелось и чего сегодня нельзя достигнуть — это создания таких условий, когда каждый мог бы свободно выбирать, где он хочет вести свою политическую деятельность и в какой культурной традиции он лучше всего себя чувствует. Чтобы кончилась, наконец, повсюду проверка происхождения.

#### *ЯСПЕРС — АРЕНДТ, ШВЕЙЦАРИЯ, 20.7.47*

Я думаю, что разделяю Ваше мнение о народе, свободе выбора политической ответственности и тем самым — гражданства. Но ведь существует и нечто такое, что нельзя выбрать, но приходится "наследовать". Этого не устранил самое лучшее и самое справедливое общественное устройство. И это нечто не представляется мне недостатком, но, скорее, чем-то позитивным, хотя порой — мучительно позитивным. Если сказать, что Вы — немецкая еврейка, а я — немец, — это будут, разумеется, всего лишь слова. Все зависит от их толкования. Я постоянно размышляю, вкладывая в это все свое сердце, — что же это все-таки значит, что я немец? До 1933 года для меня тут не было никакой проблемы. Но теперь налицо факт, который здесь, в Швейцарии, я ощущаю сильнее, чем в Гейдельберге. Весь мир кричит мне: ты немец. Я надеюсь когда-нибудь найти на это ответ.

Вопрос: что значит быть евреем? — представляется мне куда более ясным, чем вопрос, что значит быть немцем. Библейская религия: идея Бога и идея Завета — без этого, мне кажется, еврей перестанет быть евреем. Но благодаря этим идеям он становится независимым от политики и Палестины. Палестина кажется мне переходящим продуктом эпохи мышления в национальных категориях; для выживания нации страна эта необычайно важна, но как реальность она не только политически ненадежна

(в конце концов, все на свете ненадежно), но, быть может, даже представляет собой огромную опасность для еврейской сущности, а именно — опасность сведения евреев до уровня обычного народа и утраты ими в этой связи всякого значения в сфере духовных проблем.

Я считаю страх перед ассимиляцией вполне обоснованным: если бы в мире не осталось больше убежденных евреев, с ними исчезло бы что-то крайне ценное для всех нас.

Естественно было бы спросить: не ведет ли весь этот палестинский эксперимент — в духовном аспекте — к тотальной ассимиляции евреев? Хотя физически они и продолжают существовать, но всего лишь как обычный народ наравне с другими, то есть — учитывая реальную ситуацию, — как народ, численно ничтожный и лишенный всякого значения.

Неужто нам суждено увидеть исчезновение последних остатков сублимации — остатков "избранного" народа? Это будет означать, в конечном счете, исчезновение еврейскости среди тех, кто еще именует себя евреями. Но все это только опасения. В делах такого рода требовать ничего нельзя.

*АРЕНДТ — ЯСПЕРСУ, 4.9.1947.*

Что касается евреев: во всем, что Вы говорите, историческая правда полностью за Вами. Остается, однако, тот факт, что существует множество евреев, которые, подобно мне, совершенно не связаны с еврейством в религиозном смысле и тем не менее являются евреями.

Быть может, это приведет к исчезновению народа; но этого никак нельзя предотвратить. Единственное, что нам остается, — стремиться к таким политическим условиям, которые не сделают невозможным существование евреев в будущем.

Если же говорить о Палестине, то Вы совершенно правы: это единственная до конца последовательная попытка ассимиляции из всех, предпринимавшихся когда-либо. В сравнении с ней все прочие, коль скоро они не были попросту усвоением европейской культуры, но программой действия, — не более, чем детские забавы. С этой точки зрения только к сионистам следует относиться всерьез. Именно они (а не ассимиляторы) — единственные, кто уже не верит в избранный народ. Однако то, что они затем создали в Палестине, — это нечто сверхъестествен-

ное: не просто колонизация, но серьезная попытка создания нового общественного строя, в котором в последнее время все более исчезают его наиболее утопические элементы толстовского происхождения. Что касается народа, то в нем за последние годы произошла такая решительная перемена, что можно и впрямь говорить об изменении так называемого национального характера. Существенно, прежде всего, то, что значительная часть народа, и не только в Палестине, и не только сионисты, отбрасывает выживание как главную цель своей жизни — и готова даже погибнуть. Это что-то совершенно новое. Во-вторых, в народе возникла не поддающаяся описанию неприязнь к идее национальной избранности. Можно бы даже сказать, что евреи сыты этой идеей по горло.

*АРЕНДТ — ЯСПЕРСУ, 17.8.46.*

Меня занимает следующий вопрос. Ваше определение гитлеровской политики как преступления ("вины" в смысле уголовного права) кажется мне сомнительным. Преступления времен второй мировой войны не могут быть истолкованы в рамках чисто юридических категорий, и именно в этом состоит их чудовищность. Эти преступления не имеют адекватного наказания: повешение Геринга, разумеется, необходимо, но совершенно неадекватно. Иными словами, эта вина, в отличие от вины в смысле уголовного права, перерастает и взрывает все юридические нормы. Вот почему гитлеровцы в Нюрнберге так забавляются: они-то, естественно, об этом знают.

Так же, как вничеловечна эта вина, так вничеловечна и невинность жертв. Такими невинными, как невинны были все без исключения перед газовой камерой (самый отвратительный ростовщик был таким же невинным, как новорожденный младенец, потому что ни одно преступление не заслуживает такого наказания), — такими абсолютно невинными люди никогда не бывают и не были.

Перед лицом вины, превосходящей любые мыслимые преступления, и невинности, выходящей за рамки всякой добродетели или достоинства, рушатся все человеческие и политические критерии. Тут — пропасть, которая открылась перед нами уже в 1933 году.



*ЯСПЕРС — АРЕНДТ, ГЕЙДЕЛЬБЕРГ, 19.10.1946.*

Я не могу согласиться с Вашими критическими замечаниями по поводу моей статьи "О немецкой вине". То, что совершили гитлеровцы, невозможно назвать "преступлением" — этот Ваш подход меня несколько беспокоит, потому что вина, превышающая любую вину в смысле уголовного права, неизбежно становится чем-то "великим", чем-то демонически великим, а это так же чуждо моему отношению к гитлеровцам, как разговоры о демоничности самого Гитлера.

Мне представляется, что эти вещи следует видеть во всей их банальности, во всем их пошлом ничтожестве, ибо такими они и были в действительности: бактерии могут вызвать эпидемию, которая уничтожит целые народы, но несмотря на это они по-прежнему остаются всего лишь бактериями. Всякая попытка создания мифов и легенд вселяет в меня страх, а ведь всякая неопределенность уже является такой попыткой. То, что Геринг избежал виселицы, многим представляется чем-то необычайным — между тем как на самом деле это сводится к самой обычной бездарности тюремного персонала.

Вы нашли прекрасные слова, противопоставляя бесчеловечной вине гитлеровцев мнимую, бесчеловечную невинность их жертв, но Вы должны были это как-то иначе сформулировать (как именно, я не знаю). Ваша нынешняя формулировка ведет нас чуть ли не в область литературы. А ведь даже Шекспир не мог бы придать этому сюжету литературную форму, не погрешив против эстетических канонов, и потому не должен был бы за него браться. В фашизме нет ни идеи, ни вообще какого бы то ни было глубокого содержания. Его надлежит рассматривать исключительно в категориях психологии и социологии, психопатологии и юриспруденции.

*АРЕНДТ — ЯСПЕРСУ, НЬЮ-ЙОРК, 17.12.1946.*

Ваши замечания по поводу моих возражений относительно преступлений и "невинности" убедили меня лишь частично: я прекрасно понимаю, что мой подход граничит с тем "демоническим величием", которое я на самом деле вместе с Вами в данном контексте полностью отвергаю. Но неужто нет никакой разницы

между тем, кто убивает какую-нибудь старуху, и людьми, которые, пренебрегая, некоторым образом, любыми конкретными прагматическими выгодами (депортации евреев весьма затрудняли ведение войны), строят фабрики для производства трупов? Одно несомненно: мы обязаны бороться с любыми попытками дегуманизации гитлеровцев, и, не освободившись от таких формулировок, я никогда не пойму подлинного смысла всех этих событий. Быть может, за ними кроется всего лишь одно: речь шла не о том, что отдельные люди уничтожались отдельными людьми, а о попытке организованным способом уничтожить само понятие человека?

*АРЕНДТ — ЯСПЕРСУ, 25.12.1950.*

Только что прочла Вашу замечательную статью о Марксе и Фрейде. Читая ее, я поняла, в какой степени Ваша работа "О правде" освобождает мышление от тирании понятий, насколько коммуникация (диалог) как форма и течение мысли противоположна не только юридическому "рассуждению", но также и чисто логическому мышлению. Под влиянием Платона я размышляла о связях между философией и тиранией, или, иными словами, о специфическом влечении философов к разумной тирании, которая в действительности есть не что иное, как тирания разума. Это неизбежно, если ты убежден, что с помощью философии можно открыть человеку Правду.

Я с удовольствием взялась бы защищать Маркса. Не потому, что Вы не правы в том, что пишете о нем. Но кроме этого (и не только этого) существует еще Маркс-революционер, одержимый страстным стремлением к справедливости. И именно это глубже всего отличает его от Гегеля и каким-то не вполне ясным, но чреватым последствиями образом роднит, как мне кажется, с Кантом.

*ЯСПЕРС — АРЕНДТ, БАЗЕЛЬ, 7.1.1951.*

Платон и "тирания разума" — о, разумеется, как правильно Вы это видите! Недавно, во время докторского экзамена (кандидат избрал своей темой Платона), я спросил, как могла в 1933 году появиться на свет книга под названием "Платон и Гитлер". Но то, что Платон некогда — и то лишь в зачатках,

ошибочно — совершил, при повторении становится уже не-платоновым. Что ни говори, а в конечном счете, когда речь пошла всерьез, Платон стал "применять террор" весьма своеобразным способом — начал учить Дионисия математике. И это, на мой взгляд, принципиально отличает Маркса от Канта. Вы говорите о стремлении Маркса к справедливости, которое якобы роднит его с Кантом. Если бы Вы навестили меня, мы могли бы всласть поговорить на эту тему. Страсть Маркса кажется мне нечистой уже в самых ее истоках: изначально несправедливая, живущая одним только отрицанием, лишенная гуманистического облика, она является воплощенной ненавистью псевдопророка в духе древнего Иезекииля.

*ЯСПЕРС — АРЕНДТ, ГЕЙДЕЛЬБЕРГ, 9.6.1946.*

Замечание о Хайдеггере\* не вполне согласуется с фактами. Что касается Гуссерля, то я **допускаю**, что речь идет о письме, которое в те времена каждый ректор университета обязан был написать людям, элиминированным гитлеровскими властями. Я также **допускаю**, что Хайдеггер просто предложил французам продолжать свои лекции, ничего не упоминая о "перевоспитании". Но в действительности я **не знаю**, что произошло на самом деле. Суть дела представлена Вами, разумеется, верно, разве что описание хода событий оказалось, возможно, не вполне точным.

*АРЕНДТ — ЯСПЕРСУ, 9.7.1946.*

Что касается замечания о Хайдеггере, то Ваше предположение о письме к Гуссерлю оказалось абсолютно верным. Я тоже знала, что письмо это было стандартным для тех времен, и

---

*\*Ханна Арендт в своей статье "Что такое экзистенциальная философия?" (Partisan Review, 1946) вспомнила об эпизоде, когда Хайдеггер запретил Гуссерлю — "своему учителю и другу" — появляться в университете, потому что тот "был евреем". Затем она заявила: "Ходят слухи, что Хайдеггер предложил французским оккупационным властям свою помощь в деле "перевоспитания" немецкого народа". Эти замечания и вызвали возражения Ясперса.*

знаю, что именно по этой причине многие оправдывают Хайдеггера. Мне всегда казалось, что в тот момент, когда Хайдеггер понял, что должен будет подписать такое письмо, он обязан был немедленно подать в отставку. Хотя его и считали недалеким, уж это он мог бы понять. Уж такой степени ответственности от него можно было требовать. Он прекрасно знал, что Гуссерлю это письмо было бы более или менее безразлично, если бы под ним стояла любая иная подпись. Вы, разумеется, можете возразить, что все это делалось в канцелярском порядке. На это я смогла бы ответить, что многие действительно непоправимые вещи совершаются самым обманчивым образом, как нечто почти несущественное; и порой из неприметной черты, которую мы спокойно переступаем в полной уверенности, что она не имеет никакого значения, вырастает стена, которая разделяет людей навсегда. Иными словами: хоть меня в данном случае совершенно, ни по существу, ни лично, не интересовал старик Гуссерль, в этом вопросе я решительно настроена солидаризоваться с ним; и поскольку я знаю, что это письмо и эта подпись его едва не убили, я не могу не считать Хайдеггера потенциальным убийцей. О "перевоспитании" мне действительно не следовало писать, хотя меня уверяли в этом вполне убедительно. Позже Сартр мне рассказывал, что через четыре (или шесть) недель после капитуляции Германии Хайдеггер направил письмо какому-то профессору Сорбонны (я забыла его имя), в котором писал о "недопонимании", возникшем между Германией и Францией, и высказывался в пользу франко-немецкого "понимания". Разумеется, он не получил никакого ответа. После этого он написал Сартру. Всевозможные интервью, которые он после этого давал журналистам, Вам наверняка известны. Сплошная глупая ложь, скрывающая под собой, как мне кажется, явную патологию.

*ЯСПЕРС — АРЕНДТ, 29.9.1949.*

В свое время мне довелось обменяться с Хайдеггером несколькими письмами. Я покажу их Вам, когда Вы будете у нас. Он полностью ушел в спекуляции о Боге. Четверть века назад он делал ставку на "экзистенцию", но, говоря по правде, извратил всю проблему. Теперь он делает ставку на нечто

еще более первичное, и это меня задевает. Надеюсь, что он не запутает дело и на сей раз. Не могу отделаться от сомнений.

Может ли человек с нечистой душой — или душой, не ощущающей своей нечистоты и не пытающейся ежеминутно вырваться из нее, а вместо того бессмысленно прозябающей в грязной луже, — может ли кто-то, столь неискренний, постичь то, что представляет собой саму чистоту? Но может быть, ему удастся совершить еще один внутренний переворот? Я сомневаюсь, но не могу поручиться. Странно, что он знает что-то такое, чего нынешние люди почти не замечают, и производит впечатление, когда высказывает эти свои ощущения. Тем не менее форма всех этих высказываний всегда сводится к его собственной интерпретации "Бытия и Времени", словно он осужден вечно повторять одно и то же.

*АРЕНДТ — ЯСПЕРСУ, 29.9.1949.*

Вы тысячу раз правы. То, что Вы называете нечистотой, я назвала бы отсутствием характера — в том смысле, что у него буквально нет никакого характера, а следовательно, нет и особенно злобного. При всем том он живет на такой глубине и с такой страстью, что об этом не так-то легко забыть.

*Характер обсуждения "дела Хайдеггера" в переписке Х.Арендт с К.Ясперсом вряд ли подготавливает читателя к тому драматическому "повороту сюжета", который составляет содержание рецензии израильского журналиста Д.Джорова.*

*Давид Джоров*

#### ТЕМНОЕ И ИЗВРАЩЕННОЕ

Прочитав эту книгу ("Дервент Мэй. "Ханна Арендт". Лондон, изд-во "Пингвин", 139 стр., 1989), можно прийти к выводу, что существовали две Ханны Арендт. Обе были еврейки, обе родились в 1906 году в Ганновере и обе бежали от нацистов — сначала в Париж, а затем в Соединенные Штаты, где

стали американскими гражданками.

Первая — спокойный, тихий человек, высокоцитимый философ и мыслитель экстраординарного интеллекта — была одержима проблемой вины, в особенности — вины Германии XX века, совершившей некоторые из величайших преступлений в истории. Вторая — женщина, наделенная острым умом и кипучей жизненной силой, — была по временам склонна к сложным и запутанным поступкам, которые множили ей врагов со всех сторон. В действительности Ханна Арендт была необыкновенно противоречивой личностью, единой в этой своей двойственности проявлений.

Созданная ею особая разновидность экзистенциальной философии сегодня достаточно хорошо известна, как известны (после появления фундаментальной биографии пера Элизабет Юнг-Брюль) основные факты ее жизни. Что известно куда меньше и не освещено ни в прежних книгах, ни в этой, последней по счету, — это ее страстная любовь к Мартину Хайдеггеру, еще более известному и не менее противоречивому создателю, вместе с Ясперсом, немецкого экзистенциализма. Но без понимания этого пожизненного влечения к человеку, который со временем стал страстным приверженцем нацизма, нельзя понять и жизнь самой Ханны Арендт.

Она впервые встретила Хайдеггера в 1924 году, когда была студенткой первого курса Марбургского университета. 35-летний Хайдеггер был в то время уже женат и имел двух сыновей. Исключительно одаренный философ, он и в личной, и в профессиональной жизни отличался необыкновенной осторожностью. Современники часто отмечали опасливый взгляд его маленьких пронзительных глаз. Они вспоминали также, что он славился невероятным тщеславием и напыщенной самовлюбленностью.

Многие студенты считали, что лекции Хайдеггера невозможно понять, но Арендт утверждала, что только он научил ее науке мышления — "и притом не мертвого, а страстного и живого мышления, в котором мысль и жизненность сливаются воедино". То, что с ее стороны началось как интеллектуальное увлечение, с его стороны было не уступавшим по силе увлечением ее молодостью, красотой и умом. Они встретились в мансарде, которую она снимала в городе, и с этой встречи началась та связь, которой суждено было в той или иной форме продолжаться почти 50 последующих лет.

Возможно, Хайдеггер и был необыкновенно одаренным мыслителем, но, как писал Карл Ясперс, "в его натуре было также что-то темное и извращенное". Он был глубоко убежден, что именно нацизм сулит возвращение Германии к тем глубинным метафизическим поискам, в которых, по его мнению, она жизненно нуждалась. Поэтому он вступил в нацистскую партию и в награду был в 1933 году назначен ректором Фрайбургского университета. Едва вступив в должность, он публично заговорил о "благородстве нашего нынешнего великого общественного пробуждения" и запретил своему бывшему учителю Гуссерлю появляться в стенах университета, потому что Гуссерль был евреем.

Если мы действительно хотим понять Ханну Арендт, мы должны понять ее сложные, запутанные отношения с Хайдеггером и ту роль, которую эти отношения сыграли в ее жизни. Все ее размышления и все ее главные книги были посвящены одной-единственной теме: вопросу о личной и коллективной вине за исторические действия. Она утверждала и глубоко верила, что "существует некая солидарность людей как человеческих существ, которая делает каждого индивидуума со-ответственным за любое зло и любую несправедливость в мире, в особенности же — за преступления, совершенные с его ведома... Если я не сделала всего, что могла, чтобы предотвратить эти преступления, я тоже в них повинна".

Однако, несмотря на это неукротимое стремление постигнуть глубины зла, Ханна Арендт ухитрялась каким-то образом не замечать темную сторону жизни своего возлюбленного и неизбежно извращенный характер их отношений. В 1946 году, уже после того, как союзные власти запретили Хайдеггеру, отказавшемуся осудить свои нацистские убеждения, преподавать на территории Германии, она отправилась его навестить. В своем дневнике она вспоминает, что из гостиницы отправила ему простую почтовую открытку — без подписи и всего с двумя словами: "Я здесь". Как она и рассчитывала, он не только узнал ее почерк, но и тотчас бросился к ней.

Быть может, именно в этой встрече следует искать ключ к пониманию их отношений. Все написанное Ханной Арендт отличается необычайным сочетанием силы и мягкости, каким-то странным совмещением страстности убеждений с утонченной, почти нежной манерой письма. В то же время ее личная жизнь

была почти начисто лишена романтики, нежности и страсти. Хайдеггер, как он снова продемонстрировал своим незамедлительным откликом на ее открытку, был, видимо, тем единственным человеком, с которым она приобщалась к ощущению романтики и драматичности существования, столь разительно отсутствовавшим в ее отношениях со всеми другими людьми.

Сам Хайдеггер, в своем обычном напыщенном стиле вспоминая об этой встрече, впоследствии писал, что "Ханна нисколько не изменилась за прошедшие 25 лет". Судя по всему, он не был в состоянии даже помыслить, что какие-нибудь события этих лет могли бы встать между ними. Со своей стороны, Ханна Арендт вскоре после этой встречи записала в своем дневнике, что ее возлюбленный был "последним великим романтиком", и простила ему его "полную безответственность", приписав ее, не без явного милосердия, "частично заблуждениям гения, частично отчаянию".

Связь с Хайдеггером на протяжении многих лет оказывала глубокое влияние на Ханну Арендт. Даже в Иерусалиме, откуда она комментировала процесс Эйхмана, на ее письменном столе стоял портрет Хайдеггера. Если воздействие этого увлечения на жизнь и размышления Ханны Арендт остались вне поля зрения ее биографа, это, несомненно, большое и серьезное упущение рецензируемой книги.

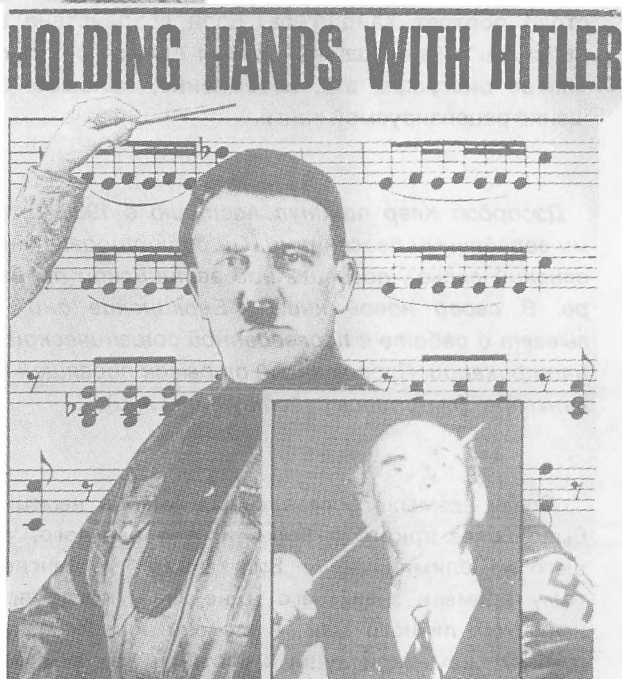
*Джордж Клер покинул Австрию в 1938 г., вместе с другими еврейскими беженцами. Он дебютировал книгой "Последний венский вальс", посвященной австрийской предвоенной культуре. В своей новой книге, "Берлинские дни", Д.Клер рассказывает о работе в послевоенной союзнической комиссии по денацификации. Публикуемый отрывок посвящен т.н. "делу Фуртвенглера" (см. список действующих лиц).*

Среди самых прославленных имен в немецком искусстве не было более яркого и более противоречивого, чем имя августейшего из олимпийцев — Вильгельма Фуртвенглера. Это я уже к тому времени знал. Чего я не знал, когда приступал к заполнению его личного дела, — что оно поведет меня дорогами и тропинками немецкой души к сложной проблеме моральной и поли-





*Ханна Арендт  
и  
Мартин Хайдеггер*



*Адольф Гитлер  
и  
Вильгельм Фуртвенглер*

тической ответственности художника перед лицом тоталитарного режима.

Начало этой драматической истории положил первый послевоенный визит Фуртвенглера в Берлин, последовавший в ответ на широкую кампанию в советской прессе, которая призывала к реабилитации и возвращению дирижера. 10 марта 1946 года Фуртвенглер прибыл в столицу — и сразу оказался в осином гнезде политических интриг. Тюльпанов, возглавлявший Политический отдел советской Военной администрации, мог торжествовать. Он вернул в немецкую столицу самую прославленную из ее культурных знаменитостей. Однако, американские власти не разделяли восторга советского полковника по поводу возвращения дирижера. Напротив, многие американцы считали Фуртвенглера бывшей нацистской марионеткой, а его прибытие в Берлин на советском самолете, приземлившемся на советском аэродроме, только убедило их, что теперь он стал марионеткой Советов.

Эти подозрения только усилились, когда русские организовали Фуртвенглеру самую сердечную встречу. Его приветствовали представители советской администрации. Один из советских офицеров, прикомандированный к дирижеру, чтобы “заботиться” о нем, отвез Фуртвенглера в его “почетную” резиденцию в охотничьем домике Фридриха Великого во дворце Сан-Суси в Потсдаме. Фуртвенглер обнаружил, что его резиденция сохранилась точно в том же виде, в каком он покинул ее около года назад, и даже его огромный рояль, который после захвата Потсдама “одожили” какие-то советские солдаты, снова стоял на прежнем месте.

Американцы отреагировали лаконичным и холодным заявлением генерала Мак-Клюри, возглавлявшего отдел информации. Мак-Клюри напомнил, что постановление №24 Союзного Контрольного Совета автоматически запрещает всем бывшим прусским государственным чиновникам — а Фуртвенглер получил это звание в 1933 году, хотя и перестал им пользоваться после ноябрьского погрома 1938 года — принимать участие в общественной жизни, пока они не предстанут перед соответствующей денацификационной комиссией. И далее, чтобы не оставить у Фуртвенглера никаких иллюзий относительно возможности работать с его любимым Берлинским филармоническим оркестром, Мак-Клюри подчеркнул, что местоположение этого оркестра формально находится в американской оккупационной зоне, а сам оркестр выступает по американской лицензии.

Фуртвенглер был ошеломлен. За день до вылета в Берлин он прошел денацификацию в Венском трибунале. Он еще не осознал, что к тому времени Австрия снова стала суверенным государством и решения ее судов уже не распространялись на территорию собственно Германии.

Советские власти ни в грош не ставили постановление №24 Контрольного Совета, равно как и самого генерала Мак-Клюри. Они предложили Фуртвенглеру руководство "их" государственной Оперой. Фуртвенглер поблагодарил и вежливо отказался. С него было достаточно одной диктатуры. Кроме того, принять советское предложение означало для Фуртвенглера необходимость распрощаться с некогда созданным им виртуозным коллективом Берлинской филармонии. Перед тем, как вернуться в Вену, он подал прошение о денацификации в Германии.

Требование выполнить букву закона, выдвинутое американцами и поддержанное англичанами и французами, было абсолютно легитимным, хотя все до единого, включая самого Мак-Клюри, прекрасно знали, что звание *Staatsrat*, то есть государственного советника, было всего лишь почетной побрякушкой. Жалуемое Герингом, оно не давало носителям никакого политического влияния и никаких существенных привилегий, кроме одной — личного покровительства рейхсмаршала, которое вынуждало его главного соперника и врага, Йозефа Геббельса, относиться к этим "советникам" более осторожно.

Точно так же все, включая опять-таки генерала Мак-Клюри, прекрасно знали, что Фуртвенглер никогда не был нацистом. Тем не менее оставался вопрос: насколько добровольно он предоставил в распоряжение режима свой гений и свою мировую славу, которыми режим воспользовался для собственных целей?

Нацисты, без сомнения, понимали универсальность музыкального языка и использовали его в своей внутренней и международной пропаганде. Звуки немецкой классической музыки дома и за рубежом были призваны заглушить тяжелые удары дубинок и грохот солдатских сапог. Предвоенные гастроли Берлинского и Венского филармонических оркестров, Лейпцигского "Гевандхауза" и других замечательных немецких коллективов в зарубежных столицах должны были продемонстрировать, что национал-социализм находится в ладу с высшими устремлениями немецкой культуры. Позднее, уже во время войны, выступая под управлением Фуртвенглера, Карла Боба, Клеменса Краусса и молодого,

но быстро растущего фон Караяна те же оркестры несли в союзные с Германией, нейтральные и даже оккупированные страны мысль о том, что народ, породивший Баха, Бетховена, Моцарта, Гайдна, Шуберта, Вагнера, Брамса и Рихарда Штрауса, не способен сражаться ни за что иное, кроме общего дела западной цивилизации. Фуртвенглер, однако, был единственным из тогдашних немецких дирижеров, который избегал гастролей в оккупированных странах (если не считать одного выступления в Дании). В частных беседах он говорил, что не имеет желания аккомпанировать танковым колоннам Вермахта своей музыкой.

Тем не менее, как американские интеллектуалы, так и видные политические эмигранты, вроде Артуро Тосканини, Томаса Манна и других, почти единодушно считали, что, оставаясь в Германии, Фуртвенглер не только поддерживает Третий Рейх, но и активно служит ему. Того же мнения были и многие из сотрудников американских оккупационных властей в послевоенной Германии.

Спор, а точнее — споры вокруг Фуртвенглера начались не в 1945—46 годах: их начало относилось к 1933 году и тогда противниками дирижера были не властители либеральных умонастроений, а, напротив, их главные враги — нацистские заправилы. Понятно, что Геббельс должен был настороженно относиться к человеку, который в 1928 году писал: “Немецкую музыку следует понимать как европейскую музыку. Она всегда была таковой и таковой должна остаться. Попытки привнести в музыку национализм, предпринимаемые сегодня повсеместно, неизбежно приведут лишь к ее упадку”.

Подозрения министра пропаганды относительно Фуртвенглера полностью подтвердились 11 апреля 1933 года, когда он прочитал открытое письмо дирижера в газете “Фоссише цайтунг”. Явно адресуясь к Геббельсу, Фуртвенглер обращал его внимание на “...недавние события в немецкой музыкальной жизни, которые, на мой взгляд, не являются обязательным следствием того возрождения нашего национального достоинства, за которое все мы так благодарны... Как художник, я признаю только одно деление искусства — на хорошее и плохое. Но то различие, которое проводится сейчас и притом с безжалостной, апеллирующей к теории суровостью, — это различие между евреями и не-евреями, даже если политические взгляды обсуждаемых лиц не дают никакого основания для подозрений... Великие артисты представляют редкость, и ни одна страна не может обойтись без них, не нанося ущерба своей куль-

турной жизни. Поэтому, если говорить попросту, таким людям, как Клемперер, Бруно Вальтер, Макс Рейнхардт и так далее, должно быть и в будущем разрешено служить немецкому искусству”.

То был ранний этап нацизма, и новый режим еще не вполне показал свое истинное лицо. Тем не менее, требовалось определенное мужество, чтобы написать такие слова после поджога рейхстага и последовавших репрессий. А год спустя, когда Фуртвенглер снова взялся за перо и снова бросил вызов Геббельсу, заявив протест против его решения запретить исполнение оперы Пауля Хиндемита, любой мало-мальски разумный человек уже знал, как нацисты расправляются со своими оппонентами. Между тем Фуртвенглер не ограничился чисто словесной, при всей ее смелости, защитой евреев — он последовательно защищал еврейских музыкантов и на деле, оказывая им покровительство и помощь в эмиграции. Он не прекратил этих усилия и после погромов “Хрустальной ночи” 1938 года, когда помогать евреям стало куда опаснее, чем прежде. В декабре 1946 года британский дипломат Ф. Кернан опубликовал в газете “Таймс” следующее письмо-свидетельство: “Во время встречи в начале 1939 года в Вене с известной преподавательницей пения д-ром Валла Хесс я познакомился с одним из ее учеников, молодым, но очень бедным еврейским юношей, великолепный голос которого произвел на меня огромное впечатление. Этот молодой человек скрывался от гестапо и в любой момент мог быть арестован. Я тотчас связался с Фуртвенглером, находившимся в Берлине, и тот обещал помочь всем, чем ему удастся.

Не прошло и двух суток, как он прилетел в Вену, имел тайную встречу с юношей и выслушал его. Он дал мне и мадам Хесс письма, в которых подтверждал талант и музыкальные способности молодого певца. Благодаря этим письмам и участию сэра Адриана Болта, британское министерство внутренних дел разрешило певцу и его учительнице въезд в Великобританию”.

Геббельс не лгал, он всего лишь сильно преувеличивал, когда жаловался: “Нет такого грязного еврея в Германии, в пользу которого не вступился бы господин Фуртвенглер”.

На выступление Фуртвенглера в защиту Хиндемита Геббельс ответил тяжелым контрударом, выступив с пространной речью, в которой обвинил дирижера в нелояльности к национал-социализму, который, якобы воплощает “не только политический и социальный, но и культурный дух германской нации и нового гер-

манского государства". Фуртвенглер отказался от звания директора Государственной Оперы, специально для него созданного в 1933 году, и от должности заместителя президента Государственной музыкальной палаты. В декабре 1934 года он ушел из публичной жизни в так называемую "внутреннюю эмиграцию" (этот термин был изобретен после войны некоторыми немцами, которые пытались защитить себя от обвинений Томаса Манна, — адресованных, в частности, и Фуртвенглеру, — утверждавшего, что их долг, как художников, состоял в том, чтобы покинуть Германию в знак протеста против нацизма) .

В случае Фуртвенглера эта внутренняя эмиграция была недолгой. В феврале 1935 года он встретился с Геббельсом, и в результате этого разговора дирижер, полагая, что освобождается тем самым от всякой личной ответственности за будущие события, согласился опубликовать заявление, в котором признавал и провозглашал Гитлера единственным арбитром в вопросах немецкого искусства. Мир в целом и нацисты в частности сочли это заявление свидетельством капитуляции дирижера, и это убеждение было подтверждено присутствием Гитлера и других нацистских вождей в зале Берлинской филармонии 25 апреля 1935 года, в день возвращения Фуртвенглера на подмостки.

Концерт, объявленный в рамках самой популярной благотворительной кампании Третьего Рейха, так называемой "Зимней помощи", открывала бетховенская увертюра "Эгмонт", за которой последовали его же Пасторальная и Пятая симфонии. Когда умолк последний звук, в зале наступило потрясенное молчание. Затем аудитория буквально взорвалась. Аплодисменты вскочивших на ноги слушателей перешли в непрерывную овацию, которая нарастала по силе и продолжительности до тех пор, пока не начала походить на демонстрацию в честь возвращения великого дирижера к концертной деятельности. Фуртвенглера вызывали на сцену семнадцать раз подряд — и ни разу, ко всеобщему изумлению, он не поднял руку в нацистском приветствии, хотя в случае личного присутствия Гитлера оно считалось совершенно обязательным. Чтобы избежать этой обязанности, Фуртвенглер выходил на все вызовы с дирижерской палочкой в правой руке, а тыкать в воздух этой маленькой белой палочкой в жесте "Хайль Гитлер" было бы, разумеется, нелепо.

На всех фотографиях, сделанных на этом концерте, дирижер виден благодарящим публику сдержанным полупоклоном. И только

на одной — той самой, которую шире всего использовали немецкие и зарубежные газеты, — Фуртвенглер был запечатлен уже без дирижерской палочки, пожимающим руку Гитлеру. Во всем мире этот снимок с рукопожатием был воспринят как еще одно подтверждение, что Фуртвенглер предал свои идеалы.

Одной из самых резких реакций на это было “Письмо немецким интеллектуалам”, опубликованное в газете “Манчестер гардиан” другом Фуртвенглера скрипачом Брониславом Губерманом (который спустя несколько лет стал создателем Тель-Авивского, позднее — Израильского филармонического оркестра). Губерман писал: “Доктор Фуртвенглер открыто высказывался от своего собственного имени и от имени “всех подлинных немцев” против позорного преследования людей по “расовому” признаку. Я ни на минуту не сомневаюсь, что его возмущение было искренним, и я убежден, что многие немцы, быть может — даже большинство, разделяют его мнение. Но что предприняли эти “подлинные немцы” на деле, чтобы снять этот позор со своей совести, с Германии, со всего человечества?.. Перед лицом всего мира я обвиняю вас, немецкие интеллектуалы, вас, не-нацисты, в причастности ко всем нацистским преступлениям”.

Почему Фуртвенглер предпочел компромисс возможности эмигрировать? Материальные соображения явно не могли повлиять на его решение остаться в Германии. Язык его искусства был универсальным, и хотя он был одним из самых высокооплачиваемых людей в Германии, он не потерпел бы никакого финансового ущерба, если бы перебрался в Соединенные Штаты или Великобританию — скорее, даже, наоборот.

Одной из причин могло быть сильное, быть может — даже преувеличенное сознание своей миссии: убежденность, что его присутствие и выступления в стране несут утешение всем “подлинным” немцам, которые думают так же, как он. Этот взгляд разделяли многие, включая его бывшую личную секретаршу еврейку Берту Гейсмар. Уже эмигрировав в Великобританию, она писала в своих воспоминаниях: “Оставшись в Германии, Фуртвенглер сделал гораздо больше для сохранения немецкой порядочности, чем те, кто покинул страну”.

Размышляя над этим доводом в 1946 году, нельзя было не видеть его изъянов. Покуда Гитлер шел от победы к победе, покуда восторженное большинство боготворило землю, по которой он ступал, сохранение порядочности принужденного к молчанию

меньшинства с помощью божественной музыки было не более, чем поединком с безжалостно мелющими свой помол мельничными жерновами. С другой стороны, идеология, извратившая и уничтожившая лучшие немецкие традиции, поначалу действовала методами постепенного размывания ценностей, а не открытой атаки на них. Поэтому Фуртвенглер действительно мог полагать, что своим искусством и личным примером он спасет нечто существенное; а вера в гуманистические достижения немецкой культуры (среди которых музыка была, возможно, величайшим) мешала ему разглядеть многое, если не все, из происходившего.

Одно из самых волнующих свидетельств поразительной власти такой веры в "иную" и "лучшую" Германию над умами людей принадлежит еврею, родившемуся в австрийской части Польши, писателю Манесу Сперберу, в свое время коммунисту и приятелю другого бывшего коммуниста Артура Кестлера. Спербер описывает свою реакцию на первые сообщения об Освенциме, услышанные им в эмиграции в Париже:

"Понадобилось несколько дней, прежде чем мы всерьез поверили слухам об этом безумии: мы предполагали, что даже Гитлер, при всем его фанатизме, все еще сохраняет то реалистическое чувство цели, которое он так часто проявлял в процессе своего восхождения к власти. Но была и другая причина, склонявшая нас отвергнуть эту чудовищную возможность, — глубокая и неразрывная связь между нами и австро-германской культурой. Можно было представить себе, что Гитлер способен на любое преступление, — но как счесть возможным, что нашлись тысячи немцев и австрийцев, готовых уничтожить невинных и беззащитных людей?

...Что же такое я защищал в себе, что потребовалось несколько месяцев, прежде чем я поверил в слухи о поставленном на промышленный конвейер массовом уничтожении? Я **защищался от разрыва с Германией**".

Это я, а не Манес Спербер, подчеркнул последнюю фразу. Уж если даже его еврейская душа еврея так восставала против разрыва с Германией, что не хотела до поры, до времени поверить в реальность Освенцима, то можно ли осуждать немецкую душу Фуртвенглера за то, что она не покинула свою страну за много лет до того, как Гитлер затеял величайшее из своих преступлений? Разумеется, он мог гораздо больше сделать для преследуемых, находясь внутри страны, а не вовне, где в лучшем случае стал бы, да и то — на несколько дней, очередной пропагандист-



ской сенсацией. Много ли ущерба принесла эмиграция Тосканинни режиму Муссолини? Или Томаса Манна — режиму Гитлера? Диктаторов побеждает не интеллектуальная оппозиция извне и не та, что обнаруживается внутри, — их побеждает “военно-промышленный комплекс” противника.

Существенно, однако, что, оставшись в Германии, Фуртвенглер стал играть роль самого впечатляющего культурного оправдания и рекламы режима. Пусть и неохотно, но он принял геринговский Staatsrat, пусть и короткое время, но он был вице-президентом Reichsmusikkammer, и в тех случаях он удостоил своим присутствием и исполнением высшие нацистские торжества. На торжественном закрытии партийного съезда в Нюрнберге в 1935 году, где Гитлер провозгласил свои печально знаменитые “расовые законы”, Фуртвенглер дирижировал “Мейстерзингерами” в местном оперном зале; и это же представление он повторил, по слухам — по просьбе Гитлера, по случаю торжественного партийного съезда 1938 года, посвященного немецко-австрийскому аншлюссу. А в честь 53-й годовщины Гитлера он дирижировал специальной юбилейной программой.

Были ситуации, когда он, подобно многим немцам не-нацистам, балансировал и приспособливался. В иных ситуациях, опять же подобно многим, он уговаривал себя, что сгибая спину перед Гитлером, он тренирует позвоночник для противостояния гитлеровским клеветам. Но свою роль играло, несомненно, и то, что вне сцены Фуртвенглер был не олимпийцем, а самым обыкновенным человеком — тщеславным, обидчивым и нестойким. Особенно, когда дело касалось фон Караяна. В этом необычайно одаренном и амбициозном молодом человеке (к тому же без особых колебаний примкнувшем к нацистской партии) Фуртвенглер видел единственного дирижера, который способен был в один прекрасный день бросить вызов его монополии. Герингу, а особенно Геббельсу, которые знали это уязвимое место, достаточно было упомянуть имя фон Караяна, чтобы добиться от Фуртвенглера желаемого.

Закончив свою работу и подготовив личное дело Фуртвенглера для передачи начальству, я долго сидел и смотрел на приготовленную папку. Теперь, на основании этих документов, денацификационной комиссии по культурным делам предстояло вынести свой вердикт, — но о чем? О том, что в условиях жестокой диктатуры никто не может остаться совершенно незапятнанным? Комп-

ромисс со злом для предотвращения большего зла — довод, который мне приводилось слышать неоднократно, — всегда оказывается бесплодным, но сознавать это задним числом столь же легко, сколь трудно (кроме исключительных случаев) распознать злокачественную болезнь в ее зародыше. (Комиссия оправдала Фуртвенглера).

Много лет спустя, снова наткнувшись на письмо Губермана, я вдруг задумался над тем, почему так много интеллектуалов, утверждавших, что они своевременно предвидели всю опасность гитлеризма, одновременно и столь верно служили сталинскому коммунизму, жестокость которого была зеркальным отображением нацизма. Почему Губерман, который ни в коем случае не был коммунистом, не послал аналогичное письмо, скажем, Шостаковичу? Шел 1936 год, и карьера Гитлера, как массового убийцы, была, так сказать, еще в пеленках, тогда как сталинская уже достигла самых ужасающих вершин. Миллионы “кулаков” — мужчин, женщин, детей — были расстреляны, умерщвлены голодной смертью или сосланы в сибирские трудовые лагеря. Мир знал об этом. Почему Губерман написал немецкому дирижеру, а не русскому композитору? Может быть, и он вдохнув дурманящие пары того, что в его времена (и много позднее тоже) почиталось благим и великим, в своих галлюцинациях видел Левую всегда правой, несмотря ни на что?

Даже если это так — это только часть объяснения. Вторая часть состоит в том, что Россию и Германию никогда не меряли одной меркой. И правильно! То, что в огромной стране на краю Европы один автократ сменил другого, казалось западному уму куда менее важным, чем торжество варварства в Германии, этом многовековом средоточии европейской культуры и цивилизации.

Травма этого торжества была и остается такой глубокой, что все еще не затянулась шрамом. В годы своего упоения Гитлером и культом грубой силы Германия в действительности потеряла больше, чем несколько миллионов, павших в проигранной войне, — она потеряла себя.

## ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Время дописало свой комментарий к рассказанной выше драме людей — и идей. Нацистская Германия была разгромлена. Гитлер и Геббельс покончили самоубийством, Геринг отравился в

тюрьме. Карл Ясперс умер в 1969 году, Хайдеггер — в 1976-м, Ханна Арендт скончалась в 1975-м. В 1954-м покинул сей мир Вильгельм Фуртвенглер, и даже самый молодой из упомянутых в "перечне действующих лиц", Герберт фон Караян, тоже уже не числится в перечне живых: он умер в нынешнем, 1989-м году, оплакиваемый любителями музыки во всем мире, которым несколько не мешало его нацистское прошлое. Между прочим, в год смерти ему было 80 лет, этому "самому молодому из участников", — цифра, с потрясающей резкостью напоминающая, какой, в сущности, огромный промежуток времени отделяет нас от эпохи Гитлера и Сталина. И вот, несмотря на огромность этого промежутка, прошлое все еще с нами.

Действительно, есть "прошлое, которое не хочет проходить", как назвал нацистские (а мог бы — и сталинские) времена Эрнст Нольте. Поколение Хайдеггера и Фуртвенглера, Арендт и Ясперса сошло или сходит со сцены, и с ним уходит живая память, уступая место книгам и документам; свидетелей истории сменяют ее исследователи; а с уходом свидетелей у одних возникает страх перед забвением прошлого, у других — надежда на его (наконец!) забвение. И тогда следующее поколение, уже не ощущающее личной причастности к преступлениям и страданиям, вине и ошибкам отцов, в ярости или недоумении оборачивается к прошлому в попытке окончательно, к добру или ко злу, но — разделаться с ним.

Самой знаменательной из таких попыток разделаться с прошлым была прокатившаяся в 1986 году в западногерманской печати, а потом захлестнувшая и западноевропейскую прессу дискуссия о корнях и причинах нацизма, об уникальности (или не-уникальности) его преступлений против человечества. Эта дискуссия представляется дописанным самой историей эпилогом к "делу Хайдеггера, Фуртвенглера и К<sup>0</sup>". Вопрос о "предательстве интеллектуалов", как назвал этот феномен Ж.Бенда, о причинах их прельщения "тоталитарным соблазном", как выразился Ф.Ревель, есть, в сущности, часть более широкого вопроса о причинах, обусловивших принятие обществом в целом идеологии нацизма или сталинизма, их торжество в той или иной отдельно взятой стране. А вопрос о том, как могли интеллектуалы типа Хайдеггера, Фуртвенглера, Караяна (а также Эзры Паунда, Гамсуна, Селина, Юнгера и многих других) сочетать несомненную преданность культуре с молчанием перед

лицом столь же несомненных преступлений тоталитаризма против человечества, есть часть более широкого вопроса о том, можно ли "оправдать" эти преступления — иными словами, указать их "объективную необходимость и целесообразность", или же они действительно остаются уникальными вспышками варварской и дикой магмы, все еще таящейся под тонкой коркой нашей цивилизованности?

Именно эти широкие вопросы стояли в центре дискуссии 1986 года. Начало ей было положено статьей немецкого историка Михаэля Штюрмера "История в стране без истории", опубликованной в газете "Франкфуртер алгемайне цайтунг". На статью Штюрмера откликнулся другой видный западногерманский историк Эрнст Нольте. На выступление Нольте гневно отреагировал известный немецкий философ Юрген Хабермас. Инвектива Хабермаса породила ответную отповедь писателя и публициста Иоахима Феста. Вмешавшийся в спор историк Кристиан Майер попытался примирить стороны под компромиссным лозунгом: "Не прощать, но понимать", — но к тому времени дискуссия уже перехлестнула национальные границы и покатила волной по европейской печати.

О чем же витийствовали? О том самом "утраченном времени", как назвал Штюрмер годы нацистского прошлого, с 1933-го по 1945-й, которое остается до сих пор невключенным, "неинтегрированным" в понятную и логичную схему общей немецкой истории и зияет в ней "черной дырой", куда боится заглянуть немецкое национальное сознание. Существование такой "дыры в воспоминаниях" — это огромная опасность для будущего нации — таков был главный тезис статьи Штюрмера. "В стране без воспоминаний, — утверждал он в этой статье, — все возможно... В стране без истории будущее становится добычей того, кто сумеет заполнить пробелы в памяти, облечь прошлое в чеканные формулировки и навязать его интерпретацию".

Но Штюрмер не только указал на опасность демагогической интерпретации нацистского прошлого Германии. Он попытался предложить для него свою интерпретацию, и она-то стала предметом яростных споров. По Штюрмеру, "поиск (немцами) утраченного времени" свидетельствует об их неуверенности в оценках прошлого и будущего. Но такая неуверенность — продолжал он — родилась не в 1945 году. И присуща она не только немцам. Это примета всей современной европейской цивилизации.

"Приход Гитлера к власти был связан с кризисами и поражениями европейской секулярной цивилизации, каждый раз начинавшей сызнова, на фоне совершенной утраты направления и тщетных поисков безопасности..." Иными словами, европейская цивилизация рушилась под напором чересчур стремительных перемен. В Германии, считает Штюрмер, этот процесс происходил особенно катастрофично. "Между 1914 и 1945 годами немцам пришлось вести такие битвы с напирющим валом современности, что в конце концов немецкая традиция рухнула и варварство создало на ее обломках что-то вроде собственного государства. Именно поэтому Гитлер сумел восторжествовать".

Итак, главной причиной возникновения и торжества нацизма были, по Штюрмеру, "общественно-исторические" процессы: чересчур стремительная модернизация — и естественная реакция на нее ищущих устойчивости народных масс. Эту мысль Штюрмера подхватил, развил и углубил следующий участник дискуссии — историк Эрнст Нольте, которому она была особенно близка, потому что он уже раньше выдвигал ее в своих работах "Фашизм в его эпоху", "Кризис либеральной системы и корни фашизма", "Между мифом и ревизионизмом" и других. С выступлением Нольте дискуссия вступила в область собственно "исторического" ревизионизма.

Говорят, что историю пишут победители. Верно. Но побежденные — ее переписывают. Нольте — один из ведущих представителей такого "переписывания", такой "ревизии прошлого" в современной немецкой историографии. В этом журнале уже публиковалось однажды интервью с ним, дающее представление о его толковании истории нацизма. Сейчас мы имеем возможность присмотреться к этому толкованию поближе.

В чем же суть "исторического ревизионизма" Эрнста Нольте, по стопам которого пошли и многие другие немецкие историки?

Нацистское прошлое Германии — пишет Нольте в статье-ответе Штюрмеру — это "прошлое, которое не хочет проходить". Оно висит над немецким народом как постоянное злое напоминание и пытается занять место настоящего. Реакция против такого положения вещей вполне естественна. Но действительно ли речь идет только о естественной человеческой реакции? В стремлении немцев освободиться от своего прошлого, похоронить его и стать, наконец, "нормальным народом", как все,

Нольте усматривает нечто большее, чем просто желание предать забвению свою вину. По его мнению, это стремление справедливо и обоснованно, потому что нацистское прошлое Германии было в значительной степени фальсифицировано, а пресловутой "немецкой вине" был умышленно — и неправильно — придан некий уникальный характер.

Вот несколько аргументов в пользу того, чтобы по-новому посмотреть на проблему, говорит Нольте. Те, кто неустанно твердит о коллективной "вине немцев", не замечают сходства этого обвинения с главным тезисом нацистов — о коллективной "вине евреев". Нельзя говорить о "коллективной вине": уничтожение евреев было делом рук конкретных нацистских преступников.

Но и те, кто концентрируется только на проблеме уничтожения евреев, забывают, что нацисты не были так уж одержимы еврейским вопросом. Выпячивая одну лишь еврейскую сторону преступлений нацизма, предают забвению отношение нацистов к русским военнопленным или, например, к душевнобольным. Действительно, жертвами первых экспериментальных "загазирований" (с помощью окиси углерода) были именно советские военнопленные и пациенты немецких психиатрических клиник. Стало быть, массовое уничтожение евреев не было чем-то уникальным. Речь шла о массовом уничтожении людей вообще. О причинах, толкнувших нацистов на эти зверские злодеяния, следует поговорить отдельно, но уже сейчас нужно заметить, говорит Нольте, что в самом факте такого массового уничтожения людей тоже нет ничего уникального: "уничтожение народов" происходило и происходит во всем современном мире — вчера во Вьетнаме, сегодня в Афганистане.

Теперь попытаемся — продолжает Нольте — понять причины нацистского поведения. Механизм любой прошедшей эпохи становится понятен только в процессе познания всей его сложности; манихейские черно-белые картины (нацизм — абсолютное Зло, его противники — абсолютное Добро) не помогают такому пониманию. Если же обратиться к реальной, более широкой перспективе, то нельзя не заметить, что все, что делали нацисты, — за исключением газовых камер, — уже было намного раньше осуществлено в действительности и описано в литературе: массовые депортации и расстрелы, пытки и лагеря смерти, уничтожение целых народностей во имя совершенно произ-

вольных критериев и публичное осуждение целых категорий людей, объявленных "врагами", — все это имело место в "стране победившего социализма" в 20-е — 30-е годы. Не забудем, что Гитлер был одержим ощущением "большевистской угрозы" с Востока. Так, может быть, нацисты обратились к своим "варварским, азиатским методам" потому, что считали себя жертвами (или потенциальными жертвами) другой "азиатской дикости" — сталинского большевизма? И свои методы массового уничтожения заимствовали у противника? Разве ГУЛаг не старше Освенцима? И разве "классовое уничтожение", осуществленное большевиками, не предшествовало — и фактически, и логически — уничтожению расовому? Так не поискать ли корни Освенцима в "прошлом, которое не хочет проходить"?

Нольте признает, что такие вопросы обычно стыдятся задавать: как бы это не сочли попыткой обеления Гитлера, нацизма и Германии. Он, однако, утверждает, что предпринимаемый им пересмотр истории (написанной, напомним, победителями-союзниками) имеет целью совсем другое, а именно — более широкое и глубокое понимание "взаимосвязей и взаимовлияний в становлении тоталитаризма". С точки зрения такого "широкого подхода" очевидно, что, несмотря на все аналогии, нацистское уничтожение людей отличалось от большевистского. Но с другой стороны, так же, как одно преступление нельзя оправдать наличием другого, так нельзя рассматривать **только одно** преступление, — тем более — массовое уничтожение людей, — отказываясь говорить о **другом**, хотя причинная связь между ними весьма и весьма вероятна. Задача историка, утверждает Нольте, состоит именно в постижении этих "причинных связей"; разрывая их, мы видим только отдельные "уникальные" преступления, которые по отдельности ничем нельзя объяснить.

Итак, — заключает Нольте эту часть своего анализа, — обвинения в адрес немцев, базирующиеся на понятиях "коллективной вины" и "уникального по характеру массового уничтожения народов", пора прекратить. Эти обвинения ничего не объясняют, они только затемняют и искажают картину прошлого. "Если мы хотим, чтобы история имела какой-то смысл для потомков, несмотря на всю свою неясность и жестокость, а также свою тревожную новизну, о чем следует помнить, говоря о ее участниках, то этот смысл должен состоять в ее освобождении от коллективистского мышления... в сознательном

осуждении такой критики, которая имеет своим объектом "еврея" вообще или "русского", или "немца", или "мелкого буржуа" и так далее. В той мере, в какой критика национал-социализма ведется в плоскости его коллективного мышления, с ней пора покончить. Только более широкая конфронтация с прошлым, исходящая прежде всего из анализа истории двух последних столетий, позволила бы, без сомнения, "пройти" тому прошлому, о котором речь. Такого рода конфронтация позволила бы подчинить себе это прошлое и овладеть им", — заканчивает свою статью Эрнст Нольте.

Этот важнейший в теории Нольте "анализ истории двух последних столетий" не разъясняется в его статье. Но следующий участник дискуссии, Юрген Хабермас, дает достаточно подробное изложение Нольтевского анализа, присовокупляя к нему примеры из работ других историков того же направления. Свой отклик, многозначительно озаглавленный "Способ затирания следов", Хабермас начинает с атаки на Штюрмера. По Штюрмеру, — утверждает Хабермас, — индивидуум нуждается в ощущении осмысленности своего существования; по Штюрмеру, главным (после религии) источником такого "прикладного смысла бытия" должны быть понятия "народа" и "патриотизма"; по Штюрмеру, задача истории — создать такой образ прошлого, на основе которого мог бы сложиться общенародный патриотический консенсус; наконец, по Штюрмеру, задача историка — создать этот образ "чисто", то бишь — "научно", то есть пройдя по лезвию бритвы между "внесением в историю смысла" (а по сути — мифа) и ее "демифологизацией".

Разберемся же, как немецкие историки-ревизионисты создают такой "образ", — говорит Хабермас. Для примера он анализирует работу кельнского историка Хильгрубера, озаглавленную "Сокрушение немецкого Рейха и конец немецких евреев". Уже в выборе слов, — замечает Хабермас, — видна определенная тенденция: "сокрушение" — это нечто насильственное, жестокое и несправедливое; "конец" — что-то естественное, исторически неизбежное, не имеющее виновников. Такому выбору слов соответствует и выбор автором точки отсчета. Описывая "сокрушение" гитлеровского Рейха на восточном фронте, Хильгрубер долго и подробно размышляет, чью точку зрения на события должен принять историк. Поскольку он с самого начала отказался от интерпретации, основанной на "обычной этике



ценностей или принципов", противопоставив ей "этику ответственности" рядовых немецких командиров и бургомистров, то ему остается принять либо точку зрения нацистов ("война до конца"), либо союзников ("война за освобождение от нацизма"), либо "немецкого народа" (командиров и бургомистров). Первое "неприемлемо" как проявление "социального дарвинизма", второе ("освобождение") справедливо только для узников лагерей, но не для немецкого народа в целом; поэтому остается третье — отождествиться с немецким населением Восточной Пруссии, ставшим жертвой чудовищной жестокости советских войск. К чему Хильгруберу вся эта сложная и туманная акробатика, — спрашивает Хабермас, — почему бы ему просто не стать на "нормальную" точку зрения историка, пишущего через 40 лет после анализируемых событий? А потому, — отвечает он, — что такая "нормальная" точка зрения неизбежно поставит его перед проблемой "этики войн на уничтожение", а историк-ревизионист хочет любой ценой именно этого избежать. Избрав точку зрения "немецкого народа", Хильгрубер, естественно, приходит к резко отрицательной оценке результатов "сокрушения" восточного фронта: оно привело к захвату Восточной Пруссии Советами, а в более широком плане — к захвату ими всей Восточной Европы. По мнению Хильгрубера, то была роковая ошибка западных союзников: "Вся Европа проиграла от катастрофы 1945 года; возрождение разрушенной Центральной Европы и поныне остается нерешенной задачей".

Итак, развязанная нацистами война изъята у Хильгрубера из ведения этики и поставлена в "контекст" чисто политических "расчетов" и "просчетов". Остается вторая сторона этой войны, направленная против евреев. Сопrotивление немцев наступлению советских войск было, по Хильгруберу, в конечном счете исторически оправданным — они защищали /сами того не сознавая/ судьбы Европы от "Советов". Но чем объяснить, — спрашивает автор, — тот факт, что немецкие массы были свидетелями уничтожения евреев — и молчали? На этот вопрос Хильгрубер отвечает: "Эта проблема лежит в таких измерениях, которые выходят за рамки исторической конкретности события. Иными словами ее анализ выходит за рамки обязанностей и возможностей историка, имеющего дело, что ни говори, с "конкретными событиями"...

Подход Хильгрубера, — говорит Хабермас, — типичен для ис-

ториков националистического, консервативного, ревизионистского толка, главным представителем которых является Нольте. В своей книге "Между мифом и ревизионизмом, — напоминает Хабермас, — Нольте утверждает, что история нацизма, написанная его победителями сразу же после войны, сегодня требует ревизии. Ключом к "правильному" пониманию недавнего прошлого должна, по Нольте, стать диалектика взаимных угроз уничтожения. Вот пример таких взаимных угроз и их роли в истории: Хаим Вейцман, глава всемирного сионистского движения, в 1939 году заявил, что еврейство "объявляет Гитлеру войну"; эта угроза дала Гитлеру основание трактовать немецких евреев, как военнопленных. Другой угрозой, постоянно тревожащей нацистов, был большевизм, откровенно нацеленный на войну с Германией; эта угроза вынудила Гитлера к выработке его специфической восточной политики. В свою очередь, отношение Гитлера к евреям и к большевизму породило ответные реакции, которые толкнули Гитлера еще дальше по тому же пути — с известными результатами. Это и есть диалектика взаимного влияния и противостояния. Существенную роль в этом процессе, по утверждению Нольте, играло также "подражание методам противника": методы обращения с "врагом" нацисты заимствовали у большевиков с их ГУЛагом. Поэтому, согласно Нольте, и "так называемое уничтожение евреев в Третьем Рейхе было либо реакцией, либо извращенным подражанием, но не было процессом, происходившим впервые, как не имело и характера первичного акта".

Все угрожали всем, в частности евреи и большевики угрожали Гитлеру; первым он ответил войной, опасаясь за выживание своего народа, у вторых заимствовал методы этой войны. Это, однако, лишь первое приближение к исторической истине по Нольте. Если взглянуть на "историю двух последних столетий", то окажется, что сама сталинская диктатура, у которой учился Гитлер, в свою очередь, была всего лишь одним из звеньев длинной исторической цепи. Эта цепь тянется от заговора Бабефа и английских аграриев начала прошлого века до террористического режима Пол-Пота в нынешней Камбодже. В таком "широком историческом контексте" нацизм и большевизм оказываются всего лишь очередными выбросами в ряду многочисленных и все более яростных бунтов протеста, вызванных чересчур стремительной культурной модернизацией ми-

ра. Массы, испытывающие ностальгию по-прежнему — монолитному, надежному и самодостаточному — существованию, выражают в этих бунтах свой страх и растерянность. На идеологическом уровне выражением этого антимодернистского протеста были марксизм и фашизм. Они равно противостояли "безоговорочной аффирмации практической трансценденции", как выражается Нольте, или, в его же, но более простых словах, "растущему объединению мировой экономики, техники, науки и индивидуальной свободы". В этих идеологических конструкциях не были заложены цели "преступления" и убийства — эти понятия появились позже, когда "вина была возложена на некоторые определенные группы людей", которые "сами были так задеты процессом эмансипации, развязанным либеральным обществом, что устами своих представителей объявили о смертельной угрозе своему существованию".

Если в последней, нарочито темной фразе под "группами", на которых "возложили вину", понимать евреев или капиталистов, то несомненно, что вину возложили на них зря — им и самим было страшно. Увы, в суматохе "эмансипации" некогда было разбираться. Старушку убили зря, но теперь уже ничего не поделаешь, остается "правильно понять механизм явления". Но не исключено, что страшно было по мнению Нольте, немцам, которые объявили об этом "устаами" нацистов, своих тогдашних "представителей". В этой трактовке фраза Нольте означает совсем другое: планы массового убийства не входили в изначальную программу нацистов, а все разговоры о "чудовищных преступлениях" возникли лишь потому, что на немецкий народ облыжно возложили эту вину.

Нольте, — завершает Хабермас, — "убил двух зайцев сразу: нацистские преступления перестают быть чем-то уникальным, коль скоро можно сделать их понятными, по крайней мере, в том смысле, что они были реакцией на большевистскую угрозу, сохраняющуюся по сей день; одновременно Освенцим сводится до уровня обычного технического новшества и объясняется страхом перед "азиатчиной", по-прежнему опасной и нависающей над нами".

Критика Хабермасом тезисов Нольте вызвала резкое выступление Иоахима Феста в защиту этих тезисов. Хабермас, — говорит Фест, — настаивает на уникальности нацистских преступлений, ссылаясь на то, что их жертвы выбирались независимо от вины, по одной принадлежности к определенному народу.

Но прав тут Нольте, а не Хабермас: разве не говорил за 20 лет до Освенцима один из главарей ЧК Лацис: "Мы ликвидируем буржуазию как класс, мы не нуждаемся в доказательстве вины, наш первый вопрос — к какому общественному классу принадлежит арестованный, и *это* решает его судьбу"? А ведь принадлежность к классу, по крайней мере — во времена Лациса, была не вопросом выбора, а делом рождения. Хабермас подчеркивает и другую уникальность Освенцима — его механически-безличный, административно-бюрократический характер; но разве массовые экзекуции Сталина, — спрашивает Фест, — не подразумевали за собой такого же аппарата? Мы просто о нем меньше знаем. Хабермас говорит и об уникальности "возвращения к варварству" такого цивилизованного, культурного народа, как немцы; но разве это не повторяется сегодня? — возражает Фест. — И есть ли в этом какое-то различие между немцами и, скажем, камбоджийцами? Проводя такое различие, Хабермас, по мнению Феста, сам следует за нацистским делением народов на "высшее" и "низшее"? Наконец, что сказать о Гитлере с его "окончательным решением еврейского вопроса", которое выплосось в массовое человекоубийство? — продолжает Фест. — Он тоже не был так уж уникален, как это кажется Хабермасу. В основе решения Гитлера физически уничтожить "врага" лежало, во-первых, "подражание Сталину", которое отметил Нольте, во-вторых — "свойственный всем австрийским немцам страх перед угрозой чужой гегемонии" и, в-третьих, доведенные до конца выводы из учения европейской радикальной Левой. Ибо мысль отказать "врагу" в праве на жизнь родилась не у Гитлера и даже не у Сталина — она была следствием введенного марксизмом механического деления мира на непримиримо враждебные классы "эксплуататоров" и "эксплуатируемых". Возможно, европейская Левая подсознательно ощущает, что именно ее идеи породили ГУЛаг /который породил Освенцим/ — не случайно она оказала такой враждебный прием Александру Солженицыну.

Когда в статье Хабермаса, — продолжает Фест, — критические замечания Нольте объявляются попыткой затушевать немецкую вину, — это злобная и намеренная фальсификация. Что ж, нет такой мысли, которую нельзя было бы извратить. Но Нольте в этом не повинен. Ставить нацистские преступления в причинный ряд с преступлениями ГУЛага и показывать их

сходство не означает оправдывать нацистов. Но Хабермаса, — считает Фест, — интересует не столько подлинная мысль Нольте, сколько возможность назвать его "ревизионистом", "консерватором" и "националистом". Этим Юрген Хабермас, — заканчивает Фест, — всего лишь выдает свою партийную социал-демократическую заангажированность.

Не будем останавливаться на попытке Кристиана Мейера найти "золотую середину" в этой дискуссии — куда важнее ее полюса. На одном — утверждение приемлемого национального мифа, на другом — демифологизация, объявляемая разрушительной и нигилистской. Именно между этими двумя полюсами оказывается стиснутой мысль интеллектуалов сегодняшней Германии, стоит им сцепиться в спорах о своем прошлом. Но разве не между теми же полюсами мечется и мысль российских или израильских интеллектуалов в их сегодняшних спорах? Оказывается, не только история, но и ее интерпретаторы склонны к немногочисленным и напрашивающимся моделям. И если есть урок в этих спорах и дискуссиях, так он, пожалуй, состоит в том, что, рассуждая о мифах вчерашнего дня, они в действительности демонстрируют нам, во имя каких мифов будет проливаться кровь — завтра. Вот еще тому доказательство.

Представьте себе такой зачин: "Существует государство, зловещая и гигантская тень которого давно уже нависает над всей Европой. Европейцы справедливо видят в его гегемонистских претензиях постоянную угрозу своему суверенитету. Мыслители по-разному трактуют причины его исторической агрессивности. Одни усматривают их в особенностях национального характера его народа, другие — в его исконной недемократичности, обусловленной запоздалым вступлением в историю, третьи — в специфике его идеологии, философии, культуры. Соответственно разнятся и рецепты решения рокового "вопроса", связанного с этим государством и этим народом — от рекомендации отказаться от имперской политики и вернуться к прежним историческим масштабам до призывов отбросить гнетущее идеологическое наследие и побыстрее демократизоваться по западному образцу..." Обобщенное это описание настолько знакомо по нынешним российским спорам, что не возникает сомнения, о ком идет речь. В действительности, однако, — это вытяжка из доклада немецкого историка Хельмута Вагнера, прочитанного по следам обсуждавшейся выше дискуссии в

1987 году в ряде университетов Польши. И речь в нем идет не о России, а о Германии, о немецком народе и о "немецком вопросе". Но сходство моделей — не случайно: в "русских спорах" такого рода "зачин" уже своей интонацией предуведомлял бы читателя, что автор попытается "защитить" свою страну и свой народ; немецкий автор, оказывается, нацелен на то же самое.

Естественно, что Вагнера интересует "немецкий вопрос", то есть вопрос о том, какие причины обусловили такой, а не иной характер немецкой истории новейшего времени. Участников нынешних споров в России интересует, естественно, вопрос "русский" /заметим к слову, что все эти немецкие разговоры о причинах нацизма и Освенцима и русские — о причинах революции и ГУЛага рано или поздно сходятся у "ревизионистов" на вопросе о евреях, что делает "немецкий" и "русский" вопросы, некоторым образом, частью нашего "еврейского вопроса" — впрочем, как и наоборот/. Подобно другим историкам-националистам (что в Германии, что в России) Вагнер тоже ищет причины в "других". Он отвергает все ссылки на "немецкий национальный характер" /У.Ширер и Ф.Мейнеке/, на "врожденный милитаризм" /А.Тойнби/, на "идеологию Маркса-Ницше" /Д.Дьюи/; по его мнению, причины немецкой — и европейской — трагедии XX века коренятся в столкновении двух одинаково правомочных принципов, двух одинаково общепризнанных прав — на национальное самоопределение и национальную безопасность. Немцы по праву стремились к национальному самоопределению и созданию национального государства, а это вызывало опасение их европейских соседей, которые по праву стремились защитить свое существование. Немецкое государство с его демографическими параметрами /70 миллионов человек/, экономическим потенциалом и геополитическим положением /в центре Европы/ было "сверхкритической массой" в Европе, его мощь угрожала европейскому политическому равновесию, и в системе такого равновесия противоречия между существованием этого государства и стремлением его соседей к безопасности было неразрешимым без применения силы. Немцы, ощущая свою мощь, не могли не претендовать на общеевропейскую гегемонию /"Какой народ на их месте устоял бы перед таким соблазном?!" — восклицает Вагнер/; соседи не могли не препятствовать им в этом. Отсюда вывод: "Легко приписывать

Гитлеру, кайзеру или немецкому народу в целом вину за обе мировые войны, но куда более сложная правда состоит в том, что новейшая история Европы не есть дело рук отдельного человека или отдельного народа — это результат совместных усилий, опасений и стремлений всех европейцев перед лицом "немецкого вопроса" в Европе."

Появление слов о "куда более сложной правде" — верный признак того, что "простая" моральная оценка приносится в жертву каким-то иным, осознанным или неосознанным целям интерпретации прошлого. Бесспорно, история сложна, она складывается из взаимосвязей и взаимовлияний, историк должен вскрывать эту сложность, а не оценивать ее. Но без моральных ориентиров — или с предвзятой установкой на *определенного рода* ревизию прошлого — он не может дать подлинной картины.

Эту сложность исторического анализа принципиально отметил польский комментатор изложенной выше дискуссии Александр Смоляр. Профессиональный долг историка, — пишет он, — зачастую вступает в противоречия с его моральным и гражданским долгом. С моральной точки зрения нацистское прошлое требует безоговорочного осуждения. Наличие в истории других преступлений ни на йоту не уменьшает тяжести данного конкретного. Но профессиональный долг навязывает историку иную логику. Он должен изучать нацизм в ряду и в связи с другими политическими системами. И тогда сложность запутанной картины взаимосвязи заслоняет моральную однозначность явлений.

Но есть еще и долг гражданский: от историка ждут такой картины национального прошлого, которая была бы приемлема для общества в целом, помогала его интеграции, а не усиливала бы разногласия, внушала чувство уверенности в будущем и гордости за прошлое, а не чувство неизбывной вины, отверженности и обреченности. Иными словами, историк должен "наделить прошлое таким смыслом, который приемлем для национального консензуса", как говорил в начале дискуссии М.Штюрмер.

"Исторический ревизионизм" склонен жертвовать моралью ради "гражданского долга". Не то, чтобы "ревизионисты" так уж прямо реабилитировали Гитлера и нацизм, — но они ставят под сомнение уникальность нацистских преступлений и нацизма как такового. Достигается это, как мы видим, разными способами. Преступление можно релятивизовать: за войну и ее ужасы были ответственны не только немцы, но не в меньшей степени "ев-

ропейцы”, как у Вагнера, или русские /как у Хильгрубера/, или евреи /как складывается у Нольте/. Преступление можно, как говорила Ханна Арендт, банализовать: вся история человечества, как утверждает тот же Нольте, полна кровавых преступлений; армянский геноцид Турции был не менее страшен, чем Освенцим; пол-потовская резня в Камбодже была ужаснее; сталинский ГУЛаг насчитывал куда больше жертв. Преступление можно поставить в ”социально-исторический контекст”: нацизм — всего лишь одна из разновидностей тоталитаризма; или фашизма; или диктатуры. Преступление можно поставить в контекст ”универсально-европейский”. Нацизм /или, для других, большевизм/ был реакцией на ”стремительную модернизацию”. И так далее...

Все эти соображения верны, тонки и замечательны. Не хватает в них только одного — готовности честно признать свою вину. Перечитывая дискуссию немецких интеллектуалов, невозможно отделаться от ощущения, что за всеми их сложными построениями как-то исчезает простой человеческий смысл: так что же все-таки — есть какая-то вина за Гитлером и Менгеле, за хайдеггерами и фуртвенглерами времен Освенцима или нет за ними никакой вины?

На связь этой дискуссии с ”делом Хайдеггера-Фуртвенглера” обратил внимание не только я. В недавнем /июнь 1989 года/ выступлении на очередном заседании т.н. ”Кельнского клуба” итальянский публицист Витторио Страда, говоря о спектре интерпретаций советской ”перестройки”, в числе прочих привел ”европейскую”, как он ее назвал, интерпретацию Нольте /связь между немецким нацизмом и советским большевизмом, как двумя разновидностями тоталитаризма, ”которые возникли в результате кризиса либеральной демократии как оппозиция к ней и одновременно, несмотря на структурную близость, как противовес друг другу”/, взяв ее из обсуждаемой нами дискуссии. ”В некотором отношении, — сказал Страда, — эта дискуссия косвенным образом связана с другой, имевшей место на страницах мировой печати, о Мартине Хайдеггере и его отношениях с нацизмом.” Или, — уточняет Страда, — о причинах, по которым значительная часть интеллигенции выступала против демократии.

Причины эти Страда называет ”головоломными” и предпочитает в них ”не углубляться”. Однако по отношению к участникам



немецкой дискуссии его позиция более однозначна. Он явно сочувствует Нольте и осуждает Хабермаса, который, по его мнению, не может отделаться от "типичных для прогрессистов" известных "ментальных схем" — в данном случае, от нежелания признать ужасный характер сталинского социализма и его сродство с немецким нацизмом. Страда настаивает именно на "сродстве", упрекая Нольте за то, что тот провел между этими двумя тоталитаризмами слишком прямую причинную связь.

С последним следует согласиться. Напомним хотя бы, что расистские идеи, из которых вырос Освенцим, появились в Германии задолго до всякого ГУЛага: "Общество расовой гигиены" было создано там еще в 1905 году, а смешанные браки в германской Юго-Западной Африке были запрещены уже в 1908-м; и некоторые немецкие ученые, включая знаменитого этнолога, будущего Нобелевского лауреата Конрада Лоренца, выступали с яростными расистскими обвинениями без всякого подбадривания из СССР. С чем нельзя столь же безоговорочно согласиться, так это с основным тезисом о единых корнях нацизма и большевизма. История действительно задает весьма сходные вопросы: немецкий, русский /а в Азии, наверно, "японский"/ — но ответы она дает разные. Свой запас уникальности она бережет именно для ответов. Добыть их, не соблазняясь упрощенными схемами, вроде "оппозиции либеральной демократии" или "исторического подражания", — наш коллективный интеллектуальный долг, не отделимый от "морального" и "гражданского", если только под последними не понимать потакания национальному самолюбию или общественному консенсусу.

Что же до "дела Хайдеггера и К°", то урок его, на мой взгляд, может быть сформулирован примерно так: нам, подавляющему большинству людей не дано напрямую влиять на исторические события; поэтому мера нашего участия в истории определяется степенью нашей личной /моральной и интеллектуальной/ порядочности в противостоянии Злу и отстаивании Добра. Возможно, этот принцип поведения покажется слишком маломасштабным, но я другого не знаю.

*Перевод и послесловие  
Рафаила Нудельмана*

## КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Умберто Эко

### О ЯЗЫКЕ РАЯ

*Неподготовленному читателю эта статья может показаться помесью сухого научного труда и профессиональной шутки, из тех, что рассказывают друг другу в научно-учрежденческих коридорах посвященные в тайны физики (в данном случае, лирики). Но нижеследующее исследование райского языка, на деле, — не то и не другое. Статья Умберто Эко — это одновременно упражнение по семиотике, образец современной прозы и, пусть в легкой и изящной форме, философское эссе, затрагивающее серьезные вопросы о соотношении языка и истории, культуры и природы.*

*Умберто Эко наверняка знаком русскому читателю как автор “Имени розы” — эlegantного детектива, действие которого происходит в средневековой Италии. К немалому изумлению самого автора, роман стал международным бестселлером и даже удостоился почести послужить основой для (плохого) голливудского фильма. Но Эко, прежде всего, — серьезный семиолог, автор “Теории семиотики” и “Роли читателя”. Он принадлежит к тому увлекательному направлению в западных гуманитарных науках, которое иногда называется структурализмом, а иногда семиотикой. К нынешнему времени это направление распалось на множество враждующих школ, представители которых, естественно, отрицают, что между ними есть что-то общее. Вдобавок, прямой отпрыск семиотики, именуемый постструктурализмом или “деконструкцией”, деконструирует своего родителя с поистине эдиповым пылом. Тем не менее, нечто объединяет в одну группу лингвистику Эко, антропологию Леви-Штресса, литературную критику Барта, историографию Фуко, психологию Лакана и “всеобщее разрушение” Деррида. Пользуясь термином, предложенным Ричардом Харландом, мы можем назвать это “нечто” философией суперструктурализма (в отличие от структурализма в узком смысле слова).*

*В основе этой философии лежит утверждение, что гуманитарные науки — это науки неестественные (опять же, по определению Харланда). Иными словами, суперструктурализм отрицает существование извечной незыблемой человеческой природы, и даже природы вообще. Природа (не как совокупность материальных объектов, а как источник смысла и ценностей) — это порождение культуры. А культура, в свою очередь, существует и развивается через язык.*

*У истоков структурализма стоит лингвистика де Соссюра, с ее революционным разделением языка на речь (*parole*) и язык (*langue*). Здесь не место вдаваться в детали этой теории, но идея языка (*langue*) как структурированной системы произвольных знаков, независимой от личности го-*

ворящего и ограничивающей возможности его высказываний, лежит в основе всех разновидностей суперструктурализма. Язык — это совокупность знаков, каждый из которых имеет смысл только в соотношении с другими знаками. Язык — это не нейтральное “средство общения”, выражающее мысли, которые существуют в некой долингвистической непорочности в мозгу говорящего. Но язык и не соответствует неизменным значениям, свободно витающим в запрограммированной Богом вселенной. Знак случаен: с одной стороны, это значит, как нам всем хорошо известно, что то, что по-русски “дерево”, на иврите “эц”; и спрашивать, какое из этих слов лучше выражает сущность “дерева”, бессмысленно. Но с другой стороны, случайности “обозначающего” соответствует и более глубинная случайность “обозначаемого”. Каждый язык делит бесформенное поле чувственных восприятий на культурные единицы; и делит его по-своему. Русскому “бояться” соответствуют в английском несколько слов, выражающих оттенки страха (to fear, to be afraid, to dread). Это не значит, что англичане большие трусы, чем brave русские орлы. Напротив: англичанин только потому и способен почувствовать разницу между to fear и to dread, что его язык содержит эти категории. Приобретение языка предшествует формированию человеческого сознания; и поскольку каждый язык создает свою собственную картину мира, мы живем не ощущениями, а категориями; не страстями, а словами. Для Адама и Евы, по Эко, богатой природы райского сада попросту не существует; они живут в убогом мире из двенадцати слов.

Язык существует внутри общества, поддерживает и воспроизводит структуру этого общества вне зависимости от индивидуальности его членов. Через язык общество не просто вторгается в бастион человеческого сознания; оно лепит это сознание из пластичного материала биологических импульсов: ребенок, не научившийся языку, остается животным. Язык никогда не принадлежит говорящему: самые из сердца идущие слова позаимствованы нами у чужих. Язык — это всегда язык Другого. Язык — это источник и граница нашей иллюзорной свободы. Язык — это история.

Идея языка играет решающую роль во всех разновидностях суперструктурализма. Лакан, основатель нового направления в психоанализе, утверждает, что “подсознание имеет структуру языка”. В историографии Фуко язык — или скорее, культурный дискурс, сочетание форм выражения с практикой познания порождает такие, казалось бы, основные, даже биологически абсолютные понятия, как безумие и сексуальность. Барт объясняет, каким образом “мифологии” массовой культуры фабрикуют Природу на заказ — иными словами, превращают произвольные символические системы в незыблемые ценности. По Барту, мы пьем не вино, а образ вина — все те коннотации изысканности и роскоши, которые культура/язык связали с пенящимся бокалом шампанского, а затем сделали вид, что они изначально ему присущи. В своих поздних работах Барт ставит свободную стихию языка, освобожденного от всех информативных обязательств: “обозначающее”, вырвавшееся из-под власти “обозначаемого”. Отсюда уже недалеко и до “деконструкции” Деррида, демонстрирующего, как любой текст неизбежно подрывает свое собственное значение.

Философия суперструктурализма антигуманистична: она прямо противо-

речит идее Человека с большой буквы, унаследованной нами от психологического романа девятнадцатого века. Фуко заметил, что человек — это недавнее изобретение, кратковременная складка в разворачивании культуры. Речь идет, понятно, не о биологическом виде *Homo Sapiens*, а об идее независимого индивидуального “я”, для которого язык — это средство самовыражения. Для структуралистов язык выражает себя через человека. Эко принадлежит к классическому — и следовательно, слегка устаревшему, — направлению в структурализме. Его область — структурная лингвистика и, в особенности, семантика. Тем не менее, обилие специальных терминов в первой части “Исповедания райского языка” не должно пугать читателя: даже полное незнание лингвистики не мешает ему оценить эlegantность, с которой Эко выводит историю человечества из изменений в языке. Первоначально написанное в 1971-м и затем дополненное, это ироническое эссе утверждает не просто, что язык сделал человека человеком, но что именно эстетическое (то есть “беспольное”) употребление языка ответственно за изгнание наших прародителей из рая бездумного блаженства. Культура рождается, когда Адам и Ева открывают случайность символов; поле для свободы творчества открывается в разрыве между языком и природой. Но возможность двусмысленности, которая, по Эко, и есть запретный плод, заложена в языке с самого начала. Даже когда Адам и Ева — это пара счастливых идиотов, тыкающих пальцами в вишню и лепечущих “красное”, они уже совершили первый шаг по пути отчуждения от естественной Необходимости и Порядка; пути, который приведет ко всем многообразным мифам человеческой истории, безнадежно пытающимся воссоздать безгрешное состояние доязыковой стабильности.

Литературные эксперименты Адама и Евы пародируют развитие западных теорий литературы: от Романтического возвеличивания личности творца, как пророка и провидца, до Модернистского “исчезновения автора” и пост-Модернистского освобождения формы из-под власти содержания. В своей аллегории возникновения культуры Эко ссылается на краеугольные камни культуры западной: Библию, греческие мифы, “Потерянный рай” Мильтона и Зигмунда Фрейда. Неортодоксальное толкование истории Каина и Авеля в конце — это игривое переложение “Тотема и табу” Фрейда, еще одного западного мифа, претендующего на абсолютную достоверность, на раскрытие тайны человеческого существования. Но для структуралиста все окончательные решения относительны, все откровения — комбинации символов, все мифы — нестойкий продукт игры бесконечных возможностей языка.

Илана Гомель

Споры о природе эстетических высказываний часто ведутся на абстрактном уровне. Когда дело доходит до практических приложений, теория часто иллюстрируется рассмотрением уже существующих художественных текстов, со всеми их сложностями. В этом случае разница между уровнями содержания и формы, изменения в коде, художественные нововведения —

все это с трудом поддается точной оценке. Поэтому в качестве полезного упражнения стоило бы создать миниатюрную модель языка, способного порождать эстетические высказывания. Мы получим максимально упрощенную модель языкового кода, на примере которой сможем продемонстрировать правила порождения эстетических высказываний. Правила эти заложены в самом языковом коде; в то же время, они позволяют изменить этот код — как на уровне формы, так и на уровне содержания. Эта модель должна быть сконструирована таким образом, чтобы наглядно показать, как любой язык содержит внутренние противоречия, которые ведут к его непрерывным преобразованиям. Она должна продемонстрировать, что именно эстетическое употребление языка отчетливо выявляет эти противоречия, и что любое формальное новшество порождает новое содержание. В конечном счете, изменение языкового — семантического — кода меняет наше видение мира.

Для проведения этого эксперимента, вообразим исходную ситуацию: жизнь в раю, обитатели которого говорят на райском языке.

Мое описание этого языка позаимствовано из так называемого "Проекта Граммарама", предложенного Г. Миллером (в его книге "Психология и коммуникация", Нью-Йорк, 1967). Миллер, однако, не рассматривал свою модель как райский язык. Объектом его эксперимента был индивидуум, который строит случайные последовательности, состоящие из двух символов D и P, и получает подтверждение грамматической правильности или неправильности этих последовательностей. Таким образом Миллер проверял способность говорящего усваивать правила этой вымышленной грамматики путем дедукции. Миллера интересовал процесс обучения языку; мой же эксперимент предполагает, что Адам и Ева уже знают свой райский язык и пользуются им в общении друг с другом, хотя его внутренняя грамматическая структура ими еще не осознается.

**1. Семантические единицы и лингвистические последовательности.** Хотя они окружены роскошной природой, Адам и Ева не заинтересованы в ее классификации; они выработали ограниченное число смысловых единиц, которые выражают исключительно их эмоциональное отношение к флоре и фауне. Эти семантические единицы могут быть организованы в шесть пар:

Да/Нет

Съедобное/Несъедобное ("Съедобное" означает: "можно кушать", "съестные припасы", "я хочу кушать" и т. д.)

Хорошее/Плохое (эта дихотомия обозначает как моральные переживания, так и физические ощущения)

Красивое/Уродливое (эта дихотомия обозначает все возможные степени удовольствия, развлечения, желательности)

Красное/Синее (эта дихотомия обозначает весь спектр зрительных ощущений: земля видится красной, а небо синим; мясо красное, а камни синие и т. д.)

Змей/Яблоко (Это единственные "слова", обозначающие реальные объекты, а не абстрактные качества. Они появляются как исключения из правил. Смысловая единица "яблоко" была включена в словарь культур-

ных понятий только после того, как Бог объявил яблоко неприкасаемым. Когда змей обвился вокруг дерева, на котором висело яблоко, это существо привлекло к себе внимание и показалось каким-то образом связанным с Запретным Плодом. Таким образом, змей тоже был выделен в отдельную понятийную единицу, в отличие от других животных, которые видятся только "съедобными" или "плохими" или "синими" или даже "красными", без всяких дополнительных уточнений.)

Одна культурная единица связана с другой, и таким образом мы получаем две цепи соответствий:

- (1) красное=съедобное=хорошее=красивое  
 синее=несъедобное=плохое=уродливое

Однако, Адам и Ева неспособны представить себе эти единицы абстрактно: они могут осознать их только через определенные формальные структуры. Поэтому они получили свыше (или, быть может, выработали сами) простейший язык, пригодный для выражения их небогатого запаса концепций.

Алфавит этого языка состоит из двух звуков А и В, из которых может быть составлено неограниченное количество последовательностей слов (в соответствии с комбинаторным правилом  $X, nY, X$ ). Каждая последовательность начинается, скажем, одним из звуков, продолжается повторением сколько-то пар другого звука (пара) и оканчивается одноразовым появлением первого звука. Такого рода прием (правило) позволяет производить грамматически правильные последовательности до бесконечности. Но Адам и Ева нуждаются только в ограниченном наборе слов, который в точности соответствовал бы их культурным единицам. Поэтому их словарный запас имеет следующую форму:

- |         |             |
|---------|-------------|
| (2) АВА | съедобное   |
| ВАВ     | несъедобное |
| АВВА    | хорошее     |
| ВААВ    | плохое      |
| АВВВА   | змей        |
| ВАААВ   | яблоко      |
| АВВВВА  | красивое    |
| ВААААВ  | уродливое   |
| АВВВВВА | красное     |
| ВАААААВ | синее       |

Кроме того, этот код включает два универсальных оператора: АА=Да и ВВ=Нет, которые могут означать "разрешение/запрет", или "бытие/небытие", или даже "одобрение/неодобрение" и т. п.

Синтаксических правил не существует, кроме того, если две последовательности поставлены рядом, их значения взаимодействуют: так например, ВАААВ, АВВВВВА означает одновременно "яблоко красно" и "красное яблоко".

Адам и Ева полностью овладели своим райским языком, но одну вещь им трудно постичь: правило порождения последовательностей. Интуитивно они его понимают, но именно поэтому АА и ВВ кажутся им неправильными. Более того, им не приходит в голову, что могут существовать другие грамматически правильные последовательности. Отчасти это потому, что они

в них не нуждаются: им больше нечего называть. Их жизнь насыщена, гармонична и приятна, без нужды или необходимости.

Таким образом, цепи коннотаций (1) принимают следующую форму:

(3) АВА = АВВА = АВВВВА = АВВВВВА = ВАААВ = АА

съедобное-хорошее-красивое-красное-яблоко-да

В АВ = ВААВ = ВААААВ = ВАААААВ = АВВВА = ВВ

несъедобное-плохое-уродливое-синее-змей-нет

Слова, таким образом, равны объектам (или скорее, ощущениям Адама и Евы по поводу этих объектов), а объекты равны словам. Для обитателей рая, поэтому, естественно представить себе ассоциации типа

(4) АВА (съедобное) = красное

Это, очевидно, уже зачаточная метафора, основанная на экстраполяции из цепи (3) и представляющая собой зародыш творческого употребления языка. Это творчество, однако, минимально, поскольку все цепи полностью исследованы и состоят из заранее известных элементов. Эта их крошечная семантическая вселенная предельно ограничена как в своем содержании, так и в возможностях выражения.

Что бы Адам и Ева ни утверждали, их утверждение не выходит за пределы заранее заданной структуры языка. Конечно, они могут высказывать фактические суждения типа (...красное), когда видят, скажем, вишню. Но такого рода фактическое суждение немедленно исчерпывает свои возможности, ибо не существует еще лингвистического механизма для произношения (...) (вишня), и таким образом ощущение красности вишни не может быть введено в их понятийный запас.

В конце концов, фактические суждения превращаются в тавтологию, потому что как только вишня определяется как (красное), дорога открыта для оценочных суждений типа (красное — это красное) или (красное — это хорошее), которые уже содержатся внутри семантической системы (3). Мы можем предположить, что обитатели рая способны указывать на объекты пальцами, иными словами, способны употреблять физический жест как эквивалент местоимения (это), чтобы привлечь внимание собеседника. Таким же образом, указующий перст может добавить к любому предложению недостающие (я), (ты) или (он), играя роль местоимения. Скажем, предложение (АВВВВВА АВА), сопровождаемое двумя тыканьями пальца, означает (я ем это красное). Но вне всякого сомнения, для Адама и Евы эти указатели — не языкового порядка; скорее, они видят их как экзистенциальные уточнители (или дорожные указатели), привязывающие высказывания (имеющие смысл сами по себе) к определенному объекту или ситуации.

**2. Формулировка первого фактического суждения и его семантические последствия.** Адам и Ева только что обосновались в райском саду. С помощью языка они освоились на новом месте. И вдруг появляется Бог и произносит первое фактическое суждение. Бог хочет сказать примерно следующее: "Вы, дорогие мои, наверно думаете, что яблоко съедобное, потому что оно красное. Ладно, у меня есть новости. Яблоко должно считаться несъедобным, потому что оно плохое". Ясно, что Бог не снисходит до объяснений, почему яблоко плохое; он — мера всех вещей и знает это.

Для Адама и Евы ситуация сложнее: они привыкли связывать Хорошее со Съедобным и Красным. С другой стороны, они не могут проигнорировать Господний запрет. Для них он — воплощенное АА, высшее “да”, утверждение, ставшее плотью. Более того, хотя последовательность АА употребляется во всех остальных случаях как союз, по отношению к Богу (“Аз есмь Господь”, иными словами, “Я есть то, что Я есть”), АА — это не просто предикат; это — имя Бога. Будь они чуть более сведущи в теологии, Адам и Ева неизбежно пришли бы к выводу, что змей должен именоваться ВВ, но, к счастью, они далеки от таких тонкостей. В любом случае, змей — синий и несъедобный, и только после Господнего указания он превратился в существенную деталь райского ландшафта.

Бог изрек, и слова его были (ВААВ. ВАВ — ВААВ. ВААВ), (яблоко несъедобное, яблоко плохое).

Это — фактическое суждение, поскольку оно содержит информацию, доселе неизвестную его адресатам. Бог является одновременно и обозначаемым, и источником всех значений; его указания составляют символический кодекс законов. Но указание Бога составляет частично и лингвистическое высказывание, поскольку оно постулирует новый тип связи между двумя смысловыми элементами, которые раньше были соединены по-другому.

Тем не менее, как мы вскоре увидим, Бог совершил серьезную ошибку, выделив именно те элементы, которые способны вывести из строя весь код. Бог пытается испытать свои создания путем наложения запрета — и в то же время подает пример ниспровержения казалось бы незыблемого порядка вещей. Почему красное яблоко должно быть несъедобным, как если бы оно было синим?

Увы, Бог очевидно пытался создать культурную традицию, а культура рождается вместе с табу. С этим можно спорить, утверждая, что культура уже существовала, поскольку существовал язык, что вся творческая деятельность Бога была созданием нормы, источником закона и авторитета. Но кто в состоянии проследить точный порядок событий в тот критический момент истории? Что, если язык появился после наложения запрета? Моя нынешняя задача — состоит не в решении проблемы возникновения языка, а в исследовании гипотетической языковой модели. В любом случае, нам позволено утверждать, что Бог действовал чересчур поспешно; еще не пришло время решать, в чем именно была его ошибка. Для начала мы вернемся к эскалации кризиса в раю.

После запрета, наложенного на яблоко, Адам и Ева вынуждены изменить цепи (3) и установить новые, а именно:

(5) красно=съедобное=хорошее=красивое=да  
синее=несъедобное=плохое=уродливое=нет=змей и яблоко

Отсюда уже недолго до суждения:

змей=яблоко

Это — явное указание на то, что семантическая вселенная быстро теряет свое первоначальное равновесие. Однако, мы все знаем, что семантическая вселенная современного человека больше похожа на (5), чем на (3). Через это системное неравновесие первое противоречие тайком проникает в идиллию Адама и Евы.



**3. Как рождается противоречие в семантической вселенной Адама и Евы.** Определенная умственная инерция позволяет нам по-прежнему называть яблоко (красным), даже после того, как оно было ассоциировано с плохим, несъедобным и следовательно, с синим. Предложение:

(6) ВАААВ. АВВВВВА (яблоко красное)

прямо противоречит предложению

(7) ВАААВ. ВАААААВ (яблоко синее).

Адам и Ева вдруг осознают, что они столкнулись с аномалией: значение термина прямо противоречит его коннотации. Это противоречие не может быть выражено через их стандартный словарный запас. Теперь они не в состоянии указать на яблоко и сказать (это красное). Они, естественно, не хотят формулировать противоречивое утверждение "яблоко красное, оно синее". Поэтому им приходится указывать на из ряда вон выходящее явление яблока с помощью примитивной метафоры, как например (то, что красное и синее), или еще лучше (то, что называется красно-синим). Вместо какафонического утверждения (ВАААВ. АВВВВВА. ВАААААВ) (яблоко красное, оно синее), они предпочитают изобрести метафору, сложносоставное альтернативное название. Это освобождает их от логического противоречия и дает возможность осознать концепцию яблока интуитивно, во всей ее амбивалентности (путем амбивалентного использования кода). Теперь они называют яблоко:

(8) АВВВВВАВАААААВ (красно-синее).

Новое наименование выражает противоречивый факт, и в то же время освобождает говорящего от необходимости формулировать его в соответствии с правилами логики, которые неизбежно исключили бы такое высказывание. Но одновременно оно пробуждает в Адаме и Еве странное ощущение. Они заморожены новым звуком и необычной формой, которую они изобрели для его записи. Выражение (8) очевидно двусмысленно с точки зрения его содержания, но и не менее двусмысленно с точки зрения его формы. Таким образом, это суждение обращается на самое себя и становится вещью в себе. Адам произносит (красно-синее), а затем, вместо того, чтобы потянуться к яблоку, он повторяет снова и снова, с детской замороженностью, этот набор странных звуков. В первый раз он обращает внимание на слова, а не на объекты, которые слова представляют.

**4. Создание эстетических высказываний.** Внимательно посмотрев на (8), Адам делает поразительное открытие: АВВВВВАВАААААВ содержит в самом центре последовательность ВАВ (что означает "несъедобное"). Как странно: яблоко, иными словами, "красно-синее", содержит формальное указание на свою собственную несъедобность, которая до сих пор казалась одним из его значений. Теперь оказывается, что яблоко "несъедобно" даже на уровне формы. Адам и Ева наконец-то открыли эстетическое употребление языка. Но они еще недостаточно поглощены им. Тяга к яблоку должна еще возрасти; чтобы породить эстетическое побуждение, переживания, связанные с яблоком должны полностью поглотить их внимание. Романтики знали это очень хорошо: искусство рождается в пламени страсти (даже если предмет страсти — это всего лишь язык). Адам приобрел языковую страсть; языковые игры кажутся ему необыкновенно соблазни-

тельными. Но яблоко пробуждает в Адаме и другие желания: яблоко — это Запретный Плод, и поскольку оно единственное в своем роде в райском саду, оно по-особому привлекательно, яблочко привлекательно, так сказать. Неизбежно возникает желание спросить “Почему?” Но это, к тому же, запретный плод, который породил беспрецедентное слово — запретное слово? Страсть к яблоку соответствует страсти к языку; перед нами ситуация умственной и физической возбужденности, соответствующая тому, что мы сейчас называем жадной творчеством.

Следующая ступень в эксперименте Адама связана со средствами выражения. Он находит плоский камень и пишет на нем:

(9) АBBBBBA, что значит “красное”. Но он пишет это соком синих ягод.

После этого он пишет:

(10) ВAAAAAB, что значит “синее”. Но пишет он это соком красных ягод.

Отойдя в сторону, он любуется своим произведением. Ясно, что и (9), и (10) — это метафоры для яблока. Но что подчеркивает их метафорический статус, так это определенный физический компонент, а именно, особое ударение, заложенное в самих средствах выражения. Эта операция превратила средства выражения, из чисто случайного элемента, в существенную черту: теперь это — ф о р м а в ы р а ж е н и я, хотя Адам и экспериментирует с формой на языке цвета, а не слов. Вдобавок, произошло нечто очень занятное. До сих пор, красные объекты были референтами, к которым прикреплялся знак АBBBBBA (“красное”). Но теперь нечто красное, краснота ягодного сока, сама по себе превратилась в знак, одним из возможных референтов которого является то самое слово АBBBBBA, которое первоначально его обозначало. Бесконечные возможности семиозиса позволяют каждому значению стать знаком другого значения, даже своего собственного предыдущего знака. Возможна даже ситуация, при которой объект (то есть, референт) сам становится знаком. В любом случае, краснота надписи означает не только “красное”, не только “АBBBBBA”, но и “съедобное”, “красивое”, и так далее. Но с другой стороны, словесный эквивалент того, что написано на камне, — это “синее”, и следовательно, “плохое”, “несъедобное”. Какое потрясающее открытие! Оно полностью выражает амбивалентность понятия “яблоко”. Целыми часами Адам и Ева сидят и экзотически любуются словами, нацарапанными на камне. “Какое барокко!” — прокомментировала бы Ева, если бы могла. Но она не может — у нее нет критического словаря. Адам же, тем временем, горит от нетерпения попробовать что-нибудь новенькое. Он пишет:

(11) АBBBBBBA

В этой последовательности шесть В. Она не входит в словарь райского, но она ближе всего к последовательности АBBBBBA (“красное”). Адам написал слово “красное”, но с дополнительным графическим ударением. Быть может, это ударение на уровне формы соответствует чему-нибудь на уровне содержания? Что если это — особенно яркое красное? Красное, которое краснее, чем другие красности? Кровь, например? Странно, что именно в тот момент, когда Адам ищет применение своему новому слову, он впервые замечает разнообразные оттенки красного в своем окружении. Нововведение на уровне формы заставляет его различать специфиче-

ские детали на уровне содержания. Таким образом, дополнительное В становится не просто вариацией в форме выражения, а новой добавочной чертой. Но до поры до времени Адам откладывает эту проблему в сторону. Его подлинный интерес состоит в продолжении экспериментов с яблоком, и новое открытие только отвлекло его. Сейчас он хочет написать (или сказать) нечто более сложное. Он хочет сказать: "Несъедобное — это плох; таково яблоко, уродливое и синее". Он пишет это следующим образом:

(12)

В	А	В				
В	А	А	В			
В	А	А	А	В		
В	А	А	А	А	В	
В	А	А	А	А	А	В

Текст сейчас имеет форму вертикальной колонки. Две интересные формальные особенности этого высказывания немедленно привлекают внимание Адама: постепенное увеличение длины слов (что представляет собой зарождение метра) и то, что каждая последовательность кончается одной и той же буквой (примитивная модель рифмы). И неожиданно Адам оказывается во власти поэтической энергии языка. Значит, Божий запрет был оправдан, думает он: греховность яблока подчеркнута формальной необходимостью, которая вынуждает яблоко быть синим и уродливым. Адам так поражен этой очевидной нерасторжимостью формы и содержания, что он начинает верить, что *nomina sint numina*. Он решает пойти дальше: он хочет усилить метр и рифму путем поэтических излишеств, расчетливо вставленных в его неоспоримую формулу:

(13)

В	А	В	В	А	В		
В	А	А	А	В	В	А	В
В	А	А	В	В	А	В	В
В	А	А	А	А	А	А	В

Его поэтические амбиции разбужены. Идея *nomina sint numina* ударила ему в голову. С почти Хайдеггеровским пылом ложной этимологии он обращает внимание на то, что слово "яблоко" (ВАААВ) кончается буквой В, как и все остальные слова, относящиеся к категории ВВ, категории плоских вещей, как то зло, уродство и синеть. Первое впечатление, которое поэтическое применение языка производит на Адама — это растущее убеждение, что язык принадлежит к естественному порядку вещей, что он легко осознается по аналогии с миром, который он описывает, и что он зарождается в таинственных глубинах души. Язык — это голос Бога. Мы видим, что Адам в своем отношении к языку — реакционный романтик, пытающийся повернуть историю вспять: для него сам Бог говорит через язык! Вдобавок, это убеждение льстит ему: с того момента, когда он начал свои лингвистические игры, Адам все больше склоняется к тому, чтобы видеть себя на стороне Бога. Он ощущает, что он может быть на ступеньку выше своей дорожки Евы. Ему приходит в голову, что поэтический гений — это привилегия мужчины.

Ева, однако, отнюдь не равнодушна к языковым страстям своего партнера. Она только играет с языком по другим соображениям. Она уже встретила со Змеем, и то немного, что он мог ей сказать (на убогом

языке райского сада), было наверняка усилено взаимной симпатией, о которой мы ничего не можем сказать, ибо семиотика "обязана обойти молчанием то, о чем она не может говорить".

В любом случае, Ева включается в игру. И она объясняет Адаму, что если слова — это дар Божий, то не странно ли, что Змей (АВВВА) имеет то же окончание, что и слова, которые обозначают красивое, хорошее и красное? Ева обращает внимание Адама на то, что поэзия позволяет разнообразные языковые игры:

(14) АВВА  
АВВВА  
АВВВВА  
АВВВВА

"Хороший, красивый и красный — такой Змей" — это стихотворение Евы. Оно содержит то же соответствие между формой и содержанием, что и стихотворение Адама. Евина чуткость позволила ей пойти еще дальше и связать анафорическую гладкость начала с мягкостью концевой рифмы. Ее подход поднимает заново проблему внутренних противоречий, которую стихотворение Адама, казалось, решило раз и навсегда. Как может слово быть формальным эквивалентом качеств, которые семантика языка включает как его характеристики?

Успех вскружил Еве голову. Ей чудятся новые возможности соответствий между формой и содержанием и создание новых противоречий. Она могла бы, например, попробовать последовательность, в которой каждая буква состояла бы из микроскопических символов семантически противоположной ей буквы. Но создание такого рода "конкретной поэзии" требует каллиграфического мастерства, превышающего Евины возможности. Адам поэтому берет дело в свои руки и придумывает еще более амбивалентную последовательность:

(15) ВАА — В

Что означает этот прочерк? Если это, действительно, пустое место, то Адам произнес "плохое" с некоторым колебанием, но если оно содержит звук (замаскированный каким-нибудь случайным шумом), то это может быть только дополнительное А, а это значит, что Адам произнес "яблоко". В этот момент Ева изобретает свой собственный *gestalt cantate*, райскую разновидность оперы:

(16) АВВВА

Здесь распев протягивает последнее В, и в результате невозможно сказать спела ли Ева АВВВА (Змей) или просто растанула последнее В слова "красивое". Это сильно расстраивает Адама, поскольку намекает на реальную возможность того, что язык виноват в двусмысленности и лжи. Поэтому он заглушает свои сомнения, сосредоточиваясь вместо языковых ловушек, на смысле Божественного запрета: в положении Адама, "быть или не быть" равно "съедобному/несъедобному". Но когда он пытается выразить свою дилемму, он загипнотизирован ее ритмом, ибо язык начинает крошиться у него на губах. Он наконец-то нашел возможность полностью расковырять лингвистическую стихию:

(17) АВА      ВАВ  
АВА      ВАВ

ABA BAB BAV BB B A  
BBBBVAAAAAABBBBBV  
AAAAA  
AA

Это — словесный взрыв, освобожденный язык футуристов.

Но именно в тот момент, когда он видит, что изобрел неправильные слова, Адам начинает понимать почему предыдущие были правильными. Наконец-то он осознает формулу, которая порождает все возможные лингвистические последовательности в его системе (X, пУ, X). Только после того, как он преступил правила системы, Адам понял ее структуру. В тот самый момент, когда ему кажется, что последняя строка — это предел грамматического хаоса, он неизбежно осознает, что последовательность AA на самом деле существует, и спрашивает себя, каким образом языковая система допускает ее существование. Он вспоминает (15) и проблему пустого места. Его осеняет, что и пустое место составляет знак в системе и что последовательности AA и BB, которые первоначально казались ему исключениями из правил, на самом деле законны, потому что формула (X, пУ, X) не исключает нулевого значения п.

Адам понимает свою лингвистическую систему в тот самый момент, когда его аналитический подход начинает ее разрушать. Как только он осознает жесткое правило кода, он понимает, что ничто не препятствует ему изобрести новый код (например, пX, пУ, пX); такой код разрешил бы последовательности типа BBBVAAAAAABBBBBV, как в четвертой строке (17). Желая разрушить систему, Адам охватывает все ее возможности и видит себя в роли ее господина. Совсем недавно, он воображал, что поэзия — это голос Бога. Теперь он сталкивается лицом к лицу со случайностью знаков.

Поначалу он теряет власть над собой. Он непрерывно разбирает и собирает безумную машину языка; он сочиняет полную бессмыслицу и восторженно распевает ее часами напролет; он изобретает цвета гласных и убеждается, что он создал поэтический язык для выражения всех оттенков ощущений; он пишет о ночи и молчании; он дает определение головокружению. Он говорит “яблоко!”, и из забвения, куда его голос, настаивая на отличии от всех известных плодов, изгнал знакомые контуры, как музыка, возникает душистая идея того, что не найдешь ни в одной корзинке.

Он хочет стать провидцем и для этого долго, настойчиво и сознательно выводит из строя все свои пять чувств. Но постепенно он отдаляется от эмоций, выражая их через внешние объективные соответствия, как делает Бог-Творец, имманентный или трансцендентный, внутри или превыше своего творения. Он так изыскан, что уже не существует — и думает при этом о красне ногтей.

**5. Изменение содержания.** В конце концов, Адам успокаивается. Одно, по крайней мере, выяснилось во время его маниакальных изысканий: порядок языка не абсолютен. Естественно, возникает законное подозрение, что соответствие между знаковыми последовательностями и культурными единицами, представленное как единственно возможная система в (2), тоже не абсолютно. Наконец, Адам начинает ставить под сомнение всю сово-

купность культурных единиц, которую семантическая система аккуратно связывала с недавно уничтоженной серией лингвистических последовательностей.

Адам начинает исследовать содержание. Кто сказал, что Синее Несъедобно? Адам отбрасывает конвенциональные значения и на собственном опыте проверяет их физические референты. Он срывает синюю ягоду и ест: ягода оказывается вкусной. До сих пор он получал всю необходимую ему жидкость из сока красных плодов, но теперь он обнаруживает, что синяя вода пригодна для питья, и начинает ее любить. В нем снова пробуждается любопытство, которое он впервые почувствовал после эксперимента (11): наверняка, существуют разные оттенки красного — краснота крови, солнца; краснота яблок или других растений. Адам раскладывает содержание на новые составляющие и обнаруживает новые культурные категории (а значит, и новые реальности ощущений), для которых он обязан придумать имена. Он составляет сложные последовательности для обозначения новых категорий и придумывает новые словесные формулы, чтобы выразить свой опыт фактических суждений. Этот опыт включается в растущую лингвистическую систему путем семиотических суждений. Его язык пухнет, и весь мир становится полнее. Очевидно, что и язык, и мир не так кристально ясны, как они были в период, описанный ситуацией (1), но по крайней мере, Адам больше не боится внутренних противоречий, скрытых в его языковой системе. Страх исчез, потому что, с одной стороны, противоречия заставляют его по-новому представить мир, а с другой стороны, они дают ему возможность создания поэтических эффектов.

В результате, Адам обнаруживает, что Порядка не существует; порядок — это одно из бесконечного числа возможных устойчивых состояний беспорядка.

И без того ясно, что Ева продолжает уговаривать его попробовать яблоко. Как только Адам его съедает, он в состоянии произнести фактическое суждение "яблоко хорошее", которое воссоздает, по крайней мере для одного элемента, сбалансированное состояние лингвистической системы до Запрета. Но на данной ступени это уже не имеет значения. Адам был обречен на изгнание из райского сада после своей первой импульсивной попытки манипулировать языком. Ошибкой Бога было нарушение тотальной гармонии примитивной лингвистической системы через двусмысленный запрет; но как все запреты, он должен был быть направлен на что-то желанное. С этого момента (а не тогда, когда Адам попробовал яблоко) началась мировая история.

Быть может, Бог знал это с самого начала и наложил запрет специально, чтобы положить начало мировой истории. С другой стороны, Бога могло и не быть, и запрет был выдуман Адамом и Евой с целью создания противоречий в их лингвистической системе; противоречий, способных разбудить творческие возможности языка. А возможно, лингвистическая система содержала эти противоречия с самого начала и наши прародители просто выдумали миф о запрете, чтобы объяснить это скандальное положение вещей.

Очевидно, что все предыдущие размышления вывели нас за пределы нашего исследования, предметом которого является языковое творчество,

его поэтические приложения и взаимодействие между восприятием мира и формой языка.

В любом случае, понятно, что как только Адам вызволил язык из-под власти Порядка и Однозвучия, он передал его своим наследникам в куда более богатом виде.

Поэтому Каин и Авель, открыв через язык существование других возможностей порядка, с логической неизбежностью убивают Адама. Последнее событие выводит нас за пределы толкования библейских текстов, и мы оказываемся между мифом Сатурна и мифом Зигмунда. Но во всем этом безумии есть система, ибо Адам научил человечество тому, что для изменения кода нужно переписать Послание.

*Перевод Иланы Гомель*

### Список терминов

**Семиотика** (или **семиология**) — наука о знаках, включающая изучение любых средств общения, основанных на системах символов: повседневный язык, язык литературы, специальные коды и т. п.

**Семантика** — отрасль лингвистики, изучающая значения слов и предложений.

**Семантический** — понятийный, связанный со смыслом.

**Коннотация** — не прямое значение слова.

**Эстетическое высказывание** — высказывание, целью которого, помимо передачи информации, является эстетическое воздействие на читателя или слушателя. Любая строка поэзии — это эстетическое высказывание.

## КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА – ИЕРУСАЛИМ"

новая книга

### "ЗАГАДКИ ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ"

256 стр.

Цена 15 долл.

Сборник произведений, опубликованных в разное время на страницах журнала "22", содержит увлекательную повесть о дерзких исторических гипотезах И. Великовского, статьи Дж. Кармайкла, Г. Шолема, Н. Голба, Р. Ляст и И. Рубина, посвященные загадочным эпизодам и темным страницам еврейской истории, а также перевод знаменитой работы З. Фрейда "Моисей и монотеизм", где предлагается необычная трактовка происхождения иудаизма.

Заказы и чеки направлять по адресу: "Москва – Иерусалим", п/я 44050, Тель-Авив 61440.

## МАСТЕРСКАЯ

*Жозефина Ярошевич*

### СКУЛЬПТУРА И ЭМАНСИПАЦИЯ

Видели ли вы фильм “Камиль Клодель”? Он до сих пор еще идет на наших экранах. Если нет, то уж, наверное, читали о том, как он делался. О прекрасной и одержимой актрисе Изабель Аджани, которой принадлежит идея создания фильма, о самом популярном сейчас во Франции актере Дьепардье, играющем Родена, о пикантных деталях романа Родена с Клодель. Обо всем, что вокруг, и почти ничего о главном — о трагедии, о невыносимом одиночестве, о праве женщины на творчество.

Камиль Клодель, талантливая ученица Родена, переросшая своего учителя, посмевавшая противопоставить свой индивидуальный метод творчества его групповому, поставившая в своем творчестве острые этические проблемы, не выдержала поединка с французским буржуазным обществом конца прошлого — начала нашего века и была упрятана в дом для душевнобольных.

Трагедия Клодель, ее борьба против косного взгляда на круг дозволенных занятий женщины в известной мере способствовали эмансипации вообще и освобождению творческого потенциала женщины-художника в частности.

Но даже через сто лет, даже в наше время все еще встречается старомодно-предвзятый подход к творчеству женщины. Еще встречаются критики, которые позволяют себе свысока препарировать не только ее работу, но и ее частную жизнь.

История столетней давности вызвала во мне ассоциации с другой судьбой, другой женщины, тоже скульптора, но уже нашего времени и наших краев.

По странной случайности, а может быть, в соответствии с принципом парности, фильм о Камиле Клодель появился на наших экранах в то же время, что и статья М. Заборова о Мириам Гамбурд в “Континенте” № 58.

Между двумя этими женщинами — столетие. Век, переполненный социальными революциями и революционными открытиями в искусстве. Век, породивший бесконечные “измы”, иногда глубокие, обогащающие замечательную Страну Искусства, чаще провокационные и эпатирующие. Век, родивший понятия “кич” и “поп-арт”. Век, в котором средства коммуникации сделали искусство достоянием каждого и в известной степени способствовали развитию художественной критики.

При всем разнообразии критиков и искусствоведов, их можно разделить на два больших типа. Первые пишут о художнике, вторые — о себе и очень редко о самом творчестве. Наверное потому, что это труднее всего.

Заборов, судя по началу его статьи, собирался написать научный труд о творчестве Мириам Гамбурд. Но увлекшись психоанализом, тотчас погряз



в интимных подробностях частной жизни женщины, в поисках ее комплексов (обнажая при этом в первую очередь свои собственные комплексы и фиксации). Но я — не о Заборове. Я — о Мириам Гамбурд.

В 1970 г. она закончила Высшее художественно-промышленное училище им. Мухомовой по отделению скульптуры. Ленинградская Мухинка — наряду с московской Строгановкой — лучшие учебные заведения России в области искусства. Попастъ в них невероятно трудно, особенно еврею, выходят оттуда мастера высокого класса. В отличие от традиционноклассической школы Академии искусств, Мухинка всегда сочетала академические методы с традициями Вхутемаса, основанного лучшими представителями русского авангарда 20-х годов нашего столетия.

В Израиль она приехала уже сложившимся художником и сразу же обратила на себя внимание серией скульптур из листовой меди. Из плоской двумерности М. Гамбурд создает объемные трехмерные вещи. Расположенные в открытом пространстве, они впитывают его, пропускают сквозь себя, показывают свою изнанку, свое причудливое нутро, всегда неожиданно, непредсказуемо, с силой живого чувства. Эмоциональный аспект вообще с непостижимой адекватностью отражается в творчестве М. Гамбурд. Редкие периоды затишья и благополучия рождают пространственные натюрморты, прихотливые и женственные, пора обид и печалей толкает к созданию нервных и трагичных произведений, охватывающих собой воздух, как большой вздох, как застывший крик отчаяния. Маски, несущие на себе печать страдания последних людей тонущей Атлантиды, маски, как обожженные лица японок Хиросимы — метафизические свидетельства древних и новых катастроф.

Есть в медной скульптуре М. Гамбурд редкий, забытый с древних времен аспект — живописность. Скульптура, в основном, обычно монохромна — мрамор, бронза, гранит, дерево. Но вот Афина Фидия была цветной — золото, слоновая кость, перламутр, дерево. Алтарь Вита Ствоша — цветной: раскрашенное дерево.

В своей медной скульптуре М. Гамбурд демонстрирует расточительное богатство цветовой гаммы: от холодных зеленых окислов до ярко-золотых напылов. Каждое произведение, казалось бы, родилось без усилий, непринужденно и легко, но за каждой формой, линией и цветовой каплей — годы накопленного мастерства и абсолютной воли художника.

Мастерство М. Гамбурд проявляется в ее свободном владении материалом. Она не ограничивается только листовой медью. Ей в равной мере доступна бронза и бетон, мягкий воск и "безвольная" ткань.

Растянутые на тросах мягкие податливые полотна неожиданно, волею автора, приобретают устойчивую форму и, словно фантастические паруса, плывут по суше среди деревьев.

Серия "Лот и дочери" создана из гипса. Она была задумана как шутка, как археологический розыгрыш. Но этот факт не вступил в противоречие с высокими профессиональными требованиями, которые предъявляет себе художница во всем, что касается творчества. Три обнаженных фигуры серии глубоко реалистичны, классически пропорциональны. Вместе с тем, благодаря удачно найденным позам, — я бы сказала жестам — они лишены скуки, обычного реализма, оживлены иронией и лукавой выразительностью. Играя

соотношениями одинаковых элементов, М. Гамбурд создала серию забавных сцен, которые хочется снять на пленку и оживить, как в мультипликации, — тогда перед нами возникнет веселый шарж: сцена соблазнения Лота.

Последняя работа Мириам — огромная гротескная голова из красного бетона на белой бетонной подушке вырастает из земли, подобно чудовишной голове великана из сказки. Вся скульптура смотрится, как часть колонны с капителью — колонны несуществующего дворца несуществующего короля сарказма.

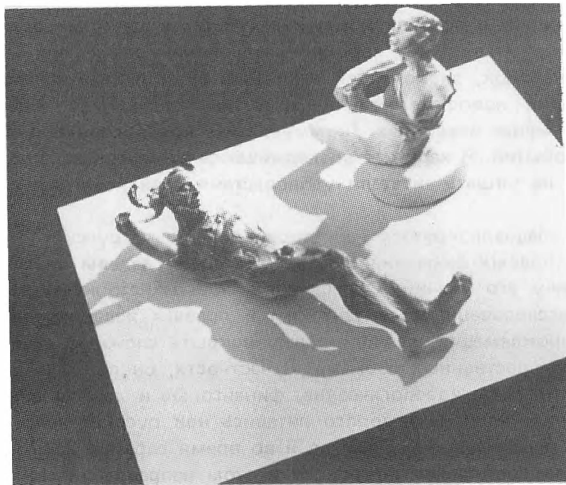
Очень немногие художники могут похвастать целостностью жизни, единством стиля, постоянством концепции. Жизнь фрагментарна и мозаична — рядом с яркими кусками подъема духа и удачи преобладает серый фон тяжелого труда, будней и провалов.

У М. Г. нет унылого "постоянства". У нее нет раз навсегда застывшего стиля, раз навсегда заданного приема, который так часто эксплуатируется в качестве "лица", стиля, концепта художника, будучи в действительности обычным рыночным приемом, удобным для распознавания "фирмы".

Мириам не штампует свои скульптуры, как автомобили. Они у нее разные. Порой это разнообразие принимается за отсутствие концепта (как в упомянутой статье Заборова).

Но вот одна из ее последних работ. Это — полуторс с крыльями. Не банальный бюст, а именно торс — от пояса и ниже. Заскорузлые натруженные ноги несут на себе от пояса вверх изящные прозрачные крылья из проволочных прутьев с вкраплениями белого гипса, который смотрится, как обрывки белых перьев падшего ангела. Потрясает это сочетание заземленности, невозможности оторваться от грубой почвы — и взлета духа, истерзанного и прекрасного.

Если угодно, это и есть концепт — в лучшем смысле этого слова.



*Мириам Гамбурд. "Лот и дочери", 1988 (38 x 38 см, гипс).*

## ЛЮДИ И КНИГИ

*Дм. Сегал*

### ПОВЕСТЬ О ПЯТИ ГОРОДАХ

*(Михаил Агурский. "Третий Рим (Национал-большевизм в СССР)".  
Вествью пресс, Булвер, Колорадо и Лондон, 1987)*

Города, о которых идет речь в заглавии, включают три существующих: Москва, Санкт-Петербург и Берлин — и два символических: Рим и Иерусалим. Именно таков размах смелой и талантливой книги Михаила Агурского, посвященной национальным аспектам русской революции.

Охват материала широк не только географически, но и исторически: автор пытается проследить историю национальных аспектов революции на протяжении последних ста лет бурной русской истории, начиная с анархиста Бакунина. Такой макроскопический подход предопределяет как замечательные достоинства книги, так и ее очевидные недостатки.

Как бы то ни было, в своих основных тезисах "Третий Рим" отлично документирован, аргументирован и обоснован. Эти основные тезисы книги связаны с расстановкой и динамикой сил в Европе XIX—XX веков: Агурский утверждает, что главной движущей силой русского революционного движения, а позднее — самой русской революции было соперничество между Россией и Германией, как двумя империалистическими государствами, и соответственно (в этом состоит его главное открытие) — между социал-демократическими, а позднее коммунистическими партиями обеих стран. Эта часть книги читается как хороший детективный роман, полный блестящих идей и находок, знакомящий с новыми историческими персонажами и предлагающий новое толкование известных (например, Брест-Литовский мир) и менее известных (коммунистическое восстание в Германии 1923 года) событий. Я нарочито воздерживаюсь от пересказа гипотез Агурского, чтобы не лишать читателя удовольствия познакомиться с ними самому.

Агурский специализируется на истории новейшего русского сектантства и крайних правых движений. Соответствующие разделы книги демонстрируют глубину его знаний. Обращение к новым историческим источникам и малоисследованным сектантским и правым изданиям, вплоть до листовок и прокламаций, позволяет ему вскрыть сложную и увлекательную картину существенных событий. В частности, он показывает, что немецкие политические, идеологические, финансовые и даже военные связи были тем источником, из которого пугались как русские правые экстремисты, так и русские большевики до и во время событий 1917—18 годов. Другое важное достижение Агурского в этом направлении связано с исследованием роли религиозных идей и сектантских движений в становлении и развитии русской революции.

Все эти разносторонние нити исследований ведут автора к центральному аспекту революции — ее глубоко русскому национальному характеру. В этом месте Агурский демонстрирует оригинальность и неортодоксальность Ленина, как марксиста, который предпочел национальные цели интернационалистическим. Агурский показывает, что склонность к русскому “патриотизму” была отличительной чертой всех крупных коммунистических вождей России — не только Ленина и Сталина (хотя последний был менее очевидным кандидатом в “национал-большевики”), но и — на определенном этапе — также Троцкого, Зиновьева и Бухарина. Агурский вполне убедительно доказывает, что склонность того или иного лидера к “патриотизму” или к “интернационализму” зависела от двух причин: его места в партийной иерархии (например, руководитель Коминтерна был вынужден демонстрировать — по меньшей мере, публично — более “интернационалистическую” позицию) и динамики внутривнутрипартийной борьбы (стоило Сталину объявить себя сторонником теории “социализма в одной стране”, как лидеры оппозиции вынуждены были выступить против этой теории).

Значительная часть “Третьего Рима” посвящена рассмотрению причин возникновения и механизму роста той специфической, русско-ориентированной ветви большевизма, которая связана с именем Сталина и которую Агурский называет “национал-большевизмом”. Здесь автор снова оказывается первопроходцем. Его анализ взглядов основателя эмигрантского национал-большевизма Николая Устрялова не только исчерпывающе оригинален, но и глгобоко документирован. В целом, “Третий Рим” представляет собой в высшей степени стимулирующее, глубокое и подкрепленное эрудицией исследование, которое можно смело рекомендовать всем, кто интересуется историей России XX века, да и вообще историей того невероятного и увлекательного сплетения идеализма, амбиций, заблуждений, успехов и провалов, которое именуется коммунистическим движением.

Однако, кроме своих достоинств, как исторического исследования, книга ставит также ряд провокативных вопросов, и именно к ним я хотел бы теперь обратиться.

Первый из этих вопросов связан с современностью звучания многих проблем и формулировок, которые казались столь животрепещущими в тот судьбоносный период 1914–17 годов. Сопоставляя книгу Агурского с тем, что публикуется в России и за рубежом сейчас, в период перестройки и гласности, читатель неизбежно приходит к ощущению повторности (или, если угодно, “актуальности”) нарисованной автором картины. Кажется, будто время в России и вокруг нее остановилось и все те проблемы, сомнения, страхи и даже предрассудки, которые волновали людей семьдесят лет назад, всего лишь таились под спудом и сейчас снова вышли наружу с той же резкостью, как прежде.

Предположение о русском национальном характере коммунизма XX века по существу ничем не отличается от предположения о “французском” национальном характере любого современного республиканства или “английском” характере любой современной конституционной монархии. Совершенно очевидно, что как только некое политическое и идеологическое движение обретает особую силу и жизненность в некой определенной стране, возникает заметная вероятность того, что специфич-

ческие национальные культурные формы, сложившиеся в ходе исторической эволюции этой страны, возымеют тенденцию к универсализации, переносу на другие страны и т. п., вплоть до превращения случайных деталей этих форм в общезначимые и символические (как случилось, например, с французскими понятиями "правого" и "левого" в европейской политической истории). Поэтому понятно, что любое коммунистическое движение в любой стране обречено оказаться под влиянием специфически русских культурных форм, запечатлевшихся уже в самых истоках победоносного русского коммунизма. Вот почему любое проявление коммунизма в России — и Агурский это убедительно доказывает — не могло быть ничем иным, кроме национал-большевистского. В этом смысле даже та смертельная борьба, которую вели сторонники и противники теории "социализма в одной стране", тоже происходила в рамках национал-большевизма.

Тут, однако, имеется существенная разница. Говоря о республиканизме и его французских обертонах, мы имеем дело с чем-то "ставшим", то есть уже существующим и не вызывающим возражений или отрицания. Нынешние идеологические схватки в России, ревизия не только сталинизма, но и многих предпосылок ленинизма и марксизма как будто указывают, что бурная, нигилистически-апокалиптическая и анархическая природа русского сознания, столь очевидная в русском большевизме, с не меньшей силой проявляется и в его критике и отрицании. Иными словами, русский коммунизм оказывается национально-русским не только в его очевидной сталинской или брежневской ипостаси, но и в характере его сегодняшнего конвульсивного разложения. В таком случае следует считать иронией судьбы (а быть может, ее подарком), что русская национальная разновидность коммунизма пошла именно тем путем, которым она пошла; ибо, возвращаясь к исходной идее Агурского, страшно даже подумать, что мог бы коммунизм принести миру, победы он не в России, а в Германии. Республиканизм потому, в частности, сыграл такую важную культурную роль в мировой истории, что породившая его французская культура принадлежала к общеевропейской и обладала достаточными ресурсами и традицией, чтобы сделать идею республики поистине универсальной. Русская культура оказалась слишком замкнутой, анархической и слабой, чтобы распространить идею коммунизма.

Эти рассуждения приводят нас к заманчивому предположению, что именно провал русского коммунизма, выразившийся в крахе русского этатизма (по Агурскому, эти идеи тесно связаны друг с другом), обусловил тот факт, что все острые проблемы европейских (может быть, точнее, — центрально-европейских) стран и их национального существования, столь актуальные в канун 1914 года, остались неразрешенными (или даже еще более обостренными коммунистическим экспериментом) по сей день. Действительно, вековечные проблемы останков Османской империи (особенно на пограничье Австро-Венгрии и Турции) столь же остры сегодня, как были, скажем, в 1910-х годах. То же самое, как теперь очевидно, справедливо в отношении давних проблем Армении, "Мосула" (ныне Курдистана) и "немецких земель" — даже в их более восточном, "балтийском", варианте.

На уровне национально-экономической проблемы задолженности Востока Западу (России — в отношении Англии и Франции в результате первой мировой войны, Польши и Венгрии сейчас), роли России как производителя или потребителя продовольствия, ее индустриального (или постиндустриального) уровня, короче — все те проблемы, которые надеялись разрешить с приходом коммунизма, остаются по сей день нерешенными и пляшут на нас, как скелет из шкафа. Более того — и это уже без всякой связи с книгой Агурского — “Литературная газета” в июне 1988 года пишет о взаимосвязи “двух величайших европейских культур”, немецкой и русской, подчеркивая, что современная русская культура включает значительный немецкий элемент, который “может еще оказаться весьма полезным” для России!

Второй вопрос, возникающий при чтении книги Агурского, связан с состоянием современной русской историографии. Книга Агурского использует богатейшие новые источники. Почему эти источники так долго не были использованы? Я отнюдь не хочу преуменьшить заслуг Агурского. Мой вопрос означает лишь, что современная русская историография находится в младенческом состоянии. Возможно, она еще вообще не зачата. Почти не используются, не публикуются и даже не каталогизированы первоисточники, исследователи работают преимущественно с официальными, то есть лживыми, документами и официальной (даже не достигающей уровня намеренной лжи) статистикой, с двумя-тремя газетами и — в основном — с книгами других исследователей. В результате историография превращается в повторение банальностей, главным образом советского же производства. В этом, вероятно, таится причина, почему вопросы истории столь жизненно важны для современной советской действительности. Нынешние советские реформаторы должны обратиться к корням, к той постановке проблем, в какой они были сформулированы до становления Великой Лжи (при этом нужно еще понять, как датировать это становление).

Я надеюсь, что Агурский продолжит свою первопроходческую и давно назревшую работу по исследованию истоков русской революции. Ему следовало бы при этом уделить больше внимания чисто технической и фактологической стороне дела: например, Владимир Герасимович Тан-Богораз был не только русским народническим публицистом, но и широко известным этнографом, лингвистом и социологом; секретарь МК М. Рютин, известный своим антисталинским “рютинским манифестом” 1932 года, назывался Мартемьяном, а не Михаилом; Илья Василевский, эмигрантский журналист-возвращенец, был более известен под своим псевдонимом “Не-Буква” и т. д. Русскому читателю главы, посвященные развитию русской культуры, могут показаться довольно поверхностными. Недостаточно сказать о Герцене, что он ненавидел Западную Европу и ратовал за экспансию русской революции, — Герцен был также одним из самых выдающихся знатоков современной западной (в частности, французской) литературы, музыки и живописи, а также одним из самых выдающихся русских прозаиков и стилистов XIX века. Говоря о влиянии русского православного сектантства, следовало бы упомянуть имя другого, столь же выдающегося, русского стилиста XX века — поэта Михаила Кузмина. Стоило подчеркнуть, что по мере своего политического заката Лев Троцкий все более начинал ценить

роль чисто культурных ценностей — одно из его последних произведений, опубликованных в России, было посвящено памяти Сергея Есенина. Этот некролог содержал глубокий, проникновенный и исполненный трагических предчувствий анализ есенинской поэзии, и его весьма поучительно сравнить с гневными филиппиками в адрес Есенина, которые в то же самое время метал Бухарин, этот идол нынешних советских реформаторов. (Справедливости ради, стоит отметить, что такая же трагическая судьба вскоре постигла и самого Бухарина: на закате своей политической судьбы он тоже стал одним из самых глубоких и пронизательных ценителей русской поэзии.)

Отметим, в заключение, что книга Агурского содержит ряд оригинальных и существенных соображений о роли евреев в русской революции. Здесь подход автора базируется на полученном из первых рук знании русских, идишистских, ивритских, немецких и других первоисточников. Этот подход абсолютно свободен от всякой предвзятости и, напротив, отличается повышенной объективностью и, я бы сказал, достоинством, в особенности когда автор пишет о людях, чьи взгляды ему явно несимпатичны, но чьи страдания он тем не менее уважает. Я был особенно тронут его описанием злоключений и судьбы Григория Зиновьева, человека глубоко неприятного, единственной симпатичной чертой которого была его неистребимая местечковая еврейскость, его полная неспособность правильно оценить свои возможности, наивное убеждение в своей удачливости, страстное желание уберечь свою семью и, наконец, его сохраненное апокрифами восклицание "Шма Исразль!" за секунду до расстрела. Но это уже история из следующей книги Михаила Агурского.

*С. Рузер*

## УРОК РЕАЛИЗМА

*(Моше Зак. Сорок лет диалога с Москвой. Изд-во "Маарив", 1988)*

В наши дни, когда люди, узнав о вашем происхождении, берут вас за рукав и, заглядывая в глаза, спрашивают с надеждой: "А этот парень, как его, Горбачев, он, как думаешь, добьется своего?"; когда не проходит и недели без того, чтобы какой-нибудь замечательный человек, а то и целый коллектив не приехал бы с миссией доброй воли из бывшего злого северного гиганта, начинаешь вдруг и себя ловить на том, что тоже, как и все люди доброй воли, ждешь, причем, с некоторым даже нетерпением, восстановления дипломатических и этих... нормальных, взаимовыгодных отношений между Израилем и СССР (или, вернее, как вежливо думаешь про себя, между СССР и Израилем). И вот уже, стоит диктору телевидения сообщить о визите очередного восточноевропейского министра, как на душе становится по-особенному уютно и сами названия эти: "Венгрия", "Польша" — отзываются внутри гораздо более гулким уханьем, нежели холодное "Париж" или противно-влажное "Тайвань".

В такой изрядно разогретой атмосфере и появляется книга Моше Зака, известного израильского политического обозревателя, многолетнего корреспондента "Маарива", где автор прослеживает запутанную историю дипломатических взаимоотношений между двумя государствами от судьбоносного голосования в ООН в 1947 году и вплоть до недавней встречи Шамира с Шеварднадзе. Выясняется, что хотя больше половины из этих сорока лет посольства в Тель-Авиве и Москве пустовали, диалог не прекращался никогда. Осуществлялся он по нескольким каналам: тут и регулярные контакты послов Израиля и СССР в Вашингтоне, и обмен посланиями между двумя столицами, и посредничество американцев и, наконец, драматически обставленные двусторонние встречи на конспиративных квартирах где-нибудь в Европе. Перед читателем происходит вереница лиц, участвовавших с советской стороны в переговорах: от повышенного к концу сталинского правления до министра иностранных дел Вышинского (да-да, того самого Андрея Януарьевича, юриста по основной профессии) и до немного загадочного д-ра Примакова, специализировавшегося по части тайной дипломатии.

В книге масса документов, многие из которых лишь недавно "рассекречены" и публикуются впервые. На меня наибольшее, пожалуй, впечатление произвела переписка между посольством в Москве и израильским МИДом, свидетельствующая о том, в каком сложном положении с самого начала находилась израильская дипломатия, разрывавшаяся между тем, что ощущалось как "интересы государства", и тревогой за судьбу еврейского населения СССР. Особый драматизм ситуация эта приобретает во время "дела врачей". Не все, наверное, помнят, что именно тогда впервые Москвой были разорваны дипломатические отношения (восстановлены в конце 1953 года). Так что в этом смысле все уже когда-то было.

Тут книга — в полном согласии с классическими источниками — преподносит урок пессимизма: не следует ожидать ничего особенно нового. Но есть и урок оптимистический: похоже, что все же не идеология и не неизбывные фобии, вроде "вечного антисемитизма", были все это время определяющими факторами в отношении сверхдержавы к ее южному почти соседу, а соображения пусть и тревожно-геополитически-имперского, но все же вполне прагматического характера.

Это, конечно, не то, чего жаждет уставшая от холода и отчуждения душа, охваченная неясным томлением, которое бывает обычно накануне всемирного фестиваля молодежи и студентов, но это все же оставляет место для острой, реалистической надежды. Книга таким образом выполняет важную терапевтическую функцию, помогая избавиться от только мешающей прогрессу здорового детанта эйфории. Кроме того она позволяет заглянуть за "кулисы истории" и потому, конечно же, читается с большим интересом. Таковы впечатления читателя-непрофессионала. Впрочем, это не все. Думаю, что как всякий фундаментальный труд, содержащий — еще раз напомним — обширный и ранее известный документальный материал — "Сорок лет диалога" послужат отправной точкой для новых размышлений, полемики, выработки альтернативных концепций. Но это уже поле для профессиональных историков...



**Главный редактор – РАФАИЛ НУДЕЛЬМАН**

*Редакционная коллегия:*

**В. БОГУСЛАВСКИЙ, А. ВОРОНЕЛЬ, Н. ВОРОНЕЛЬ,  
Э. КУЗНЕЦОВ, Ю. МЕКЛЕР, М. ХЕЙФЕЦ,  
Я. ЦИГЕЛЬМАН, И. ЧАПЛИНА**

*заведующая редакцией – Мириам БАР-ОР  
технический редактор – Наталья РУБИНА*

*Всю корреспонденцию направлять  
по адресу: "22", п/я 44050, Тель-Авив 61440.  
Телефон редакции – 1031394525*

Все права на материалы журнала (за исключением особо оговоренных случаев) принадлежат издательству "Москва–Иерусалим" и их использование без ведома и согласия издательства не разрешается.

Стоимость годовой подписки в Израиле – 80 шек., для организаций – 90 шек., за рубежом – 60 долл. (авиапочтой в Европу – 72, в США – 77 долл.), для организаций – 75 долл.

### ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Прошу подписать меня на журнал "22", начиная с № .....  
Прилагаю чек (чеки) № ..... на сумму .....  
Журнал прошу выслать по адресу .....

(пишите разборчиво, желательно указать № телефона)

Жертвую в фонд журнала ..... (фамилия)

